

ГЛЕБ
СЕМЕНОВ



ГЛЕБ СЕМЕНОВ

НОВАЯ БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

МАЛАЯ СЕРИЯ

Гуманитарное агентство
«Академический проект»

ГЛЕБ СЕМЕНОВ

**СТИХОТВОРЕНИЯ
И ПОЭМЫ**

Санкт-Петербург
2004

Редакционная коллегия
А. С. Кушнер (*главный редактор*),
К. М. Азадовский, М. Л. Гаспаров, А. Л. Зорин,
А. В. Лавров, И. Н. Сухих,
Р. Д. Тименчик

Вступительная статья, составление,
подготовка текста и примечания
Е. А. КУМΠΑ

Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и
взаимодействию со средствами массовой информации
Санкт-Петербурга

Федеральная целевая программа «Культура России»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания
России»)

ISBN 5-7331-0307-8

© *Е. А. Кумпан, вступ. ст.,
состав, примеч., тексты 2004*
© *Гуманитарное агентство
«Академический проект», 2004*

«В ПОЛОБОРОТА ПЕРЕД ВЕКОН...»

Поэт Глеб Семенов (род. 18 апреля 1918 — ум. 23 января 1982) принадлежит к поколению, которое началось в канун Великой Отечественной войны, но творческая судьба Глеба Семенова складывалась иначе, чем у Бориса Слуцкого, Давида Самойлова (с которыми, к слову сказать, он позднее, в 50—70-х годах, был дружен) и многих прочих славных представителей этой когорты поэтов-фронтовиков. И дело не только в том, что силою сложившихся обстоятельств Глеб Семенов не попал на фронт, а попал в ленинградскую блокаду и, тем самым, *выпал* из своего фронтового поколения. Следствием этого «выпадения» стало то, что он всегда гораздо лучше чувствовал себя как среди людей на двадцать лет его старше, так и среди тех, кто был его на двадцать лет младше, чем среди ровесников. Но, возможно, разница эта была запрограммирована с самого начала и тем обстоятельством, что Глеб Семенов был петербуржцем, кончил перед войной не ИФЛИ в Москве (откуда вышли многие будущие московские интеллектуалы и в том числе поэты), а химфак Петербургского университета; там, в Университете, он подружился с компанией своих сверстников-гуманитариев (отсюда его дружба, длиной в жизнь, с Е. Г. Эткингом). И, что хотелось бы еще отметить, принадлежал он к тому многочисленному и очень типичному для Петербурга, очень славному слою

российской интеллигенции, предки которой нередко были иностранцами, прибывшими к нам еще в XVIII веке, позднее — обрусевшими и породнившимися с русскими семьями. Большинство из них трудилось на ниве русской культуры. Так и среди предков Глеба Семенова были музыканты, литераторы, актеры и вообще деятели театра, а также — историки, археологи и пр. Случались, конечно, исключения, но они были редкими.

Сказанное можно отнести и к семье матери Глеба — Наталии Георгиевны Семеновой-Волотовой, и к семье его родного отца Бориса Евгеньевича Дегена. Отец Наталии Георгиевны имел фамилию *Бруггер*, что указывало на происхождение от города Брюгге, и действительно, первый Бруггер приехал из Нидерландов в Россию еще в XVIII веке как органнй мастер, а его сын уже имел мастерскую музыкальных инструментов на Бассейной в Петербурге. Сама же Наталия Георгиевна стала актрисой, училась в студии МХТа у Станиславского (вместе с Аллой Тарасовой) и посвятила этому ремеслу всю свою долгую жизнь. Ее актерский псевдоним — *Наталия Волотова*.

Близко к той же схеме и происхождение семьи родного отца поэта — Бориса Евгеньевича Дегена. Фамилией *Деген* Глеб подписывал свои первые стихи. Фамилию *Семенов*, фамилию своего отчима, знаменитого писателя 20-х годов Сергея Александровича Семенова, автора прогремевшего на рубеже 30-х годов романа «Наталия Тарпова», Глеб получил уже 16-ти лет при весьма трагических обстоятельствах, когда Б. Е. Деген был арестован. Семья *фон Деген*, из которой происходил родной отец Глеба, так же как семья Н. Г. Волотовой, была разветвленной, многочисленной и с гуманитарными интересами. Среди них были (и есть) люди пишущие¹, люди, близкие к театру, писавшие для театра, порой не лишен-

ные актерских способностей. В их числе и Борис Деген. С раннего детства он оказался погруженным в сферу литературы и искусства, ибо, осиротев в младенчестве, вырос и воспитан был в семье известного в Петербурге литератора и театрального деятеля Михаила Николаевича Волконского², женой которого (брак был гражданский) была его родная тетя Наталия Викторовна Деген-Арабажина. Немудрено, что выросший в этой среде Б. Е. Деген и сам впоследствии был не чужд увлечений литературой и театром. Познакомились родители Глеба в одной из многочисленных театральных студий предреволюционного Петрограда.

Не лишнее будет напомнить в нескольких словах о самом князе Михаиле Николаевиче Волконском (дяде Мише — как он числится в семейных хрониках). Даты его жизни — 1860—1917, родился и умер он в Петербурге, был единственным сыном в знатной, но давно обедневшей семье, известным литератором, беллетристом, писал психологические и исторические романы, а также человеком театральным, автором нескольких драм, комедий; особенно прославился он своей пародийной оперой «Вампука, принцесса Африканская», поставленной в театре А. Р. Кугеля «Кривое зеркало» в январе 1908 г. (пост. Р. А. Унгерна, муз. В. Г. Эренберга) и шедшей на разных сценах до конца 1920-х гг. с неизменным аншлагом. Об оглушительном, легендарном успехе этого спектакля не уставали рассказывать очевидцы в течение всего XX века, изображая лучшие номера и, как правило, задыхаясь от смеха. Потом к этим рассказам подключились историки театра и даже режиссеры (попытка возобновить «Вампуку» была предпринята в 1990-х годах). Понятно, что и в семейных беседах Дегенов-Семеновых эта тема не раз всплывала, легенды передавались из поколения в поколение. Автору

этих строк также довелось в домашнем исполнении слышать арию: «Вам пук цветов, вам пук цветов» (отсюда, кстати, «вампука») и не в меру затянутый хор «За нами погоня, бежим-бежим». Рассказывалось, что в публике случались истерики от хохота, некоторых выносили в фойе, чтобы привести в чувство. Как я поняла — мишенью насмешек был Верди, и досталось больше всего «Аиде».

Вскоре после рождения сына в 1918 году Н. Г. Волотова расходитя с Б. Е. Дегеном, а в 1923-м выходит замуж за Сергея Александровича Семенова, начинающего писателя, тогда уже замеченного прессой³.

Писатель Семенов Сергей Александрович (7/19 окт. 1893 — 12 янв. 1942), отчим поэта Глеба Семенова, был выходцем из рабочей петроградской семьи. Он был участником Гражданской войны, а в 1930-х годах — полярных экспедиций на ледоколах «Сибиряков» и «Челюскин». В 20-х годах он прославился как автор повести «Голод». Это был талантливый и правдивейший рассказ о первой, еще петроградской блокаде 1920—1921 гг. А в 30-х годах имя его было у всех на устах после нашумевшего романа «Наталья Тарпова» (бестселлера 1927—1929 гг.). В 1941 г. ушел добровольцем на фронт в составе Народного ополчения, воевал на Ладожском фронте. Умер в госпитале от пневмонии 12 января 1942-го.

Глеб называл его всю жизнь просто «Сережа».

Понятно, что в атмосфере пишущего дома (нужно прибавить, что с 1934 года Семеновы жили в писательской надстройке дома № 9 на канале Грибоедова, где их ближайшими соседями и друзьями были Слонимские, Каверины, Зоценко, Шварц и многие другие) невозможно было не начать писать. Это и произошло с Глебом Семеновым. Тем более, что несколько раньше он

испытал еще один мощный толчок, побудивший его к творчеству: семья Сергея Семенова на несколько лет «была сослана» в Святые горы, куда С. А. Семенов был приглашен в 1925 году на мероприятия, связанные со 100-летием ссылки Пушкина в Михайловское. Как известно, дата эта отмечалась очень торжественно, туда собрался весь цвет тогдашней интеллигенции: писатели, ученые, пушкинисты. Именно тогда решено было превратить Михайловское, бывшее имение Пушкиных, Тригорское и Святые горы в заповедник, и его директором там же был выбран С. А. Семенов. Трудно сказать, чем было вызвано это назначение. Возможно, его тогдашней популярностью после ошеломляющего успеха первых публикаций, возможно, руководствовались столь обязательным в те годы пролетарским происхождением и партийностью. Может быть, он оказался желанной кандидатурой, поскольку имел славу человека честного и не просто «доброе малое», но человека, обладавшего врожденной интеллигентностью высокого уровня. И хотя С. А. Семенов был директором недолго (он оказался совершенно не способен к административной работе и через год отказался от этой чести), но именно это назначение сыграло счастливую роль в жизни его пасынка. Детство и отрочество Глеба Семенова связано было с этими волшебными местами, ибо семья приезжала туда вплоть до самой войны на все лето, а иногда оставалась там и на зиму. Они снимали дом в Ворониче. И, может быть, слишком «красиво» было бы утверждать, что именно там Глеб Семенов стал поэтом, но понимание России, русской природы, русской деревни, очень глубокое впечатление от коллективизации, которую он наблюдал там ребенком, подростком, и, разумеется, осознание пушкинской биографии, пушкинской поэзии — все это связано для него с Пушкинскими горами, которые тогда еще называли — Святыми.

Там были написаны стихи, которые составили позднее костяк первой книги поэта Глеба Семенова — «Парное молоко». Впечатлениями о пушкиногорском детстве пропитаны и поздние стихи: цикл «Из воспоминаний детства» (№ 388—390), и, наконец, одно из последних и самых горьких стихов поэта: «По памяти рисую: вот изба...» (№ 458).

Надо отметить, что влияние отчима было серьезным. В семейных хрониках сохранились рассказы о том, что Сергей Семенов, до поры до времени мало уделявший внимания пасынку, прямо-таки «вцепился» в него, когда тот начал писать. При случае он, видимо, рассказывал об этом коллегам по цеху. В архиве у Глеба сохранилась трогательная записочка Б. Л. Пастернака на крохотном, вырванном из блокнота, листике: «Дорогой Глеб! Твой отец рассказал мне, что ты пишешь стихи. Бросай это дело, дружок, тяжелое и неблагодарное ремесло. Твой Б. П.».

Понятно, что влияние поэзии Пастернака на творчество Глеба Семенова уже в ранней юности было громадным. Но не основным. Разумеется, совершенно миновать это влияние для поэта XX века было делом невозможным, и Глеб Семенов тут не стал исключением. Он, как и многие его современники, «разъял» на клетки и освоил пастернаковскую стилистику и гармонию, он легко мог написать «Стихи в манере Пастернака» (№ 167). И не удержался от этого искушения. Но все-таки в гораздо большей степени Глеб Семенов использовал опыт других своих старших поэтов-современников (об этом разговор впереди). Но за творчеством Пастернака Глеб Семенов следил с огромным вниманием, и эту привязанность (на «генетическом» уровне!) унаследовали почти все его ученики. Хранил он и память о тех нескольких счастливых наблюдениях за живым Пастернаком, которые выпали на его долю. Он, скажем, рассказывал, как

Сергей Семенов взял его на вечер в Дом писателя (в Белый зал Шереметевского особняка), где проходило в середине 30-х годов общее чтение (почти турнир!) ленинградских и приехавших в гости московских поэтов. И помнил, как после чтения все выступавшие высыпали на сцену и началось почти «братание» двух поэтических столиц. И в какое-то мгновение Пастернак обхватил сзади руками коренастого и невысокого Александра Прокофьева и, подержав его на весу, выкрикнул: «Я поднимаю ленинградский кубок!»

Глеб Семенов начал печататься в 1936 году, когда журнал «Резец» в восьмом номере опубликовал два его стихотворения: «Едва я только спрыгну с поезда...» и «Приход скота». Автору было восемнадцать лет. Через два года, в 1938-м, тот же «Резец» напечатал стихотворение «В серый день». И с легкой руки этого издания вплоть до начала войны альманахи и журналы не раз обращаются к стихам молодого автора: альманах «Литературный современник» № 10—11, 1940 («Песенка», «Как же я скажу тебе») и № 5, 1941 («Заморозки», «Елка»). Особенно благосклонно отнесся к Глебу Семенову ленинградский журнал «Звезда»⁴, где за год до войны публикуется очень серьезная подборка стихов начинающего автора: «По-над лесом спокойно проходит луна», «Гроза», «Перед дождем», «Упорно вниз вела дорога», «В дремотный лес как в отчий дом», «Я не в укор скажу, а для сравненья», «Печаль, как маленькая птица», «Дóма» (Звезда. 1940. № 5—6).

Это были стихи, составившие костяк первой книги «Парное молоко». Реально книга «Парное молоко» (как, впрочем, и остальные книги, на основе которых подго-

товлено данное издание) никогда не выходила. Те немногие книги, которые Глебу Семенову удалось издать при жизни, составлялись им совсем по иному принципу, чем те, что поэт делал «для себя»; кроме того, они жестоко страдали от цензурных изъятий.

После войны в 1947 г. выходит первая книга стихов Глеба Семенова⁵ «Свет в окнах» (Советский писатель, 1947), которая была немедленно обругана в «Литературной газете»⁶: «...прогулка затянулась... герой Г. Семенова — только сторонний наблюдатель... не может найти себе места в рабочем строю... в стихах не пахнет послевоенной колхозной деревней... царит застойная патриархальщина... настоящая жизнь... осталась не раскрытой в сборнике...» и т. д.

После первой книги в публикациях наступает почти двадцатилетний перерыв. Только в конце 50-х — начале 60-х Глеб Семенов снова выходит из тени и в 1964 году напоминает о своем существовании книгой стихов «Отпуск в сентябре» (М; Л: Советский писатель, 1964). Несмотря на то, что выходила книга в сравнительно благополучное, «оттепельное» время, ей не повезло. Она проходила через цензуру очень тяжело и в результате лишь в малой степени обнародовала реальный запас стихов, накопленный автором к тому времени. Почти то же самое можно сказать и о книге «Сосны» (Л.: Советский писатель, 1972), хотя ей повезло несколько больше, это была все-таки неплохая книга по тем временам. Но все же из прижизненных изданий Глеба Семенова единственной книгой, которая в какой-то степени адекватна была тому, что представлял собой автор, можно считать (и то с большой натяжкой) только его «Избранное» (Стихотворения. Л.: Лениздат, 1979). Даже его посмертно изданная книга «Прощание с садом», ошибочно по вине издательства и по недосмотру составителя выпущенная под елей-

ным названием «Прощание с осенним садом», была изуродована десятками поправок тогдашнего главного редактора издательства «Советский писатель»⁷.

Приступая к исследованию творчества Глеба Семёнова следует сразу оговориться: *книгами* мы будем называть не те, что были изданы — печатали нашего автора, как уже было сказано, очень скупо и ему крайне не везло с цензурой. Книгами мы будем считать те, которые он сам составлял, не оглядываясь на цензуру и не рассчитывая на скорое обнародование. Правильнее было бы сказать, что он занимался этой работой, готовясь к посмертной публикации. Начал он ее загодя, еще в середине 60-х⁸. И когда почувствовал, что смерть таки его настигает, горестно произнес: «Ничего не успел...». Это было преувеличением. Он успел многое, почти все. Обращаясь к давно написанным стихам, выживая их из старых тетрадей, он тщательно и осмысленно «прописывал» их, «проявлял». Добивался эффекта переводной картинки. Без насилия, а «впадая», по его собственному выражению, в прежнее настроение. Поэт, как бы всматриваясь в себя тогдашнего, совершал невозможное: входил второй раз в одну и ту же воду.

Работа была тонкой и не грубой, и коснулась она, разумеется, только первых книг (30—40-х и самого начала 50-х годов). И, конечно, не всех подряд стихов. Часть, даже из самых ранних, не нуждались в таком «проявлении» (в частности, большинство «блокадных» стихов). Очень хороши были изначально и юношеские стихи 30-х годов, написанные на Псковщине, хотя они и требовали, конечно, изъятия шероховатостей и неловкостей, вполне обычных для автора 16—20 лет.

Название каждой книги тоже тщательно обдумывалось: «Парное молоко» — для первой книги — оказалось как нельзя кстати. И дело не только в том, что

звучит оно по-деревенски, подчеркивая тематику книги, а в том, что соответствует взгляду в прошлое «с колоколенки» (как говаривал сам Глеб Семенов): он и был тем самым еще «парным молоком» в годы, когда писались эти стихи.

Разумеется, стихи первой книги Глеба Семенова грешат стилизацией, а иногда явной, почерпнутой из литературы, псевдо-народностью:

На тебе цветистый поясок,
к волосу положен волосок, —
ты прошла вечерней луговиной
словно солнца свет — наискосок.
(«На тебе цветистый поясок...»)

Порой в них отчетливо прочитывается подражание хорошо известным образцам. Не избежала первая книга и некоторой затянутости и порой грешит однообразием. Позднее, когда в зрелые годы поэт ее «прописывал», он уже все это понимал, но оставил недостатки почти неисправленными. Иначе она уже не была бы *первой* книгой. Деревенская тематика стихов прежде всего, конечно, подсказывала и подкидывала горожанину Глебу Семенову есенинские образы и интонацию:

Едва я только спрыгну с поезда,
мне ветер — словно пес — на грудь.
(«Едва я только спрыгну с поезда...»)

Иду я деревней,
и пахнет парным молоком.
Коровы качают рогов неуклюжие лиры.
(*Приход скота*)

Да и попробуй тут устоять, тем более что стихи Есенина читались в доме, книги поэта стояли на полке и были прекрасно известны Глебу Семенову, стихи пленяли своей певучестью и образностью, а семейные разговоры были полны еще не потускневшими воспоминаниями о Есенине: от одного из первых его чтений в Петербурге, которое довелось еще в юности услышать матери Глеба Н. Г. Волотовой в салоне А. П. Философовой, где поэт несколько шокировал публику, произнеся для начала «Корова», сильно нажимая на «о» — и до трагического конца в «Англетере», где та же Н. Г. с ужасом наблюдала в щелку двери, как С. А. Семенов, стоя на стуле, вынимал из петли повесившегося поэта, и голова Есенина доверчиво покоилась на его плече.

И все-таки, обращаясь к стихам первой книги поэта Глеба Семенова, замечаешь, что при всей, в целом, их традиционности и вполне объяснимой зависимости от находок и открытий русской деревенской поэзии на рубеже XIX—XX веков, им нельзя отказать в зрелости, смелости и неожиданности некоторых образов:

Ходят, фыркают кони у древней горы,
и от лунного света их спины мокры...
(«По-над лесом спокойно проходит луна...»)

...и бабы в раздутых полотнах
плывут, как в волнах корабли.
(Перед дождем)

У жидких кленов
горлом
хлещет кровь...
(«В дремотный лес...»)

Заметно также и то, что если стихи и грешат заимствованиями, то автора не только и не столько пленяет певучесть Есенина, сколько, скажем, ярость и тяжело-весность Бориса Корнилова или глубокая философичность Николая Заболоцкого:

...такой благопристойный мир лесной
предстанет исковерканным тебе —
дыханьем голубой болотной астмы
и слизняковой жадностью в грибе.
Большую птицу маленькими ртами
смакует муравьиная орда.
Безводья всеобъемлющее пламя
живьем сжигает сердцевину дуба.
Поодаль возмужавшая вода
над почвою насильничает грубо.
В ногах у леса ползает трава
и, к солнцу заслоненному взывая,
уже едва жива, едва жива...
(«В дремотный лес...»)

То, что автор не идет по линии наименьшего сопротивления, а обращается к наиболее трудным образцам русской деревенской поэзии, заставляет обратить на него внимание. Разумеется, его деревенский мир не избежал идеализации, вполне понятной для совсем молодого человека, мир этот полон дорогих ему подробностей:

...где кот об ноги трется снова
и где, сощурившись хитро,
соломенный заслон от стужи
хозяин к раме прикрепит —
и сразу делается уже
наш мир; пускай себе снаружи
морозит и метель кипит...
(Отрывок)

Иногда стих срывается на деревенский частушечный припев:

А в сугробе — воробей.
Эка жизнь короткая! —
Стайкой пой и стайкой пей,
а помрешь сироткою!
(*Снежный сад*)

Стихи в книге постепенно взрослеют, и автора уже увлекает глубина тютчевской лирики (см. «Бессмертие», № 36); в стихотворении «Заморозки» (№ 30) явственно слышны отзвуки «Умывался ночью на дворе» Осипа Мандельштама:

Нет, не уснуть, беда.
Выйду на спящий двор.
В бочке стынет вода,
синяя, как топор.

И покажется мне,
что, источая свет,
звезды лежат на дне
горстью мелких монет;

и что сам я стою,
словно мальчик из сна,
на неверном краю
ямы, где нету дна;

и сквозь бездонность лет,
через кромешность верст
вот уж лечу на свет
потусторонних звезд...

Вздогну я оттого,
что неприметный ледок
бездну над головой
выдернет из-под ног.

Иногда картины природы рисуются в стихах прямо-
таки эпическими красками:

...и воды ржавые,
и черствый горб земли,
рассохшийся от медленного зноя.
Но вот ударил дождь...
И чтобы не упасть,
деревья радостно схватились друг за друга,
зашлась трава
и, сдерживая страсть,
качнулась рожь упрямо и упруго,
и с шапкою в руках
старик застыл у плуга.
(Гроза)

Идут лишь косцы друг за другом,
мятежные травы тесня.
И в миг, когда ливень нахлынул,
когда прорвалась тишина —
последняя пала травина,
последняя встала копна!
(Перед дождем)

Застыв торжественно на взлете,
огромный трактор на бугре
стоял, как памятник работе.
(Трактор)

Так и напрашивается сравнение этого трактора, стоящего как памятник, с безнадежно-пессимистичными строчками одного из поздних стихотворений Глеба Семенова его последней книги: «И трактор у дороги / поставь ржаветь без гнева» (№ 456). И хотя вполне справедливо было бы упрекнуть эту первую книгу в идеализации деревни (годы-то были страшные, 1930-е), но и в ней уже не так все оптимистично и светло, и чем дальше ее листаешь, тем зрелее и грустнее становятся стихи: «Печаль — как маленькая птица / в ладонях школьника — тиха» (№ 39), «Холода бежали из-под стражи / и ледком в колдобинах легли» (№ 47) «Далека дорога, далека. / Нелегка разлука, нелегка. / К сожаленью, мы не облака» (№ 50). Не обходится автор и без предчувствия грядущих военных испытаний: «Когда испуганною ранью / в шинели, в запахе ремней / однажды встанет расставанье / над спящей дочерью моей...» (№ 48).

Следующая книга стихов Глеба Семенова «Воспоминания о блокаде» двадцать лет пролежала в черновых тетрадах⁹. И только летом 1961 года автор обращается к этим стихам. Толчком послужил, как объяснял сам Глеб Семенов, тяжелый душевный кризис, вызванный и внешними обстоятельствами, и личными невзгодами. Кризис вновь опрокинул поэта в состояние жгучего одиночества и трагической покинутости, безвременья и безнадежности, сродни тем, что испытал он в 1941 году, и воспоминания о блокаде ожили в нем мучительно непотускнешшими. Опять опустевший город, никого рядом — ни родных, ни любимой, ни друзей... Впрочем, я знаю еще один пример блокадника, который именно в 1961 году обратился к старым записям — это Л. Я. Гинзбург.

Такое совпадение наводит на мысль, что двадцать лет — как раз та дистанция, в необходимости которой нуждается *блокадный человек*, чтобы, наконец, в какой-то степени отстраненно вновь заглянуть в эту страшную бездну.

При чтении второй книги Глеба Семенова обращает на себя внимание прежде всего ее четкая структура. Книга состоит из 37 стихов, за редким исключением — коротких, а иногда и очень коротких, каждое стихотворение имеет название. Горечь и страдание наполняют книгу. Никакого пафоса и героизма — только фиксация ситуации с некоторым упором на макаберность происходящего.

В первых стихах книги эта макаберность еще анекдотична:

А Марсово — нынче иначе багрово,
и аэростаты в зарю
всплывают поверх мокрогубого рева, —
в нагрубшее вымя суется корова,
привязанная к фонарю.
(*Закат*)

Но чем дальше мы углубляемся в текст книги, тем трагичнее и ужаснее становятся подробности:

Распался дом на тысячу частей,
и огорожен почему-то
кроватями —
скелетами уюта,
обглоданного до костей...
(*Улица*)

Иногда прорывается страстный лиризм (при воспоминании о близких — жене, дочке, бабушке), но и лиризм тоже закован в сжатую форму:

Возвращаюсь пешком с вокзала.
Не асфальт, а сплошные кочки.
Хорошо ли ты тюк связала,
не забыла ли шарф для дочки?

Постою, ни вздохнув, ни охнув. —
С пьедестала царя свергают.
Первых раненых
в школьных окнах
неподвижно бинты сверкают.

Очень гулко —
и тихо очень.
Все как было — и все как стало.
...Нескончаемым многоточьем
перестук твоего состава...

(Тишина)

И снова — стремление к предельному лаконизму. Многообразие сюжетов диктует смену ритма, интонации и размера. Книга изобилует скупой, почти графически исполненными картинами быта блокадного города и тончайшими, скорбно-безнадежными, горестно-«безнравственными», но, увы, правдивыми психологическими этюдами: «Кромешный, / бестрепетный — библейский дым!..» (№ 62) — это о пожаре на Бадаевских складах, который уничтожил в одночасье весь запас муки в осажденном городе.

Внутри судьбы своей картонной
мы — что ни день, то обиходней —
фугаскам счет ведем на тонны,
а зажигалкам — лишь на сотни.
И зажигалки — даже любим

мы по сравнению с фугасками
(Всегда ведь выбор нужен людям, —
не выбирать же только галстуки!..)
(Выбор, № 65)

Может, завтра и я на ходу
упаду —
не дойду
до того поворота.
Пропадающий хлеб мой имея в виду
(с чем сравнима такая забота!)
вынет теплые карточки кто-то,
не взглянув на меня свысока.
Будет липкой от пота
рука
добряка.
И медаль через годы,
светла и легка,
усмехнется с его пиджака!
(Бессмертие)

Тексты проникнуты горестной иронией. Ходульный героизм отсутствует. Более того, автор нередко бывает беспощаден к себе, признается с прискорбием и в трусости, и в малодушии:

Скомкала меня, заморозила
с воем нарастающая смерть...
Вот ворвется... с ходу сатаня,
выплеснет похлебку... и сквозь дым
на колени рухну перед нею:
неужели гибнуть молодым?! —
Пыль волчком по комнате завертит,
хлопнет дверью, плюнет на меня...

...Сладострастным ужасом бессмертья
тело наливается звеня...
(Бомбежка)

Заканчивается книга мучительных блокадных стихов неким катарсисом — воспоминанием о концерте в промерзшем зале ленинградской филармонии. Стихотворение «Концерт» (№ 86) разворачивается неторопливо, в повествовательном тоне, изобилует подробностями. Тут и «бесполье» скрипачи, которых сокрушенно приветствуют из публики: «сколько зим и — скольких нет!». И «ломтик хлеба нержавеющей», его «дамы в сумочках несут», и «лейтенантик забинтованный», который, услышав первые звуки оркестра, «память в руки уронил», и, наконец, «нимб дыхания сгущенного», расцветающий постепенно «над каждой головой» этих измученных, святых страдальцев.

Третья книга Глеба Семенова называется «Случайный дом», ибо написана она была в эвакуации в 1943—1944 гг. Место действия — Приуралье, деревня Шибуничи под Пермью. И опять для этой книги, так же как и для «блокадной», характерно отсутствие патетики, но рамки ее раздвигаются настолько, что, несмотря на конкретный адрес, местом действия становится вся страна. Если «блокадный человек» был предоставлен, как правило, самому себе и один на один боролся за выживание, не смея просить помощи у себе подобных, то «эвакуированный человек», наоборот, оказывался на великих просторах огромной страны в гигантском коллективе себе подобных и, что важно, в некоторой оппозиции к аборигенам. Можно сказать, что в третьей книге Глеба Семенова возникает классическая оппозиция: свой/чужой,

плюс общая беда — война, которая несколько сглаживает, примиряет эту оппозицию. Здесь, в стихах третьей книги совсем еще молодого двадцатипятилетнего автора, впервые появляются и надолго остаются в его творчестве, с одной стороны — «передвижническая» тема, а с другой — грызущая душу проблема непреодолимой оппозиции интеллигенции и народа. И, хотя нет правил без исключений, но чем дальше — тем непреклонной становится Глеб Семенов в своем убеждении о непреодолимости разрыва, и на протяжении всей последующей жизни эта пропасть для него все более углубляется.

До самой большой беды —
до чуждого дома дожили!
Для нас не хватает воды,
и ведра с трудом одолжены.
Про нас говорят: «жиды»,
и мы принимаем как должное.
(«До самой большой беды...»)

«Как должное», — хотя лично «мы» другой национальности. И не случайно появляются «жиды». Одно из стихотворений так и названо: «Ревекка Моисеевна», и в нем оппозиция «свой/чужой» с предельной четкостью обрисована, хотя, разумеется, она не всегда сводилась к национальному аспекту.

Воспоминания о Ленинграде, тоска по оставленному дому соседствуют в стихах этой военной книги с горестной темой войны. Народ и война, мальчишки и война, матери, получающие похоронки, женщины, у которых мужья воюют, девушки, у которых молодость проходит вдали от хоть какого-то мужского населения, возвращение отвоевавшихся — безногих, безруких, — смерти среди эвакуированных — все это поместилось в книгу о «случайном доме».

Усиливает книгу и еще одна тема, объединяющая все впечатления автора: могучая, во многом еще первобытная, непокоренная, не всегда подвластная человеку природа Предуралья, в которую волею судеб герой перемещен из родного города. И речь идет не о «пейзажной лирике». Природа и все, с ней связанное, в стихах книги Глеба Семенова «Случайный дом» адекватны по масштабу событиям, бушующим далеко на Западе, сопоставимы с мировой войной, в которую вовлечена чуть ли не большая половина человечества. От стихов «Случайного дома», начисто лишенных романтизма и сентиментальности — сказанное касается даже таких стихотворений в книге, как «День рождения», «Мечта», «Прекрасной осени не стало поутру», в которых, казалось бы, без того и другого трудно обойтись — от всех стихов этой военной книги веет безутешным ветром эпоса, лишающим человеческую жизнь уюта и домашности.

В отличие от только что сказанного о военных книгах Глеба Семенова, в которых момент обобщения, структурирования, даже эпического начала оказался чрезвычайно сильным, приходится констатировать (с некоторым разочарованием), что послевоенные книги нашего автора — и «Прохожий», и еще в большей степени «Покуда живы» (книга «Прохожий» рисует послевоенный Ленинград, а книга «Покуда живы» в основном посвящена провинции, куда автора часто засылали в командировки от Союза писателей) почти целиком состоят из «передвижнических», повествовательных стихов, наполненных измельченными подробностями и, прежде всего — деталями только что отгремевшей войны. «Тополя отстреленная крона» (№ 140), «паровоз, убитый наповал» (№ 139), обрушившийся под откос и обросший там травами — все рисует «страну кочевую», «навылет продутую» «безруким жаргоном, безногим акцентом» (№ 141).

Но в «Прохожем» в центре — пейзажи родного города, послевоенного, послеблокадного...

А за решеткой Летний сад
наискосок ходил по клетке...

(Апрель сорок пятого)

А когда звучит за кадром голос автора: «И круглый сад перед музеем...» (№ 145) — узнается Михайловская площадь и Русский музей, и послевоенные трамваи, которые делали круг по этой площади, затем остановку, а затем разбегались по Невскому в разные стороны, одни к Смольному, другие на Васильевский. И эти милые сердцу детали трогают до слез тех, кто помнит Ленинград 1945-го. «И если плачущих мы видим...», то оно и понятно, ведь вот он, «ковчег белоколонный» Большого зала филармонии, описанием концерта в котором зимой 1942-го заканчивалась вторая, «блокадная» книга поэта.

Но эти подробности, как они ни привлекательны и ни трогательны, лишают книгу монументальности. Впрочем, это входило в замысел автора, ибо основная тема четвертой книги — потерянность и растерянность «послевоенного» человека, который не может найти себе места после «большой войны». Этой теме, можно сказать, была посвящена вся европейская послевоенная культура. Не случайно и книга Глеба Семенова названа «Прохожий».

...слежу — как скрытой камерой — за ней,
за жизнью, не порезанной цензурой.

(Свет в окнах)

Сценки, очень близкие итальянскому неореализму, который в это время пришел в кино, выхватывает «скрытая камера» послевоенной книги Гл. Семенова:

Старухи руки в боки. Старики
с подтяжками свисающими. Дети,
которых водружают на горшки. —
Бесхитростные кинокадры эти
о людях повествуют по-людски.

(Свет в окнах)

Это принципиально. Автору не по нутру фанфары победы, которые оглушают послевоенного человека. Обманутый в своих чаяниях, в своих мечтах о наконец наступившей чистой и праведной жизни после такого испытания, каким была война, послевоенный человек чувствует себя в лучшем случае «прохожим». Повсюду он встречает все ту же «фальшь», которая, «забив слюнями рот» («Похороны», № 147), мешает выпрямиться и приступить к делу, обессиливает, поселяет в душе равнодушие.

Но если бы только это. Вскоре к послевоенному человеку подкрадывается довоенный ужас, страх, который будет преследовать и его, и последующие поколения (во всяком случае — до хрущевской «оттепели»), когда каждый неожиданный стук в дверь или незапланированный звонок будет рождать мысль:

Я надеюсь, что мимо,
не ко мне, не за мной.

(Лбом в стекло)

А потом его посещает и «незаконная» любовь. Она тоже разливается по книге лирическими сценами, бессонницами, бездомностью, блужданиями по городу. И никакой выпренности, никакой героики!

Заключая рассказ о книге «Прохожий», нельзя не упомянуть о двух стихотворениях, которые начинают серию стихов Глеба Семенова о творчестве. Это стихотворения «Творчество» и «Бабочка» (№ 170, 171).

Как знаю этот сладкий холод,
что расправляет нам крыла!
...Я пальцем Божиим приколот
к доске случайного стола...
(Бабочка)

Пятая книга стихов поэта «Покуда живы» продолжает тему и «Случайного дома» (только время уже послевоенное), и «Прохожего» (только место действия уже не столько город, сколько провинция). Речь в стихах идет не об авторе, и повествование часто ведется не от первого лица. Время, когда писалась книга — 1952—1956 гг. Первая ее часть, в которую вошли проблемные стихи, сюжеты которых подсмотрены автором в провинции, озаглавлена «В дальнем районе» (№ 189—198) и претендует на некоторую широкую панораму существования послевоенной страны, которая покуда еще жива. Речь в стихах идет о самой будничной, повседневной, народной, так сказать, жизни со всеми ее трудностями, недостатками, нехватками, положительными и отрицательными персонажами. Этаким критический реализм конца сороковых — начала пятидесятых годов двадцатого века. Основной пафос книги понятен и объясним: народ вернулся с войны — а как он живет, этот народ, после своей великой победы!

Когда все кончилось победой,
и не в кого уже стрелять;
когда все стало песней спетой
(не дай бог петть ее опять!);
когда, сменив парадный китель
на зависевшийся пиджак,

помылся в бане победитель,
в военкомат сходил и в жакт;
когда вернулся в цех завода,
когда вернул свою жену,
когда гитару из комода
достал и вспомнил старину...
(Победитель)

Появление в эту эпоху новой волны «критического реализма» вполне объяснимо, тем более, что вскоре мощный толчок ему дает смерть Сталина. У всех накопилось много того, что хотелось бы, наконец, обдумать, рассказать, выкрикнуть. И хотя перед нами книга в основном лирических стихов, но герои стихов — «люди из народа», будь то девочка-киномеханик («В метель», № 189), или старый учитель («Учитель», № 193), или цыганский табор, заблудившийся среди русских деревень («Последний табор», № 194), или крестьянин, вернувшийся с войны («Победитель», № 190), или его односельчанин, пришедший из лагеря («Распахнуты ворота», «Хозяин»; № 196, 197). И чисто стилистически в стихах этого времени господствуют «некрасовские» интонация и размер (не один Глеб Семенов грешил этим). Иногда автор сбивается на стиль «агитатора-горлана-главаря», даже не брезгует «лесенкой» Маяковского в некоторых стихах, хотя чаще слышится переключка с Исаковским и Твардовским.

Во второй и третьей частях книги «Покуда живы» стилистика стихов резко меняется. Опять идет разговор от имени автора, то есть автор совпадает (и теперь уже навсегда) с лирическим героем, а повествовательная, «сюжетная» линия уходит из поэзии Глеба Семенова (и тоже навсегда. Но при этом гражданский пафос из стихов не только не исчезает, а наоборот, скорее усиливается во второй («Покуда живы») и третьей («Вечер встре-

чи») частях книги, где разговор все чаще обращается к большим темам недавнего прошлого и настоящего. Пессимистичен взгляд поэта на общество, причем не только на свое — отечественное, но и на мировое, в котором он различает только:

...гул перенаселенной глухоты
сквозь ужас воспаленного величья
(*Мир*)

И, может быть, потому автор беседует в своих стихах с близкими ему людьми, с друзьями, учениками¹⁰, родными, собратьями по перу, щедро посвящая им стихи этой книги. Начинается вторая часть обращением к Леониду Агееву, поэту, ученику и младшему собрату по перу Гл. Семенова (№ 199), вскоре следует посвящение Борису Слуцкому (№ 201), с которым автор был дружен, затем — посвящение матери (№ 204), еще дальше стихотворение «Вечер встречи» (№ 208), на сей раз обращенное к поэту, ученику и другу Владимиру Британишскому, далее — очень жесткие стихи и снова посвященные поэту, но — предыдущего поколения, а именно Ольге Берггольц, и в этих стихах идет спор об эпохе, которую с таким энтузиазмом строили предшественники, и в которой пришлось жить и страдать им самим, и поколению Глеба Семенова, и его ученикам.

Разлинован и расскрещен
сытым пафосом годовщин
твой — всю душу продувший — ветер
(*Ольге Берггольц*)

И, наконец, кончается книга стихами, обращенными к Марине Цветаевой (№ 217—221).

Хотелось бы отметить еще несколько особенностей книги «Покуда живы». В ней на фоне обязательного для Глеба Семенова лирического полотна появляются несколько стихотворений остро публицистических, злых, блестяще написанных. Таковы «Зависть» (№ 214), «Песни» (№ 215), «Плакат» (№ 216). Если к тому, что уже было сказано выше, прибавить очень важную подробность, а именно, что в этой книге Глеб Семенов снова (впервые, после юношеских стихов) обращается к теме деревни, Родины и России (№ 200, 205, 206), то можно сделать вывод, что книга явилась предтечей нового периода творчества поэта, который начинается в конце 1950-х годов и идет по нарастающей до самых последних стихов, оборванных ранней смертью.

Книга «Год спокойного солнца» состоит из двадцати пяти стихотворений и одной поэмы. Название выбрано очень удачно. В стихах переплетается тема природы с темой нежности и любви. Напряженный драматизм — столь характерный для остальных книг Глеба Семенова и являющийся неременным и обязательным условием того, чтобы лирическое стихотворение состоялось — в этой книге отсутствует. Все держится на тонкой, прозрачной, дрожащей гармонии, которая объединяет стихи, разные по времени написания и по стилистике. Ничто их не утяжеляет, нет в них неразрешимых, давящих душу драм, любовных коллизий. Лишь ирония кое-где разнообразит сюжеты и облегчает разрешение спорных вопросов и «мировых проблем». Книга полна благодарности природе, жизни, любви.

Отпыхтят, отстанут поезда,
и ничуть не стыдно перед веком
оказаться просто человеком,
да и то идущим никуда!
(«Не пойму, откуда у меня...»)

Для конца пятидесятых — начала шестидесятых годов, прямо скажем, неприемлемый манифест!

Казалось бы, речь идет о вполне прозаических вещах, но стихи как бы парят над повседневностью, и, несмотря на мельчайшие подробности, которые автор рассматривает иногда почти под микроскопом — приземленности в стихах нет. Если это облака, то «одно из них на миг явило грубый / вид полубога и полубыка», «лось» выходит на поляну «в тишину обутый», над ручьем склоняется «чуть отсыревшая звезда», «ручей... такой болтун, а летописцем числится!», «кукушка с глиняной печалью твердит два слога тишины», «осенний лес похож на Дон-Кихота». И, наконец, оттолкнувшись от наблюдений за природой автор с благодарностью вспоминает о своих библейских прародителях («Кранах». № 237), и задумывается над будущей судьбой мироздания:

Так полчища беспалых и бесполых
планету вспучат, — миг один, и весь
мир
разлетится вдребезги, как термос,
земля забудет имя, и над ней
поднимется — лишенная корней —
лишь атомных грибов несоразмерность!
(Отпуск в сентябре)

Последняя цитата — из поэмы «Отпуск в сентябре», которой заканчивается книга. Поэма посвящена «Всем друзьям», и первые варианты ее появляются еще в послевоенном 1946 году. Я помню, как Глеб Семенов читал нам отрывки из поэмы весной 1956 года на занятии ЛИТО. Окончательный текст был готов к 1961 году, тогда, в частности, появился текст «Посвящения». Это единственный случай обращения Глеба Семенова к «лиро-

эпическому» жанру. Поэма состоит из девяти коротких главок (плюс Посвящение), каждая из которых имеет свой сюжет, и объединены они темой грибной прогулки. Каждая главка по-своему интересна, остроумна, насыщена прекрасными деталями, пестрит поэтическими находками и философскими рассуждениями, иронией и лирическими подробностями, но, пожалуй, шедевром среди них можно считать шестую главку, где речь идет о встретившейся старухе. Образ ее вполне сопоставим с лучшими находками передвижников в живописи. И замечательна концовка: «Старуха, / глазами поменяться бы с тобой!»

Следующие две книги Глеба Семенова «Длинный вечер» (1961—1964) и «Чудо в толпе» (1958—1967) вполне можно отнести к жанру «любовной лирики». Даты их написания наплывают друг на друга — но книги очень разные. И дело здесь не в том, что они адресованы разным лицам, а в совершенно разном мироощущении самого автора. Если книга «Длинный вечер» — страстный, полный нетерпения и страдания монолог: монолог-письмо, монолог, призывающий любимую, монолог — выкрик в пространство, монолог — обращение к Богу (книга открывается стихотворением «Молитва», № 248), и всё, что здесь говорится, произносится на последней стадии отчаяния, то «Чудо в толпе» — тихий и грустный диалог, сопереживание разъединенных волею судеб лирических героев. И в обеих книгах не последнее место занимают еще два действующих лица — город и природа. Не случайно в книге «Длинный вечер» присутствует цикл стихов «Пятая зона» (№ 260—264), название которого ведет нас на Карельский перешеек, в Комарово...

За плечами май с июнем,
до разлуки — два шага.

Обернемся напоследок:
будто смотрит кто-то вслед.
Тихо-тихо льется с веток
навсегда весенний свет.
(«А у деревьев тоже лица...»)

Впрочем, такая просветленная интонация совершенно не характерна для стихов «Длинного вечера».

А в книге «Чудо в толпе» — влюбленных окружает городская природа, сады, каналы, мосты, проспекты: «И двести лет щемящ и неожидан / канала бессловесный поворот...» (№ 320), или «Послушай, не из этого ли сада / когда-нибудь мое дыханье унесут?» (№ 320), или «...Не навек ли нас соединил / ужас разведенного моста?...» (№ 309), реже — лес, поля:

Встал на камень, встал на камень —
вижу самый круг земной!
Даль искромсана сверканьем
в стороне твоей лесной.
Там лучи с дождями рубятся.
Страшно ангелы кричат.
Лиловеющие рубища
тучи понизу влачат.
Ах, зачем оно открылось,
это небо надо мной!
Вот стою — и вся бескрылость
громоздится за спиной.
(«Встал на камень, встал на камень...»)

Драматизм книги «Длинный вечер» держится на едином монологе, внутри которого, кажется, нет границ. Но все-таки среди этого потока стихов есть и менее интересные, и подлинные шедевры. Среди последних необ-

ходимо отметить такие стихи, как «Семейная баллада» (№ 249), «Длинный вечер» (№ 259), «Деревья» (№ 266), «Одиночество» (№ 269), «Междугородняя тишина» (№ 283). Что же касается книги «Чудо в толпе», то ей, может быть, меньше повезло на шедевры, но одно стихотворение, заключающее книгу, достойно того, чтобы им закончить разговор об этом «срединном» периоде творчества Глеба Семенова:

Край отчий. Век трудный. Час легкий.
Я счастлив. Ты рядом. Нас двое.
Дай губы, дай мокрые щеки.
Будь вечно — женою, вдовою.
Старухой — когда-нибудь — вспомни:
так было, как не было позже. —
Друг милый. Луг нежный. Лес темный.
Звон дальний. Свет чудный. Мир Божий.
(«Край отчий. Век трудный. Час легкий...»)

Следующая книга «Остановись в потоке» (1962—1968) по своему драматизму не уступает «Длинному вечеру», но причиной драматизма, породившего стихи этой книги, является уже не любовная коллизия, а преимущественно социально-политическая. И здесь мне хотелось бы привести отрывок из статьи Якова Гордина¹¹, ибо в ней очень точно сформулированы те чувства и тот горестный пафос, которые питают именно книгу «Остановись в потоке»:

«Глеб Семенов, быть может, как никто понимал странную прелесть и угнетающий ужас нашей жизни, понимал мучительное наслаждение — противостоять, сохраняя живую душу.

Из этого понимания выростала его поэзия. Время было так иезуитски и безнравственно жестоко к людям, что мы потеряли культуру страдания. Глеб Семенов — один из немногих, кто сохранил эту культуру в своих стихах. Он не был публицистом прежде всего. Но его тонкая и трогательная пейзажная лирика, его любовные стихи неизменно окрашены упрямым подспудным противостоянием общественному уродству. “На ваш безумный мир один ответ...”

Теперь, ретроспективно, худой, горестно сутулый Глеб Сергеевич напоминает мне мятежного Иова на пепелище нашей духовной жизни. Только объект мятежа — иной. “...О Господи, спаси слепое стадо...” Он много на себя брал в стихах — но без этого не бывает подлинной литературы. Камертоном его отношений со своей страной было отношение к ней Чаадаева и Пушкина. Русский интеллигент, несмотря ни на что сохранивший себя как русского интеллигента “перед лицом разнузданной тщеты”, под ежедневным напором кровью чреватого лицемерия, он — говоря словами Ходасевича — имел “мучительное право любить тебя и проклинать тебя”, “Россия, громкая держава”. Как истинный поэт он сделал материалом поэзии наш быт и стал поэтом ежедневной нашей драмы. <...>

И говорить сегодня надо о выходящем на свет Божий трагическом русском поэте Глебе Семенове, в года глухие и бессовестные отстаивавшем, стиснув зубы, честь русской поэзии, честь русской демократии, жизнь на то положившем».

«Теперь, ретроспективно», как пишет Яков Гордин, можно удивиться стихам книги «Остановись в потоке», в которых мы читаем предсказание, до исполнения которого мы дожили:

Сквернословит планета,
отражаясь в бутылке.
Холодок пистолета
у нее на затылке.
(«В мире пахнет паленым...», № 327)

Кроме общей трагической настроенности автора в книге «Остановись в потоке» удивляет количество вечных тем и «проклятых вопросов», которые умудряется затронуть поэт. Здесь и кричащее стихотворение «Адам» (№ 373) об отсутствии гармонического начала — и в личной жизни человека XX века, и в планетарном аспекте, здесь и темы предательства (№ 348, 349) и насилия (№ 350, 351, 353), и отклики на реальные политические события (№ 352), и отношения личности с эпохой (№ 354, 355, 367), здесь и размышления, весьма пессимистические — о собственной жизни, о судьбе своего поколения в масштабах страны и доставшейся ему эпохи. Название стихотворения звучит символично: «Памяти самих себя» (№ 370). Противовесом к этим невеселым размышлениям служат стихи-обращения к друзьям, современникам, со-страдальцам по эпохе, которыми полна книга. Иногда — к людям, которых давно нет в живых: Пастернаку (№ 329), Ахматовой (№ 373), Мандельштаму (№ 371), Ходасевичу (№ 344, 372), иногда к друзьям: Александру Кушнеру (№ 336, 357), Герману Плисецкому (№ 332), Фриде Вигдоровой (№ 358), Овадию Савичу (№ 374) — последних двух ему же и пришлось хоронить... Вообще в этой книге затрагиваются и так называемые вечные темы: жизни, смерти, судьбы (№ 364, 375, 376).

Но есть и некоторая альтернатива этой трагической ноте — стихи о творчестве, которые названы автором «Проблески» (№ 377), и, прежде всего — о музыке, о

столь любимых (не только Глебом Семеновым, но и всем нашим поколением) Бахе и Вивальди (№ 379, 380). Но тут и старый Бетховен (№ 381), и Берлиоз (№ 382), и Равель (№ 383), и Шостакович (№ 384) и, наконец, удивительный по настроению «концерт для возраста с оркестром» (№ 385).

Заканчивает Глеб Семенов эту трудную во всех отношениях книгу циклом стихов «Из воспоминаний детства» (№ 386—396). Стихи этого цикла (некоторые из них можно отнести к лучшим у поэта) — попытка разобраться, откуда же берется это чудо — жизнь, когда и что именно, какие впечатления и на каком повороте жизни формируют человека, делают его таким, каков он есть. Очаровательны стихи о первых часах, днях, месяцах:

Сперва я был во власти осязаний.
Потом — сухой, отглаженный, прогретый —
перевернулся мир перед глазами
и медленно распался на предметы.

Разбитой чашкой осчастливил уши,
вломился погремушечным восторгом...
(«В досрочном резервариуме неком...»)

А дальше — и о первой детской затяжной болезни, когда надолго выпадаешь из жизни и заново рождаешься, и о первой замученной душе — подбитой из рогатки птице, и о раскулачивании в деревне, под которое попала ровесница и подружка Машка Кулакова, и о первой влюбленности, и о первых стихах, и о ночном звонке в квартиру, и о первом (вместо прогулянных уроков) самостоятельном путешествии на край города, когда сложились первые стихи —

Минуту постоял я, рот разиня.
Ворвалась воля вольная за ворот.
И детство отступило — словно город.
И юность началась — как вся Россия.
(«Я почему-то прогулял уроки...»)

И закончить разговор об этой книге можно необыкновенно тонким наблюдением опять-таки Якова Гордина о творчестве Глеба Семенова, наблюдением, более всего относящимся именно к тем стихам, о которых только что шла речь: «В нем (В Глебе Семенове. — Е. К.) удивительным образом сочетались самоотверженный демократизм, напоминающий о позднем Мандельштаме — «Я человек эпохи Москвошвея...», и поэтическая надменность, свойственная любимому им Ходасевичу»¹².

Некоторым контрастом к предыдущей книге, которая была наполнена страстью, скорбью и пафосом обвинения, явилась следующая книга поэта «Сосны». Написана она была в Эльве, недалеко от Тарту в Эстонии. Можно сказать, что Глеб Семенов, покинув шумную, чужую ему Москву, «удалился в скит» под стены Тартусского университета, с которым он был тогда тесно связан, и там, в тишине, в одиночестве он написал книгу «Сосны» (само название обещает бессуетность и смирение страстей) и перевел Омара Хайяма¹³. Эпиграфом к «Соснам» взяты строчки Б. Пастернака: «И вот, бессмертные на время, / Мы к лику сосен причтены...»

В ученье к соснам отданный, молчу.
Средневековых крыш сухое пламя
и лес, как будто проповедь: косым
пронизан солнцем, гулок и возвышен.
Пылинкой, примелькавшейся лучу,
душа — ее почти не существует —

лукаво проблеснет и растворится <...>
Я забываю привкус тех обид...
<...> Довлеет мне воды и хлеба,
и неба и земли довлеет мне.
(*Медленные стихи*)

Почти каждое стихотворение книги проповедует бес-
суетность, хотя память по-прежнему полна оставленны-
ми «в миру» страстями: «Когда тебя обидит век / иль
женщина лишит свободы...» (№ 398). Одно за другим
следуют стихи, посвященные родным и любимым: матери
(№ 400), сыну Никите (№ 401—403), дочери Ксане
(№ 414), друзьям — Б. Гаспарову (№ 415), с кото-
рым Глеб Семенов ведет долгие разговоры о музыке,
Я. Гордину (№ 421).

И надо прибавить, что именно в Эльве были написа-
ны стихи и о «гобеленовом Вивальди» (№ 379), и о
старом глухом Бетховене («Глухота», № 381), хотя по-
зднее по замыслу автора они перешли в другую книгу.
И совершенно понятно, что именно в эльвинском уеди-
нении Глебу Семенову могла прийти в голову мысль
поставить перед стихотворением о Бетховене эпитафия:
«В лесах я счастлив...» — пишет Бетховен».

Но внешний мир не отпускает поэта, в то же время
отталкивая своей отчужденностью:

Недописанный лист на столе.
Неприрученный луч на стволе. —
Ничего-то не надо мне, Боже!
Отчего же осина во мгле
так шумит надо мной, отчего же
обдает меня взглядом прохожий,
как чужого на этой земле?
(«*Недописанный лист на столе...*»)

И Глеб Семенов возвращается в «мир», и пишет свою последнюю книгу «Хождение за три оврага» (1969—1981). Название книги перефразирует знаменитое «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, и это не случайно. Это — декларация. Глеб Семенов отталкивается от гигантомании и величия, которое провозглашается советским государством. Он затыкает уши, чтобы не слышать фанфар и шума великих строек. Он не покоряет Космос, он не поднимает целину, он не *ходит за три моря* покорять чужие земли, строить в них социализм. Он удаляется в деревню с неприятзательным именем Пачковка под стены Псково-Печерского монастыря и ходит на прогулки «за три оврага». Иногда лето делится между Пачковкой и Комарово. В Комарово тоже все знакомо и близко, там были написаны многие стихи более ранних книг. Там когда-то, в середине земного пути, писалась «грибная поэма» («Отпуск в сентябре»).

Последняя книга делится на три раздела: первый — «По склону дня (Пачковка, 1969—1972)» включает 11 стихов, второй — «Комарово, 1970-е...» — 15 стихов, третий — «Комарово, последние...» — 26 стихов.

«Высоким слогом в наши дни!?» — вопрошает автор буквально в первых строках — и тут же дает ответ: «Опушкам, просекам, лугам — сто гимнов моего молчания». И подтверждает, зарекается: «одический восторг немотства!», никакой выпренности.

В книге есть подлинные шедевры. К ним относятся «Маленькие пейзажи» (№ 429):

Сухая кисть и тощий колорит.
Передний план колесами изрыт.
Две ивы на голландском ветроуде.
Какое время года — не прочесть.

.....

Непышный хлеб, текучая вода,
вдали вечнобиблейские стада
и только для пейзажа — провода,
гудящие натужно вдоль дороги.

«Голландский ветродуй» — это, как нынче модно выражаться, возвращение к своим корням. Глеб Семенов никогда не гонялся за модой, но к Голландии питал слабость. Отсюда, я думаю, и название стихотворения.

Есть в книге щемящий мотив прощания. Он проби-
вается, буквально прорастает через все стихи. Трудно
сказать, отчего это. У самого автора эти последние годы
были относительно благополучны, скорей всего давала
себя знать накопившаяся усталость и раздражение на то,
что было вне его узкого круга. Особенно мучила поли-
тическая ситуация, съедала душу ненависть к режиму и
все, что из этого вытекало.

Запалят прошлогодние листья,
и потянет дымком между сосен.
Всколыхнется душа, затоскует,
то ли старость уже, то ли осень.
То ли сизое воспоминанье
дочерна перетлевшей невзгоды;
то ли вечная горечь России —
много воли и мало свободы.
Сушат хлеб, или топится баня,
костерок в чистом поле белесый, —
посреди безутешного мира —
дым отчества, счастье сквозь слезы.
(«Запалят прошлогодние листья...»)

Почти в каждом стихотворении горестные призна-
ния. И почти всегда теперь из одного стихотворения в
другое переходит мотив прощания:

Я шаг за шагом в сторону заката
неслышно отхожу на расстоянье
руки, тобой протянутой когда-то.
(По склону дня, № 435)

Стужей близкого покоя
веет за версту вода.
Невзначай махнул рукою —
как простился навсегда

с этой пожней, с этой пашней,
с колокольным этим днем,
с красотой позавчерашней,
с вороньем —
все бесшабашней
празднующим вороньем.
(Успенье)

Тот же мотив — и в стихах «комаровского» цикла:

...счастлив домом своим, домочадцами, дымом
между сосен, котом
на крыльце, и в неведенье непобедимом,
как все будет потом.
(«Никакая как будто еще и не старость...»)

Веранда, старые друзья, ученики, прощание с садом,
«с котом на крыльце», «недописаны строчки, недодума-
на жизнь» (№ 445), вспоминается детство, няня, Свя-
тые горы: «По памяти рисую: вот изба...» (№ 458),
пишутся стихи *последним друзьям* (№ 459—463)...
Откуда такая уверенность, что они *последние*... Вспоми-
наются «уехавшие» друзья, те, с которыми свидания уж
точно не будет в этой жизни. И при этом пишутся стихи

о городе, который они теперь уже не увидят (так думалось тогда), город «лиловый, линялый, ленивый» (№ 463). Последние стихи городу (№ 467), питерским речкам, каналам... И эпитафия ставится из стихов друга — Александра Кушнера: «Пряжку, Карповку, Смоленку, / Стикс, Коцит и Ахеронт...» Значит, все-таки Стикс...

«Сколько ж было!.. А было... и жгло...» Последние стихи дочке, последний приезд на дачу, прощание с женой, последние строчки в тетрадке: «Уходит жизнь моя в песок, / целую тихий твой висок...»

Так загодя простился Глеб Семенов со всем, что он ценил и любил в этой земной жизни. Теперь пришло время жизни его стихов, которые впервые приходят к читателю в неискаженном виде.

Елена Кумпан

Примечания

1. См.: Русские писатели 1890—1917 годов: Биографический словарь. Т. 2. С. 92—93.

2. См.: Русские писатели 1890—1917 годов: Биографический словарь. Т. 1. С. 470—472.

3. Семенов Сергей Александрович (1893—1942). См.: Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. С. 743—744.

4. Бросается в глаза странность этой публикации в пору безвременья. Не связано ли это было с некоторым «глотком свободы» перед самой войной: выход книги стихов Н. Заболоцкого в 1937-м, первые публикации Алексея Недогонова в те же годы, и пр. (благодарю за подсказку В. Британишского).

5. Вот изданные книги Глеба Семенова: Свет в окнах. Стихи. Л.: Советский писатель, 1947; Отпуск в сентябре.

М.; Л.: Советский писатель, 1964; Сосны. Л.: Советский писатель, 1972; Стихотворения. Л.: Лениздат, 1979; Прощание с осенним садом. Л.: Советский писатель, 1986; Концерт для возраста с оркестром. Стихи. СПб.: АОЗТ «Журнал “Звезда”», 2000.

6. Литературная газета. 1948. № 48, 16 апреля. Название статьи: «Затянувшаяся прогулка».

7. См.: Елена Кумпан. Поговорим о странностях цензуры // Звезда. 2001. № 4. С. 204—212.

8. См.: «...Говорить друг с другом, как с собой...» Глеб Семенов и Тамара Хмельницкая (Переписка 1962—1965 гг.) / Публикация, вступительная заметка и примечания Е. Кумпан // Звезда. 1997. № 12. С. 122—148.

9. В первой изданной книге Г. Семенова «Свет в окнах» напечатано только одно стихотворение из блокадного цикла — «Мужество».

10. Глеб Семенов был не только поэтом, но и учителем поэтов. С 1947 года он вел Литературное объединение во Дворце Пионеров, затем в Горном институте (1950-е годы), в 1960—1970-х — в Доме ученых, в ДК Первой Пятилетки и им. Горького и пр. Его учениками считают себя многие деятели культуры, широко ныне известные, и прежде всего люди, связавшие свою жизнь с литературой — поэты, прозаики, драматурги. Но есть среди учеников Гл. Семенова и режиссеры, актеры, издатели и даже крупные ученые — филологи и не филологи.

11. Статья Якова Гордина предваряет книгу Глеба Семенова «Концерт для возраста с оркестром» (СПб., 2000).

12. Там же.

13. Рубайат Омара Хайяма в переводе Гл. Семенова опубликован лишь частично, см. книги «Сосны», «Стихотворения», а также в сборниках Омара Хайяма. Последний из них: Омар Хайям. Сад желаний. Рубаи. СПб., 2004. В предисловии Л. Малковича к этому сборнику о переводах Гл. Семенова

сказано следующее: «Общее количество опубликованных рубаи в переводе Гл. Семенова составляет 146. Переводы заслуживают исключительно высокой оценки — они поэтичны, остроумны, экспрессивны, выразительны, четко и ясно отражают мысль оригинала. Художник большой культуры слова, наставник и учитель многих ленинградских поэтов, Семенов и в Хайяме увидел прежде всего подлинного интеллигента своего времени, человека мыслящего и страдающего» (с. 16—17).

*СТИХОТВОРЕНИЯ
И
ПОЭМЫ*

ПАРНОЕ МОЛОКО

(1937—1941)

I

1. ОТРЫВОК

Туда, туда... Опять в разгаре
зимы, в крошечном декабре,
от грязи питерской, от гари,
от диких споров на бульваре
и поцелуев во дворе, —

туда, по мановенью слова,
где ждут нескладного и злого
уют, прощение, добро,
где кот об ноги трется снова
и где, сощурившись хитро,

соломенный заслон от стужи
хозяин к раме прикрепит —
и сразу делается уже
наш мир; пускай себе снаружи
морозит и метель кипит, —

чуть смеркнется, за самоваром
кто с книжкой, кто с журналом старым
сойдемся мы в согласный круг

и дышит горьковатым жаром
янтарный чай, наш общий друг, —

туда душой лечу...

2

Едва я только спрыгну с поезда,
мне ветер — словно пес — на грудь.
Ромашки кланяются поясно
и зазывают отдохнуть.

Но вдоль покоса, мимо пахоты
иду я к дому над рекой,
где окна в яблони распахнуты,
а в чистых комнатах покой;

где хлеб, гордясь домашней выпечкой,
почил на кринке с молоком;
где самовар ворчит с улыбочкой
на песьи просьбы под окном;

где — каждой черточкой родимые —
отметки роста на дверях;
где погреб веет холодиною
и где чердак совсем одрях.

Дверные скрипы вспомню сразу я,
в морщинках прежних потолок. —
Все закоулки я облазаю,
не чуя под собою ног.

И, лишь умаявшись до лешего,
я опрокину в два глотка
за детство, в доме прошумевшее,
стакан парного молока!

3. СЫН ВЕРНУЛСЯ

Сын не забыл родную мать...

Блок

Ветер вздрагивает в пуще,
вечер, спать да спать.
Ты на сон меня грядущий
поцелуешь, мать?

Пусть сегодня мне приснится
детство у горы.
Что могло перемениться
с золотой поры?

Я такой же, только волос
у меня темней.
Я такой же, только голос
у меня сильней.

Только я немножко выше
стал, чем в те года.
Только ты немножко ниже,
чем была тогда.

Все такая ж, только волос
у тебя седей.

Все такая ж, только голос
у тебя слабей.

И тебе пускай приснится
детство у горы.

Что могло перемениться
с золотой поры!

Ветер стих над синей пущей,
вечер, спать да спать...

Дай тебя на сон грядущий
поцелую, мать!

4. ОТЦУ

От душераздирающей молвы —
в бессмысленные шорохи травы.

От полупринудительных застолий —
к свиданиям с естественнейшей волей.

Ненужное ружьишко за плечом —
раздумье обо всем и ни о чем.

5. СНЕЖНЫЙ САД

За ночь легкий выпал снег,
сад мой запорошило,
всех угадываю, всех,
кто гостил непрошенно!

Вдоль березок молодых
к старому курятнику
лисьи тянутся следы
цепкой аккуратненькой.

По искристой целине —
птичьих лап петелины,
как узор на полотне,
вышитый затейливо.

Мелко, вдоль и поперек,
с росчерками, бисером,
исследил снега хорек,
словно век был писарем.

В огород — наперебой
лакомства выискивать
зайцы шли и всей гурьбой
подгрызали изгородь.

А в сугробе — воробей.
Эка жизнь короткая! —
Стайкой пой и стайкой пей,
а помрешь сироткою!

И наутро — хоть бы хруст!
Тени ходят синие.
Спит смородиновый куст
в непробудном инее,

солнце машет через дым
полушалком розовым...

Хорошо искать следы
во саду березовом!

6. ПЕСЕНКА

Брожу-блуждаю по лесу,
с деревьями дружу.
До самого до пояса
в сугробы захожу.

Шепчу стихи старинные,
свищу на все лады.
Ищу следы звериные
и девичьи следы.

Вот под сосною — беличьи,
вот — заячий поскок.
Но затерялись девичьи —
совсем я сбился с ног!

Куда они девались, —
ищи теперь, свищи?!
Закатные из-за леса
ложатся вкось лучи.

На грудь метель бросается
и щеки лижет мне...
Ау, моя красавица,
в какой ты стороне?

7. ДЯДЯ ВАНЯ

Стоят березы в легком золоте,
в тяжелом золоте дубы.
С утра до вечера вдоль Сороти
разносит отзвук молотьбы.

А дядя Ваня в одиночестве
пристроился под бережком.
Для старика нет выше почести —
дай посидеть ему тишком.

У ног четыре вижу удочки,
из винной пробки поплавки
по малой ряби, словно уточки,
плывут, неброски и легки.

Плывут с обманными подскоками,
утонут — только подсекай!
А на кукане ходят окуни
и в речке рыбы через край.

Мы на купальщиц — ноль внимания,
мол, тоже невидаль — бабье!..
На бережочке с дядей Ванею
прошло мальчишество мое.

8. НАД СОРОТЬЮ

Сладок посвист козодоя.
Засинелось поле.
Песня стелется водою,
тихая до боли.

И томит она, заботит
позднюю девчонку,
что белье вальком колотит
на мостках внаклонку.

Да и парень, подгулявший,
видимо, в райцентре,
то ли плачет, то ли пляшет
у забитой церкви.

Пар плывет белесоватый,
берег размывает.
На два голоса солдаты
на мосту спивают.

9

По-над лесом спокойно проходит луна.
На стремнине беззвучная бьется волна.
И в деревне моей — тишины легкий дым:
спят усталые люди по избам своим,
светлым дымом над ними плывет тишина.

С колотушкой сторож проходит, не спит.
Агроном над сегодняшней сводкой корпит.
В пятистенной избе беготня досветла:
председателю сына жена родила,
спят усталые люди, но время не спит!

Ходят, фыркают кони у древней горы,
и от лунного света их спины мокры,

и далеко-далеко, неведомо где,
слышен трактора шаг по ночной борозде.
Богатырские кони советской поры!

Полной грудью вздыхают парные поля.
Остывает большак, чуть приметно пыля.
Нарастает пшеницы бесшумный прибой.
На мосту часового сменил часовой.
Разве спит этой тихой ночью земля?!

10

Комариная толока,
завтра жаркий будет день.
Небеса лежат широко
меж заречных деревень. —
Что же мне так одиноко?

Вспыхнет робкая звезда
в чистом поле, над овином.
И туманы, как стада,
разбредутся по долинам. —
Что же нам не как всегда?

Вечер медленный, субботний,
дольше в избах огоньки.
И казалось, беззаботней
нам стоится у реки. —
Что же иначе сегодня?

Не расстраивайся, не плачь,
 утро вечера мудренее.
 За рекою скрипит дергач,
 стог нахохлился, цепеня.

Провинился я, может, в чем? —
 Передергиваешь плечом.

У тебя ли случилось что? —
 Молча кутаешься в пальто.

В чистом поле сосна. Над нею —
 самолет ли, звезда вдали.
 Утро вечера мудренее.
 Для тебя. Для нас. Для земли.

12. ГРОЗА

Я вижу дол, туманный пред грозою,
 чересполосицу косых лучей вдали,
 и воды ржавые,
 и черствый горб земли,
 разохшийся от медленного зноя.

Но вот ударил дождь...
 И чтобы не упасть,
 деревья радостно схватились друг за друга,
 зашлась трава
 и, сдерживая страсть,

качнулась рожь упрямо и упруго,
и с шапкою в руках
старик застыл у плуга.

Швыряя молнии к ногам,
пророкотало небо надо мною:
— Живите, — приказало лепесткам,
— Ликуйте, — прокатило по лугам,
— Владейте, — молвило
натруженным рукам...

И этот гимн
звучал
как торжество земное!

13. ПЕРЕД ДОЖДЕМ

Сработались косы до визга,
торопятся — знай вороши!
Надвинулись тучи, и низко
мелькают над лугом стрижи.

И ветер шевелится в копнах,
и гнется трава до земли,
и бабы в раздутых полотнах
плывут, как в волнах корабли.

Все чаще вздымаются грабли —
все реже кудрявится смех.
Уж первые падают капли,
весомо, как полный орех.

Донельзя стемнело над лугом.
Кузнечиков стихла возня.
Идут лишь косцы друг за другом,
мятежные травы тесня.

И в миг, когда ливень нахлынул,
когда прорвалась тишина —
последняя пала травина,
последняя встала копна!

14. МОЛОТИЛКА

Ликуя посреди гумна,
она гудит без передышки.
У девок выцвели подмышки,
парней шатает без вина.

Струится в три ручья зерно,
поспешны золотые клубы.
И так сияют лбы и зубы,
что по углам темным-темно.

15. ТРАКТОР

Я вышел в поле на заре.
Застыв торжественно на взлете,
огромный трактор на бугре
стоял, как памятник работе.

Он был поставлен наугад
среди распаханной пустыни,

но умещался весь закат
между колесами литыми.

Дрожали сумерки вдали
над остывающим металлом.
Земля в масштабе всей Земли
ему служила пьедесталом.

16

Упорно вниз вело дорогу.
Еще теньям давая рост,
катилось солнце понемногу
по гребню розовых борозд.

Струился медленный и теплый
узор по золотой коре.
И в избах вспыхивали стекла
там, на Вороницкой горе.

Но вот спустились мы в долину,
и сзади выросший бугор
закрыв вдруг неба половину,
и дальний дом, и яркий бор.

И на прибрежных темных пожнях
тотчас же повстречалась нам
орда туманов осторожных,
ползущих понизу к стогам.

Нас охватила дрожь сырая,
минута — станет все мертво...

...А завтра снова, не сгорая,
взметнется мира торжество.

17. В ДРЕМОТНЫЙ ЛЕС...

В дремотный лес,
как в отчий дом, вошли.
Здесь тихо, бестревожно и отрадно.
И кажется — исходит от земли
настоенный на травах винный дух.
А над прудом — как в погребе,
прохладно,
и свет, лежавший на воде, потух.

Здесь тихо, бестревожно; и покорней
листвы, чем под ногами, не найти.
Но наступи на спрятанные корни,
задень за узловатые коряги,
трухлявый ствол толкни
и ощути
упругость паутиной передряги. —

И ты услышишь гром за тишиной,
смятенье за спокойствием безгласным;
такой благопристойный мир лесной
предстанет исковерканным тебе —
дыханьем голубой болотной астмы
и слизняковой жадностью в грибе.

Большую птицу маленькими ртами
смакует муравьиная орда.

Безводья всеобъемлющее пламя
живьем сжигает сердцевину дуба.
Поодаль возмужавшая вода
над почвою насильничает грубо.

В ногах у леса ползает трава
и, к солнцу заслоненному взывая,
уже едва жива, едва жива...
Забьется муха в ужасе, но вновь
прервет свой полувзвук не сознавая...
У жидких кленов
горлом
хлещет кровь...

18. ВИДЕНИЕ

Вчера, о смерти размышляя...

Н. Заболоцкий

Косматый лес, в лишайниках, в грибах,
завел меня, как злобный провожатый,
в гнилые чащи, в сумрак суковатый,
где из-под каждой кочки лезет страх.

Повышенным давлением полумглы
меня прошибло до седьмого пота:
белесый пар струился из болота
и обвивал истлевшие стволы.

Соседями пронзенные насквозь,
они, живой прикидываясь ратью,

распяливали черствые объятъя,
чтобы от них уйти не удалось.

Приподнятые смрадом светляки,
осатанев от собственного света,
как сбитые с орбит своих кометы,
сшибались всем ньютонам вопреки.

Гнусавило злорадно комарье,
на древнем пне владычествовал филин. —
И оказалось, я уже бессилён
продлить существование свое.

В меня вползала медленная жуть,
бездушный мрак моей душой питался,
я холодел, я в камень превращался,
не смел уже ни охнуть, ни вздохнуть.

И травы прорастали сквозь меня,
и комары на труп мой не садились
.....
.....

Я стал ничем в сиянье вечной мглы.
Но мысль моя жила: мой ум бесплотный
и стал той гибкой плесенью болотной,
что обвивает мертвые стволы.

19. ЗИМНЕЕ

Сергею Семенову

В белый край, где низкие метели
залихватски мчатся по равнинам,
где, привыкнув к покрикам совиным,
темные не шелохнутся ели, —
я приехал слушать и учиться:
у снегов — холодному кипенью,
у деревьев — стойкому терпенью,
затаенной страстности у птицы.

Но когда с лесного поворота
услыхал удары дровосека,
жадное дыханье человека
за насущной в семь потов работой,
и паденье дерева — крушенье
мира, шелестевшего над нами,
жалобы дороги под санями
и дурную песню в утешенье;

но когда я услышал назавтра
выстрел, затерявшийся в сугробах,
подвыванье гончих гололобых
и друзей, безумных от азарта,
а потом (болтая с корешами,
чтоб сентиментальным не казаться)
понял крики раненого зайца
о зайчихе с теплыми ушами... —

я подумал: нету ей названья,
трудной красоте существованья.

20. У ТВЕРСКИХ КАРЕЛ

В ивняках река затеряна,
баньки стадом у реки.
И субботние затейливо
ткуются по небу дымки.

Молодухи тропкой узкою
с коромыслами идут.
Песню старую, нерусскую,
песню долгую поют.

Почерпнут ли воду быструю,
до колен холсты подняв,
колыхнут ли коромыслами,
отдыхая у плетня, —

все поют, и песня старая,
непонятная проста,
как походка их усталая,
как намокший край холста...

Видно, грусти нить неброская
в пояс песни вплетена:
Как-то ты, моя тригорская,
кинутая сторона?!.

Куничиха

21. РАНЬ

Смеются реки в утренних лугах,
опушки сквозь туманы выбегают,
над лесом солнце медленно всплывает —
и вся уже природа на ногах.

Но раньше луга, леса и реки
я не тебя ли вижу, человече?
Чуть свет уже растапливаешь печи,
пускаешь папиросные дымки.

И косам на завалинках звенеть,
молочным струям туго биться в ведра,
соседкам переругиваться бодро,
калиткам, провожая стадо, петь.

Плывут коровы, сизые в тени,
быки в зарю вторгаются рогами
и хлопают заливисто кнутами
подпаски, задевая за плетни.

Холмы и доли, реки и леса
доверчиво бросаются навстречу.
И повсеместно славу человечью
петушьи возглашают голоса.

22. ТИШИНА

Мне зной отвесный памятен и люб:
коровы, как рогатые божки,

с травинками, свисающими с губ,
стоят едва не посеред реки. —
Мне зной отвесный памятен и люб.

Меня и дождь пленяет проливной:
его прямые, сильные ростки,
как будто хлеб, звенят над целиной,
обычным представленьям вопреки. —
И дождь меня пленяет проливной.

Мне и белесый по сердцу туман:
не видно, что за ним, как ни гляди,
а подойдешь — и нет его, обман,
и так весь путь стоит он впереди. —
Мне и белесый по сердцу туман.

По нраву мне и ветер. Каково:
дома, деревья, люди, валуны,
захваченные скоростью его,
сквозь все века вперед наклонены. —
И ветер мне по нраву: каково!

Вы спросите: а где же тишина? —
Но это и зовется тишиною:
как белый цвет содержит все тона,
так из дождя, тумана, ветра, зноя —
и тишина земная соткана.

23. ПРИХОД СКОТА

Иду я деревней,
и пахнет парным молоком.

Коровы качают рогов неуклюжие лиры.
И медленный звон колокольцев
вдоль улиц влеком —
языческий благовест
ежевечернего мира.

Иду я деревней,
и гуси вдогонку шипят.
Недавним дождем —
как на праздник —
отмыты пороги.
И бродят мальчишки
в тулупах овчинных до пят,
сухие следы оставляя на влажной дороге.

Иду я деревней,
и ты у калитки стоишь,
и кормишь овец
чуть посоленным хлебом
с ладони.
И теплое золото вечера капает с крыш
на грядки,
на спины телят,
в материнский подойник.

А я — горожанин
и вовсе с тобой незнаком.
Но вот уже сколько прошло —
я все помню и помню:
и ты у калитки,
и пахнет парным молоком...
я вовсе с тобой незнаком... —
Хорошо и легко мне!

Дочери Наташе

Скажите, зачем и куда побежала
 девчонка, бродившая сонно и шало?
 Все было спокойно — и вдруг суматоха:
 рванула калитку, захлопнула плохо,
 вдоль пожни ногами сверкнула босыми,
 воинственный клич испустили гусыни,
 расставили крылья, и шеи — как змеи,
 но только лишь пыль по дороге за нею!

Девчонка бежит, поправляя платочек,
 и все придорожье вослед ей стрекочет,
 и самые громкие в здешней округе
 трубят петухи, костеня с натуги,
 и под ноги яблоки падают с веток,
 и плещутся ведра у встречных соседок,
 лохматые шавки, отстать не желая,
 и те уже, бедные, хрипнут от лая!

Мелькнул магазин, и правленье колхоза,
 и школа, и клуб, и за клубом береза,
 и вот уже рожью несется тропинка,
 исхлестаны руки, слетела косынка,
 все ближе большак с неслучайным прохожим —
 таким долгожданным, таким нехорошим...
 Девчонка вздохнула, помедлила малость,
 метнулась навстречу и — ах, обозналась!

На тебе цветистый поясок,
к волосу положен волосок, —
ты прошла вечерней луговиной
словно солнца свет — наискосок.

Захотела к роще подойти,
я — как тень у солнца на пути;
легкий шаг замедлила, вздохнула —
дай дорогу, дескать, пропусти!

Друг за дружкой в рощу, след во след,
так мы и вступили, тень и свет, —
жаркий полусумрак, и меж нами
никакой границы больше нет.

А идем обратно сквозь лесок —
нависает прядка на висок
и никак не свалится листочек,
зацепившийся за поясок.

Соловьи безумствовали. Ветер
трепетал в деревьях допоздна.
Ты забылась только на рассвете,
медленным восторгом сражена.

День придет с настырными делами,
с неизбывной вязкостью забот,
и, заспав свое ночное пламя,
ты нырнешь в его водоворот.

На людях, в трезвоне повседневно
даже и не вспомнятся тебе
ветром окрыленные деревья,
сладость соловьиная в судьбе.

Ничего и не бывало словно,
шутишь чуть не с каждым мужиком. —
Как же так, Иринушка Петровна?
Может, переглянемся тайком?

27

Закатав до колен штаны,
стал по-прежнему я мальчишкой.
Руки-ноги мои черны,
мяч упруго торчит под мышкой.

В отутюженном полотне
ходят-шепчутся недотроги.
Никого-то не надо мне —
эй, красивые, прочь с дороги!

28. ЛУНА ДУРАЧИТСЯ

Когда деревня спит, и крыши
темней на фоне темноты,
деревья глуше, речка тише
и неразборчивей кусты,
когда с цепи по всей округе
собачья спущена тоска, —
луна откальывает трюки,
на землю глядя свысока.

Даваться диву, сколько прыти!
То, испещренная листвою,
на тонком прутике, смотрите,
висит с ухмылочкой кривой;
то, бесшабашно интригуя,
без проволоки, наугад
с одной антенны на другую
скользит над обмороком хат.

И — обязательная шалость:
побалансирует и вдруг —
как будто «ах, не удержалась!» —
проваливается в трубу.
С минуту нет ее зловеще,
но, в слуховом блеснув окне,
вновь тут как тут — и рукоплещет
галерка звездная луне!

29. НАШ ПЕТУХ

Поперек большой дороги
он стоит, расставив ноги,
клеш закатан, руки в боки,
гребень съехал набекрень.

Портовому ли гуляке
не искать веселой драки?
Раздувает грозно баки
наш петух весь божий день.

Будь жара иль непогода,
никакого нет прохода, —

и поклевано ж народа
из окрестных деревень!

Старики обходят боком,
школяры бегут с прискоком,
а петух, вращая оком,
петь взлетает на плетень.

30. ЗАМОРОЗКИ

Нет, не уснуть, беда.
Выйду на спящий двор.
В бочке стынет вода,
синяя, как топор.

И покажется мне,
что, источая свет,
звезды лежат на дне
горстью мелких монет;

и что сам я стою,
словно мальчик из сна,
на неверном краю
ямы, где нету дна;

и сквозь бездонность лет,
через крошечность верст
вот уж лечу на свет
потусторонних звезд...

Вздрагну я оттого,
что неприметный ледок

бездну над головой
выдернет из-под ног.

31

Я разбужен июльским громом. —
Надо все-таки одуреть:
спутать крышу с аэродромом
и стараться мотор прогреть!

Сердцу весело и просторно,
мрак шарахается к дверям.
Вновь восторг четырехмоторный
и вибрация мокрых рам.

А взлохмаченная соседка,
чтоб не слышать ночной грозы,
перевертывает усердно
алюминиевые тазы.

32

Как вонзались молнии в глаза!
Как вся роща на ветру металась!
Ночь насквозь ослепшая гроза
не хотела слышать про усталость.

А наутро — памятью о ней
только небо, ввергнутое в лужи.
Да на листьях, смиренного смирей,
капли, помутневшие от стужи.

Запомнювал: было ли когда,
или во сне привиделось такое?
Вот облака пустились кто куда,
как лошади, сведенные в ночное.

Табун веселых, белых скакунов,
густые гривы в отблесках заката.
Копыта не касаются лугов
и ни одна травинка не примята.

Мальчишкою скакал я на коне,
держась за ослепительную гриву,
да перепутал пастбище во сне,
и конь помчался по небу глумливо!

Звезды, как искры, дрожат над костром, —
дым, словно Млечный путь.
Хочешь, звезду зацепи багром,
хочешь, весь мир опрокинь на грудь, —
все перепуталось, не вздохнуть...
то ли парим, то ли плывем...

35. НА ОЗЕРЕ

Льву Брандту

Последние льдины, как первые лебеди.
Качается небо под ними.

Прибрежные заросли в шопоте, в лепете.
Волна головы не поднимет.

Я лодку возьму, оттолкну, и запенится
Вода, расступаясь пред нею,
И в легкое дно застучится, как пленница,
И вновь за кормой побледнеет.

Измерю пол-озера взмахами длинными,
Взгляну — и как будто приснится:
Что раньше казалось последними льдинами —
И впрямь уже первые птицы!

III

36. БЕССМЕРТИЕ

Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай.
Тютчев

Я засыпал и просыпался,
ловил твой взгляд и снова ник.
Тысячелетиям равнялся
дремоты обморочный миг.

И так, в двойном существованье,
тебя я видел, сам не свой,
то — женщиною на диване,
то — деревом над головой.

Я твоего касался тела,
я жил от общего тепла,
и вдруг — ты кроной шелестела,
ветвями по небу текла.

Я засыпал и просыпался,
ловил твой взгляд и снова ник.
И с лиственным переплетался
твой человеческий язык.

Я называл тебя любимой,
существовал в твоей крови,
а ты была боготворимой,
неуязвимой для любви.

И сам я, в камень превращенный,
лежал, беспмятен и тих,
твоей красою осененный,
там, у древесных ног твоих.

37

Я не в укор скажу, а для сравненья,
что ты, любимая, похожа на листву:
то всплеск, то замиранье, то волненье...
А я — как ветер: весь в тебе живу.

38. РАЗЪЕЗД

Глухой разъезд. Всего и славы,
что поезда здесь ходят в Крым.

Дорогой дальней пахнут травы
и на деревьях виснет дым.

И рельс обнюхивают козы,
и любопытство на устах.
Вдогонку шепчутся березы,
как бы на цыпочки привстав.

А нам с тобою — много ль надо! —
Есть небо, дышится под ним.
Ты — ревеновой дудке рада,
я — восклицаниям твоим.

И сердце никуда не хочет,
покой — огромный и ничей.
Лишь путевой поет обходчик
в веригах гаечных ключей.

39

Печаль — как маленькая птица
в ладонях школьника — тиха.
Устало сердце колотиться,
гортань беззвучная суха.

Но где-то в пасмурном саду
о ней другая плачет птица...
Ты слышишь? — Пусть тебе молчится,
я за двоих слова найду.

Не отпирают. Спят или не слышат?
 Гляжу на окна — иссиня черно.
 Тенями кленов дом как будто вышит,
 и в каждый ступок врезано окно.

Стучу и жду... Жует в хлеву корова.
 Невозмутим, дремуч полночный хруст.
 Рука не поднимается, чтоб снова
 тряхнуть кольцо, висящее без чувств.

И все-таки потеющим железом
 я взязгиваю снова и опять.
 И теневой узор, что в стену врезан,
 перемещается за пядью пядь.

Уже и луны в окна друг за другом
 всплывают. И наверно, им видны
 все вещи, все соринки, каждый угол,
 и даже затаившиеся сны,
 отсутствие мое
 и на диване
 любимой отрешенное лицо...

... Сухое разрастается сиянье.
 Отлунивает синее кольцо.

Как же я скажу тебе «прости»,
 как же я скажу тебе «забудь»,

если для тебя еще мой стих,
если до тебя еще мой путь!

Что бы ни помстилось, ты не верь,
как бы ни грустилось, будь со мной...
Мы на веки вечные теперь
связаны веревочкой одной.

42. ДОМА

Мой радостный, мой узкий плен,
будь ты вовек благословен!

Я, видно, отроду в ладу
с четырехстенной тишиною —
и никого-то я не жду,
и в доме никого со мною.
В отсутствие любезных чад
я — пленник скуки вдохновенной,
когда слова вещей звучат
отчетливо и откровенно;

когда часов привычный ход
мне по-особому понятен;
когда, как выпивший приятель,
ядрено крикает комод;
когда огонь, как парень дошлый,
присядкою обходит печь,
и сухо щелкает в подошвы,
и рвет рубаху с быстрых плеч;

когда дрянная половица
вдруг нудно-нудно разворчится
на каждый шаг мой и когда
в трубе стесненная вода
порою жалостно занует, —
когда весь дом со мной в ладу,
нет в доме никого со мною
и никого-то я не жду...

Мой радостный, мой узкий плен,
будь ты вовек благословен!

43

Настало время листопада,
и заструилась, трепеща,
вокруг редеющего сада
косая изгородь дождя.

И вот — не сад уже намокший,
а заповедник тишины:
листвы безмолвие полегшей,
и даже капли не слышны.

Вдали глухонемые гумна...
И самый громкий в мире звук —
не сердца ль твоего испуг,
что жизнь бывает так бесшумна?

44. ПАМЯТИ НЯНИ

Ты умирала без мучений,
как умирают лишь во сне.
Берез безлиственные тени
переминались на стене.

И, как сиделка у кровати,
от недосыпа чуть бледна,
в своем синеющем халате
молчала зябкая луна.

И в тишине большой и белой,
закрыв глаза, лежала ты
и, отчуждая нас, глядела
в сиянье вечной темноты.

Что виделось тебе? Что мнилось
там, где для нас пустая мгла?
Неужли чья-то легкость
тебя над нами вознесла?

45

Что сентябрю от августа досталось?
Листвой владеет полная усталость.
Не выползает из оврагов мгла.
Сквозняк на раздорожье гложет спину.
И я — с трудом тащу свою корзину,
хотя она совсем не тяжела.

И вдруг через неделю — бабье лето.
Пошли грибы совсем другого цвета —

в любом пролеске, в рощице, в саду. —
И долго шли. И долго не хотелось
церковных галок слышать оголтелость
и что-то все свистелось на ходу.

46

Осенний день высок и тих...

Блок

В серый день я вдоль канавы
медленно иду.

Мну намокшие отавы,
ничего не жду.

Но такое это счастье,
сокращая путь,
сонмы капель в сонной чаще
с листьев отряхнуть!

А потом — по сжатой ниве
зашагать домой;
переждать внезапный ливень
в поле под сосной.

Обойти кругом болотце,
ускоряя шаг;
без тропинки, где придется,
выйти на большак. —

Сколько их, в дали беззвучной
жметесь, деревень...

Серый день мой, день мой скучный,
самый русский день!

47. В ЧИСТОМ ПОЛЕ

Выехали засветло, и звезды
нас уже догнали в чистом поле.
Холода бежали из-под стражи
и ледком в колдобинах легли.
Ведать мы не ведали дотоле
как тягучи ветреные версты:
еле-еле двигались пейзажи,
на небо сквозящие вдали.

Плыли: силуэт безглавой церкви,
два коня стреноженных на воле,
мельница с ненужными крылами,
хутор с покосившейся трубой. —
В чуть зеленоватом чистом поле
скулы нам сводило, пальцы терпли.
За горами где-то, за долами
счастье нам обещано с тобой.

48

Когда испуганною ранью
в шинели, в запахе ремней
однажды встанет расставанье
над спящей дочерью моей, —

ей не приснится непогода,
не примерещится гроза:

смотреть по-прежнему природа
ей будет весело в глаза —

лужайкой, речкой, земляникой,
свистулькой, формочкой с песком...
Давай, вояка, загляни-ка
в ее владенья хоть глазком!

49. ДВИЖЕНЬЕ

Не затем, чтобы споры вести,
и не в душном веселье —
мы у стога степного присели
отдохнуть на пути.

На мгновение замерли тучи
и склонился цветок,
и с обрывистой кручи
рухнул ветер у ног.

Ветер рухнул,
но тотчас проворно вскочил,
распрявился цветок,
преисполненный сил,
и косматые тучи над нами
понеслись табунами.

Больше было нельзя отдыхать!
И неровной дорогой
молчаливо и строго
мы с тобой зашагали опять.

Далека дорога, далека.
 Нелегка разлука, нелегка. —
 К сожаленью, мы не облака.

51. ЕЛКА

М. В.

О детской елке, праздничной и скромной,
 мы вспоминаем часто и теперь,
 но уж никто из детской полутемной
 нам не грозит, приотворяя дверь.

А за дверьми, чуть ветви разминая,
 еще без украшений, без креста,
 морозная, пахучая, сквозная,
 от света зябко вздрагивала та,
 что в лакомства, фонарики, хлопушки
 являлась нам одетая всегда,
 и радостно торчала на макушке
 наивная, стеклянная звезда.

Но только нам приходится все чаще
 не в теплой детской дома своего,
 а на ветру, под елью настоящей
 справлять свое скупое торжество.

Молчим ли мы за куревом привала,
 поем ли под удары топоров, —

она стоит среди лесного зала,
спокойная, в дрожании костров.

Теперь она одета в грузный иней,
в стеклярус из окрепнувшего льда,
и светит нам примерзшая к вершине,
суровая Полярная звезда.

ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКАДЕ (1941—1960)

52. ДЕКЛАРАЦИЯ

Не летописец, а тем паче
не агитатор, не трубач, —
я не унижусь до задачи
стоять на уровне задач.

Кто я такой, кто дал мне право
куда-то звать, кого-то весть
вперед налево ли, направо,
как будто лево-право есть?!

Да не возвышусь я вовеки!
В густом замесе бытия
все — люди, то бишь человеки,
такой же, стало быть, и я.

Боюсь ли, рыпаюсь впустую,
надеюсь, верую, люблю,
смеюсь и плачу, торжествую
и губы горестно кривлю, —
я весь живой, я весь подробный,
как иванов или петров...

Нас вместе
осеняют ромбы
скрестившихся прожекторов...

53. МАРШИ

Маршами гремело радио,
город маршами загажен.
Нас победно лихорадило:
мы себя еще покажем!

Есть солдаты у Германии —
у России есть герои!
Марши голову дурманили
в дни большой народной крови.

Мы родились комсомольцами,
членские рубли вносили, —
пригодились добровольцами,
чтобы стать землей России...

54. ТИШИНА

Пусто в сквере, когда-то звонком.
Где-то жарят картошку с луком.
Я боюсь уже верить сводкам
и боюсь еще верить слухам.

Возвращаюсь пешком с вокзала.
Не асфальт, а сплошные кочки.
Хорошо ли ты тюк связала,
не забыла ли шарф для дочки?

Постою, ни вздохнув, ни охнув. —
С пьедестала царя свергают.
Первых раненых

в школьных окнах
неподвижно бинты сверкают.

Очень гулко —
и тихо очень.
Все как было — и все как стало.
...Нескончаемым многоточьем
перестук твоего состава...

55. ДЕВОЧКИ

Лето нынче жаркое.
Девочкам — беда.
Вдоль панелей шаркая,
зырк туда-сюда.

Ходят, дароносицы,
соком налиты.
Груди так и просятся
прочь из тесноты.

Люди в трезвом разуме —
белки в колесе.
Все с противогазами,
патриоты все.

Рыщут чуть не до ночи,
делают запас.
Что для них девчоночье
сердце напоказ?!

Тьфу им на упругую,
озорную прыть!
А с утра под Лугою
ей окопы рыть.

56. НЕБО

Такая большая осень,
такое большое небо,
что большего и не просим.

Такое негородское,
что мы ничего не значим
со всею своей тоскою.

Высокий покой России!
И только, наверно, в шутку
на стеклах кресты косые.

И просто в игре нелепой
всплывают аэростаты
в смеркающееся небо.

Тупы и одутловаты,
чуть двигая плавниками,
всплывают аэростаты...

...всплывают аэростаты...

57. ЗАКАТ

На мостик взойти, на канавку Лебяжью
вдоль скосов протяжно взглянуть —
ни мне, ни тебе не покажется блажью,
нам даже вздохнется чуть-чуть.

Другой виден мостик в конце перспективы,
и там, под горбатым, под ним —
просвет на Неву, будто мы еще живы
и вывести лодку хотим

на тихий, умиротворенный закатом,
ничем не чреватый простор...
Нетронутый нами — за тем, за горбатым —
он так и лежит до сих пор!

А Марсово — нынче иначе багрово,
и аэростаты в зарю
всплывают поверх мокрогубого рева, —
в нагрубшее вымя суется корова,
привязанная к фонарю.

58. ПЕПЕЛ

Столь едины мы не были с ним никогда.
Тонны пепла над городом.
Враг у ворот.
Города...
Что другие теперь города!
Здесь одна долгота —

безо всяких широт.
Длятся улицы...
Каменной день ото дня
ожиданье мое...
Это — с городом вместе
я обложен пожарами...
Это — в меня,
это целят в меня
из моих же предместий.
Шаг вперед...
Окруженному только вперед!
Город —
весь —
как солдатский мешок за спиной.
Жгут бумаги казенные —
враг у ворот.
Тонны пепла
над городом и надо мной.

59. БАРРИКАДА

Я строил баррикаду.
Но не об этом речь!
Мешки с песком укладывал
и яростно угадывал
то место, где с винтовкой
назавтра должен лечь;
то место, где с гранатой
удобней ждать врага...
Как будто так и надо,
и жизнь не дорога!

Я в жизни знал немного.
Но разве в этом суть!
Земля с ее дорогами,
любовь с ее тревогами
и гордая надежда
весь мир перевернуть, —
а вот лежи с гранатой
и целься во врага...
И знай, что так и надо,
и жизнь не дорога!

60. СНЫ

Ах, эти сентябрьские ночи...
Сто зарев кругом Ленинграда...
Проспекты короче:
не дот, — баррикада!

Ах, ночи, когда еще снится
не зарево, просто зарница,
не дикие вопли сирены,
а тихие капли сирени...

... когда еще помнится-длится
щемящая нежность подруги...
Смешно запрокинуты лица
и страшно разбросаны руки!

А сны повторяются те же,
а сны превращаются в фильмы,
лишь нам удается все реже
досматривать их...

Ах, эти сентябрьские ночи!
Сто зарев кругом Ленинграда!
В потемках, не в ногу, без песен
течет и течет ополченье...

61. ОПОЛЧЕНИЕ

Памяти Миши Святловского

Добровольчество — добрая воля к смерти.
М. Цветаева

Пришел навестить, а казарма
в торжественных сборах с утра.
И осень в окне лучезарна,
и — вроде прощаться пора.

Ну, выпьем давай на дорожку —
чтоб немцу скорее капут.
Тебе уже выдали ложку,
винтовку — сказали — дадут.

Построили, как на ученье,
на подвиг тебя повели...
На полчища шло ополченье,
очкарики, гении шли.

Шли доблестно, шли простодушно,
читали стихи на ходу...
Как выстоять ей, безоружной
душе, в сорок первом году?

И вот — на каком-нибудь фланге
серо от распластанных тел.
По небу полуночи ангел
летел, и летел, и летел.

А я, в три погибели скрючен
(не так же ли на смех врагу?),
готовлю бутылки с горючим
и правды принять не могу.

62. ДЫМ

*Восьмого сентября вражеской
бомбежкой уничтожены
Бадаевские склады.*

И вот настало!
Дым в полнеба.
Запахло жареным с небес.
Так духовито, что вполне бы
могли бы спать улечься без
того, чтоб ужинать!
Кромешный,
бестрепетный — библейский дым!
Мы не в укрытиях, конечно,
мы все на улицах —
стоим
как будто в праздник, и догадка
у всех оскоминой во рту.
И вот уж так запахло сладко,
так стало горько нам и гадко —
невмоготу! —

И правоту
сквозь зубы сплевывают люди...

И, подтверждая их слова,
назавтра высилась на блюде
обугленная голова
с кусочком сахарного мозга...
И дым над городом громоздко
висел,
как черная молва...

63—64. ПОЛНОЛУНИЕ

1

Остерегайтесь, граждане, луны!
Недаром брешут на луну зенитки.
Луною город вымочен до нитки.
В луне по горло, улицы страшны.

Не скрыться от нее — как от войны:
повсюду обволакивает жидкий,
злорадный свет. Какие пережитки,
что люди воспевать ее должны!

А помните: луной был полон сад...
луна плывет как лебедь... — или это
тысячелетие тому назад?

Над городом, над вами, надо мной —
повисла осветительной ракетой:
и впрямь ничто не вечно под луной!

Сверлящий сердце вой сирены
и лай зениток на луну.
Какую ночь себя смиренно
с постелей стаскиваем мы.

Не хорохорясь и не споря,
в подвал спускаться или нет,
какую ночь мы в коридоре
играть садимся в дурака.

Тасуем, ходим, вновь тасуем
и шутки шутим меж собой.
А через полчаса — отбой,
и снова спим не раздеваясь
какую ночь!..

65. ВЫБОР

Квартал оглох в огромном грохоте.
Лежат дома. Свисают балки.
А говорится как-то походя:
фугаски, дескать, зажигалки.

Внутри судьбы своей картонной
мы — что ни день, то обиходней —
фугаскам счет ведем на тонны,
а зажигалкам — лишь на сотни.

И зажигалки — даже любим
мы по сравнению с фугасками

(Всегда ведь выбор нужен людям, —
не выбирать же только галстуки!..)

И лица маленькие —
лютым
великим пламенем обласканы.

66. БОМБЕЖКА

Стол отодвигаю от окошка.
Мелко-мелко бьется под ногой
пол... О край тарелки бьется ложка,
полная похлебки дорогой...
Не до жиру — быть бы только живу!
Смею ли я что-нибудь посметь?
Скомкала меня, заморозила
с воем нарастающая смерть...
Вот ворвется... с ходу сатаня,
выплеснет похлебку... и свозь дым
на колени рухну перед нею:
неужели гибнуть молодым?! —
Пыль волчком по комнате завертит,
хлопнет дверью, плюнет на меня...

...Сладострастным ужасом бессмертья
тело наливается, звеня...

67—68. ОТБОЙ

1

Конечно, самым популярным
в ту осень был мотив отбоя.

Пусть в исполнении бездарном,
одной играемый трубою,
он проникал глухие уши,
он размыкал глухие своды —
и повторяли наши души
тот гимн
действительной свободы!

2

Не из проветренных квартир,
а только выйдя из убежищ, —
поймем, насколько этот мир
лиственной пьяницей, лучами режущ.

Слепые слезы на глазах,
глухонемой восторг на мордах, —
хотя на свете час назад
намного меньше было мертвых.

69. ДОЖДЬ

Сегодня дежурство дождя, и по крышам
идет он — ни каски на нем, ни плаща!
Мы письма сегодня чернилами пишем,
сегодня мы дышим, сегодня мы слышим —
бомбежки не будет: дежурство дождя.
На улице носа не высунь сегодня,
буржуйка дымит, но не все ли равно:
сегодня мы пишем и дышим свободней,
чем если бы солнце светило в окно,
чем если бы праздник, чем если бы флаги,

чем если бы сводка хорошей была. —
Сегодня нам верится: есть у бумаги
два честных, два сильных, два белых крыла.
Не станет же цензор вымарывать строчек,
что, как никогда, вот сегодня, сейчас —
мы счастливы!..

Дождь по железу грохочет...

А все остальное — испорченный почерк
доскажет за нас.

70. ЗАТЕМНЕНИЕ

Я ночной предъявляю пропуск,
луч в лицо — и фонарь погас.
И — безвременнейшая пропасть
разворачивается у глаз.

Ни предметов, ни расстояний,
никаких четырех сторон.
Сгинуть заживо в этой яме
я низашто приговорен.

Как шагнуть и не оступиться,
не наткнуться на темноту?
Затемнение — как темница:
рвись, доказывай правоту!

Сгустки тьмы на ногах по пуду.
Не ракетчик, не лиходей,
если выживу, добрым буду —
безо всяких таких идей.

Если выживу!.. А сегодня,
веком вышколенный не зря,
сам пырну я кого угодно
узким лезвием фонаря.

71. НОКТЮРН

Вкруг шеи шарф наверхен
и валенки с галошами.
Встречаюсь что ни вечер
с такими же заросшими.
Но не до шуток что-то:
калека да глухня.
Да тихая работа
у шумного огня.

Как вроде для забавы
пробирочку покручивай!
Запаивай запалы,
хоть этому обученный.
Пятнадцать, тридцать, сорок.
за смену больше ста...
Ни звука из-за шторок
не долетит сюда!

Чуть свет бреду обратно,
не поднимая валенок.
Все пальцы в рыжих пятнах,
пальтишко все в подпалинах.
Глядь, возле перекрестка,
где дом стоял вчера,

слегка дымит известкой
кирпичная гора...

72. УЛИЦА

Стена надежна, как стена.
И трафаретом — коротко и ясно:
«При артобстреле эта сторона —
запомни — наиболее опасна!» —
На противоположную гляжу:
кирпич и небо, прах и ветер.
Шла лестница к шестому этажу,
оборвалась на третьем...
Распался дом на тысячу частей,
и огорожен почему-то
кроватями —
скелетами уюта,
обглоданного до костей...

73. ЧЕРДАК

Сладкий запах кислых щей
забывается.
Человек в любую щель
забивается.

Ах, теперь не этажи —
перекрытия!
Вот и смотришь вполдуши
из укрытия.

Каково тебе, червяк,
каковошеньки? —
Нет уж, выберу чердак:
ближе к Боженьке!

Отпущу, не омрачась,
душу на небо —
лишь прямого бы сейчас
попаданья бы...

74. ПАМЯТНИК

Плоть, чугун ли, гранит —
все бессмертно на равных.
Ну о чем говорит
надпись: «Прадеду — правнук»?

Снег белей простыни
на пустом постаменте.
Дальнобойные дни —
ближний подступ к легенде.

Крест на каждом окне,
метроном лихорадит.
И мерещится мне
надпись: «Правнуку — прадед».

75. МЕТРОНОМ

Никогда не болевшие звуки
умирают...
Куда они делись —
многоверстные отголоски
пароходов и поездов...
...золотое гудение рынка...
...деловитая скорость трамваев...
...изнывание патефонов...
...воркование голубей...

Даже дети свое отзвенели.
Даже вдовы свое отрыдали. —
Город
каменными губами
обеззвученно шевелит.

И один только стук метронома:
будто это пульсирует камень —
учащенно и неотступно —
жив — жив — жив ...

76. ЛОЗУНГ

На пальто моем подпалина —
с зажигалками вчера
в бой «За родину! За Сталина!»
я вступил среди двора.

Вдрызг пальто мое засалено —
под обстрелом на ходу

я «За Родину! За Сталина!»
проливал свою еду.

Любовался на развалины
и в пальто своем дрожал,
но «За Родину! За Сталина!»
насмерть очередь держал.

Вот иду сейчас по городу,
и судьба моя проста:
даже сдохну если с голоду,
то «За Родину! За Ста...»

77. ПОДВИГ

Мы настоящие герои:
хоть суеверней стали вдвое,
не растеряемся, когда
перебежит дорогу кошка...

...Ах, кабы к ней еще картошка —
и чем не заяц, господа!

78. БАБУШКА

Ах, что за бабушка была,
Евгения Васильевна!
Приду из булочной с угла
и сяду обессиленно.

Давно отчаяться бы мне,
и не могу отчаяться!

Дом на большой взрывной волне
качнется, закачается, —

коснется клавишей она —
и я куда-то падаю,
и еле брезжится война
за Апассионатою.

Подсушит ломтиками хлеб
и усмехнется благостно:
ах если б да на всей земле б
да всем такое б лакомство!

И, словно на вечер гостей
ждет множество великое,
полуприляжет на постель
с поваренною книгою.

А кран едва кровоточит,
и — как кишка голодная —
на кухне жалобно урчит
труба водопроводная.

79. ВИЗИТ

Мы — к соседям,
мы — ощупью, оступью.
Дом изъеден
осколочной оспою.

Синевата
промерзшая лестница.

Нам на пятый
отдышливо лезется.

Вот квартира,
и даже не заперто.
Нас хватило
добратся хоть замертво!

Как живете?
Живете ли? Живы ли? —
Тети-моти
с воловьими жилами!

В кипяточке —
по ложечке звякало.
А кусочки
с собою — у всякого.

80. СМЕХ

Нам бы только и бояться
тихой смерти голубой,
а приходится смеяться
над собой и над судьбой.
Поразмыслить откровенно,
это очень ведь смешно,
что становится полено
тяжелее, чем бревно;
что за крошкой лезу под стол,
будто с крошки буду сыт;
что лицом я вроде толстый,

а пиджак на мне висит;
что могу я, лежа в луже,
показать луне кулак...
Не закладывало б уши,
я смеялся бы не так!
...были б только слезы,
я смеялся бы до слез!..
...Вот вчера в противогазе
мышь я из дому унес...

81. ТЕЛО

Мое милое, легкое, тощее тело!
Разумеется, ты не само захотело
стать как можно послушней, как можно неслышней,
наслаждаться посоленной корочкой лишней,
размякать от стакана горячего чая,
замирать у печурки, бесед не кончая.

Даже страшно подумать, какое ты было!
Ты валялось в траве, без оглядки любило,
от вина и от ветра хмелело и пело,
золотое мое, незабвенное тело! —
Только, может, страшнее, а может, смешнее:
ты дороже мне стало, ты стало нужнее!

Разве мог бы я так — чуть сирену заслышу —
прижиматься к земле, подниматься на крышу,
через город с бидончиком топтать нелепо —
ждать нелетного неба, нелегкого хлеба...
Лишь боюсь одного:

ежедневно слабея —

вдруг ты выронишь душу, что вверил тебе я?!

82. ДРУЗЬЯ

Столкнемся у булочной под вечер —
соседи, и даже друзья.

И каждый — без мысли, что сподличал —
спрячет свои глаза.

Не спрашивать, в самом-то деле,
как, дорогой, живешь? —

Быть может, не на неделе,
завтра умрешь!

А то еще вопль о хлебе!..

...губы искривлены...

...стены шатаются...

...в небе

осколок луны...

Уж лучше молчанье потное...

Боже, людей храни:

не выпускай нас подвое

из булочной в эти дни!

83. АРИФМЕТИКА

Закапывать без креста

трое

везли

двоих.

Дорога была проста.
И совесть была чиста.
И солнце любило их. —
А с Кировского моста
двое
свезли
троих.

84. ДВОРНИКИ

Не убыстрят мой шаг тяжелый
ни бомбежка, ни артобстрел.
От Аничкова до Чернышева
я наткнулся на восемь тел.

Восемь дворников, опочивших
у родимых своих ворот.
И какой-то наивный чижик
рылся в зарослях их бород.

И торжественно липы стыли —
метлы, воткнутые в снега...
...Обязательно всем кресты ли
полагаются на века?

85. БЕССМЕРТИЕ

Смерти нет в сорок первом году!
Может, завтра и я на ходу
упаду —
не дойду
до того поворота.

Пропадающий хлеб мой имея в виду
(с чем сравнима такая забота!)
вынет теплые карточки кто-то,
не взглянув на меня свысока.
Будет липкой от пота
рука
добряка.
И медаль через годы,
светла и легка,
усмехнется с его пиджака!

86. КОНЦЕРТ

Т. Ю. Хмельницкой

Собираются дистрофики
в довоенный этот зал.
Ветерок недоумения —
кто же их сюда зазвал?

Не обещано им ужина,
ничего не купишь тут.
Ломтик хлеба нержавеющей
дамы в сумочках несут.

Вверх поглядывают искоса:
свод непрочный, свод большой.
Молча хвастаются ватником
между шубкой и душой.

Кресла ежатся от холода,
половина их пуста.

Гордо валенками шаркая,
на шикарные места.

Скрипачи вползли бесполое,
дирижер за ними вслед.
Закивали им из публики:
сколько зим и — скольких нет!

То ли были, то ли не были
легкий взмах и трудный вздох.
Не имея сил откашляться,
зал качнулся и оглох.

Не имея сил расплакаться,
сердце вышло за предел.
Непреложный голос вечности
всем пространством завладел.

Отрубил все злые призвуки,
жалкий ропот приструнил.
Лейтенантик забинтованный
память в руки уронил.

Через толщу затемнения
мир забрезжил голубой.
Нимб дыхания сгущенного
встал над каждой головой.

СЛУЧАЙНЫЙ ДОМ (1942—1944)

87

По отрогам Уральских гор
лес взбирается к небесам.
Переплывших большой простор
прибывает к большим лесам.

Мы с тобой обитаем тут,
в доме с вьюгою под окном.
Наши валенки в сорок пуд
мы по лесенке вносим в дом.

Вместе с нами вбегают пар
и хозяйский облезлый кот.
Сыроватый ангинный жар
детским оревом обдает.

Безулыбчивый наш уют.
Чей-то дых — и коптилка пых!
Нам тепла на двоих дают,
и клопов на двадцатерых.

Всяк дает, что имеет сам,
не имеющий — да берет!..
Низко кланяемся лесам,
выйдя поутру из ворот!

Лужи, тают облака в них.
 Окна, вечером светло в них.
 Это точно — я блокадник,
 а еще точней — колодник. —

Хоть я не был, вроде, вором, —
 Память — страшный мой конвой.
 И кружит, как черный ворон,
 самолет над головой.

89. ОСВЕЩЕННЫЕ ОКНА

В окнах свет, в окнах свет... —
 Непривычно, непонятно.
 Мельтешили б, скажем, пятна
 у меня в глазах, так нет!

В окнах свет, в окнах свет...
 Не хватает разуменья:
 не проверишь затемненья —
 наведешь врага на след!

В окнах свет, в окнах свет...
 Диверсанты в каждом доме:
 с неба все как на ладони —
 лавка, школа, сельсовет!

В окнах свет, в окнах свет —
 по деревне, по округе.
 Сердце замерло в испуге,
 вероятно, на сто лет.

В окнах свет, в окнах свет —
по округе, по России...
Розоватый, желтый, синий...
беззащитный белый свет!

90. ЛАСТОЧКА

Перелетела океан —
не запыхалась,
а пересечь десяток стран
и вовсе шалость!

Облюбовала наш сарай
и чуть влетела —
уйди из двери, не мешай! —
взялась за дело.

Носила палочки и грязь,
слюной слепляла,
с восторгом сызнава неслась
куда попало.

И в суматохе никому
о том ни звука,
что вся в грохочущем дыму
дорога с юга...

91—92. ПЕСНИ

Пушкинское: сколько их,
куда их...

Цветаева

1

Чуть завечереет — и куда-то
девки вниз по улице бегут.
Яркое полотнище заката
по полям разостлано враскрут.

В очередь дурехи за обновой,
за цветной сатиновой зарей.
Эшелоны года призывного
перегаром дышат под горой.

Мимо, друг за дружкой, повагонно
едут песни — сколько их, не счесть!
Пальчиком — хоть на два перегона —
приглашает каждая залезть.

Подмигнет — и еле различима,
промелькнет — и новая слышна...
Сто веселых песен, а причина —
вовсе невеселая — одна!

Вот она — прикрытая чехлами,
и заката нет — сплошное пламя,
дым размазан по небу...

Война.

Стрекотали на стрелках,
спотыкались на стыках...
Мчало песней согретых
мимо сумерек стылых.

Настежь двери вагонов,
и, во лбу со звездою,
в сапогах и погонах,
лежа, сидя и стоя —
как на выцветшем фото,
что в японскую снято, —
все пехота, пехота,
все ребята, ребята...

Песня то нарастала,
то затишьем томила...
Шли навстречу составы
санитарные мимо.
Шли в молчанье глубоком,
лишь рессоры скрипели.
Но покрашенных окон
певуны не робели:
ведь у каждого руки
еще целы, и ноги,
а до той заварухи —
тыща песен дороги!

а этот — в своей постели
спит со своей женой...»
Бабы глаза ей колют.
Скажет она: «Не троньте!»
Заплачет она: «Неправда,
он у меня больной!»

Бабы ярятся пуце:
«Руки и ноги целы!
Годен детишек делать —
годен и на войну!..»
Словом, я окопался.
Местные офицеры
за женщину не считают,
обходят мою жену.

Весь день над столом сутуюсь,
а ночью — одно и то же
снится:

 перед сержантом
встаю, как на пьедестал:
«Есть прикрыть отступление! —»
и сонный восторг по коже...
Снится, что стал я годным,
хоть на смерть
 да годным стал!

96

Лежим — комар идет на нас,
и вдруг исчез из поля слуха.

Лишь ветерки — то между глаз,
то на щеке, то возле уха.

Всей наугадку пятерней —
хлобысть, подушки ералаша.
И вытрем пальцы простыней:
брезгливо, будто кровь не наша.

97. БЕССОННИЦА

На тишине — от храпа рана рваная,
на темноте — укол свечи.
Проснулся поздно или слишком рано я —
поди, попробуй, различи!

Перевернул подушку, но не спится мне.
Слежу, не поднимая век,
как ходики заржавленными спицами
мгновенья ввязывают в век.

Мгновенье за мгновеньем осязаемо,
плотнее, чем к петле петля.
Со счета не собьет ни храп хозяина,
ни содроганья фитиля.

Ни целый мир — со всеми откровеньями
убожества и красоты.
О равнодушная работа времени,
как по ночам понятна ты!

Что значит поздно, рано или вовремя? —
Все, что ни станется со мной,

навек будет спицами уловлено
сквозь мрак ночной, сквозь храп ночной.

98

До самой большой беды —
до чуждого дома дожили!
Для нас не хватает воды,
и ведра с трудом одолжены.
Про нас говорят: «жиды»,
и мы принимаем как должное.

Не сеем хлеба, не жнем —
других объедать приехали!
И нас попрекают своим трудоднем
и всеми своими прорехами.

Никак не могут уснуть:
не все ли нами променено?
И вдруг — на праздник какой-нибудь —
возьмут угостят пельменями.

И дедка рыгает сытей,
и бабка щурится масляней.
И нас признают за людей, —
одним, дескать, миром мазаны!..
...Величие наших идей
овладевает массаами...

99. РЕВЕККА МОИСЕЕВНА

Ревекка Моисеевна Лейбзон —
с бидончиком к сельпо за керосином.
Ну что там с вашим сыном,
Ревекка Моисеевна Лейбзон?

Ну как там с вашим мужем? Вы опять
всю ночь не спали, ничего не ели? —
Плететесь еле-еле,
а ведь придется очередь стоять.

Ревекку Моисеевну Лейбзон
никтошеньки из местных не обидит.
Никто не ненавидит
Ревекку Моисеевну Лейбзон.

Нальют и ей со всеми наравне,
не верьте разговорчикам досужим.
И — как там с вашим мужем,
и — что там с вашим сыном на войне?!

Ревекка Моисеевна Лейбзон
все писем ждет — поди, не постарей-ка!..
И всё ж таки еврейка —
Ревекка Моисеевна Лейбзон.

100. СМЕРТЬ ОДНОГО ИЗ НАС

Я не забыл, зачем я здесь —
здесь, на ветру, в разгаре века.

Плача беззвучно,
девочка к маме бежит,
но и у мамы
кружится голова —
целует дочку с глазами закрытыми.

Опять встречали напрасно!

102

О чем ты, голодная темень?
Расплющила носом стекло.
Полно тараканьим смятеньем
избы золотое тепло.

Хозяйским полно пререканьем,
ну, тенью моей на стене.
И дочкин валяется камень —
игрушка ее — на окне.

Ты думаешь, это картошка?
Я сам бы картошки не прочь...
Давай отойди от окошка,
безносая нищенка-ночь!

103. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Кто говорит: рожденья не было? —
Уселись мы вокруг стола,
и ничего никто не требовал,
и память умная спала.

Фитиль гадюкой заспиртованной
лежал, свернувшись тяжело.
От ветра — гостя беспардонного —
устало звякало стекло.

Был город наш обсижен мухами
на всех открытках на стене.
И эшелоны глухо ухали,
огнями двигаясь в окне.

Я Блока вслух читал, ты штопала,
и дочь разглядывала нас.
Что из того, что мы без штопора
на этот праздновали раз?

По крайней мере, не наклюкались,
а съели, бережно соля,
чугун картошки, пару луковин,
и дочка — блюдец киселя.

Легли мы спать, святая троица,
и только ветер, дуралей,
не мог на этом успокоиться,
и выдувало из щелей.

104. СОЛНЕЧНОЕ УТРО

Саннный след, под снегопадом слабый.
Тень бросает наискось изба.
С коромыслом шествующей бабы
грубая по дереву резьба. —

Это утро, видимо, угодней
мне всему другому предпочесть.
Здравствуй, первозданное сегодня!
Все, как вижу, только так и есть.

Ни обид вчерашних не бывало
и не будет завтрашних побед.
Женщина еще не горевала
и земля моя не воевала, —
только тени, только санный след.

105. СОРОКА

Сорока села на забор,
забормотала всякий вздор. —

Идет, мол, мимо человек.
Хрустит под валенками снег.
Оплечь веревка и топор.
Следы свернули на бугор —
и напрямки через большак
в чуть лиловеющий лешняк.

Сорока — фьютъ за земляком,
и снова чешет языком.

Мол, хворост рубит человек.
Трухой забрызгивает снег.
Толчками вылетает пар.
Короткий, наискось удар.

Но вот в пенек попал топор
и... здесь особый разговор.

Сорока дух перевела
и дальше небыль понесла.

Мол, матюгнулся человек.
Перекурить присел на снег.
Проверил, острый ли топор.
На свежий пень взглянул в упор.
Ногой окурок притушил.
Два пальца с краю положил... —

Сорока с места поднялась
и на деревню понеслась.

106. ДЕЗЕРТИР

Его уводили весной
по вспухшим навозным дорогам —
под ласковой голубиной
то лесом, то лугом, то логом.

Один из конвойных ребят
его угостил самосадам, —
казалось, идут и дымят
случайные спутники рядом.

И только когда по пути
о доме запели родимом,
ему стало трудно нести
глаза, наслезенные дымом.

Отбомбилась гроза на сегодня,
 петухи протрубили отбой.
 Вечер медленный, вечер субботний,
 что мне делать, вечер, с тобой?

Оглушают незвонкие капли,
 и внезапный, никчемный, ничей,
 понасердке на встречные камни
 наговаривает ручей.

Тихо тянутся тени от ветел,
 от скирды и от бани косой.
 Чем вы дышите, как вы живете,
 уцелевшие под грозой?

Я иду, я скольжу неуклюже —
 ты была или нет, колея?
 Как бумажная лодочка в луже,
 бестолкова память моя.

Плечи солнечного обжига
 и ложбинка вдоль спины.
 Губы, пьющие из ковшика,
 будто чем обведены.

Платье так и не накинуто —
 окунуться бы в зарю...

Ах, не теми все какими-то
я словами говорю!
Просто сердца замирание,
как на выдохе волны.
...Вот какое было раннее
это утро до войны!

109

Не забуду по гроб:
в крутояре еловом
доживает сугроб,
весь дождями исклеван.

Весь дрожит он дрожмя
в жарком воздухе мая,
чуть дымится лыжня,
тихо смерть принимая.

Только мы как не мы:
меж весенних размывок
не кусочек зимы —
нашей жизни обрывок.

110. МЕЧТА

Когда враг скиснет...

Четырехлетняя дочка

Мне хочется домой, в огромность
Квартиры...

Б. Пастернак

Ждет скитальцев давний дом.
О разошедшийся скворешник!
Дверь, открытая с трудом,
в перескрипываньях прежних.
Затемненья полумрак,
недобитая посуда...
Свистнет рак ли, скиснет враг —
мы вернемся, мы отсюда!

Кран с опаской повернем,
обомлеем, что закапал. —
Праха с ног не отряхнем —
как вернемся, сядем на пол.
На состарившийся пол —
разбирать свой пыльный почерк...
Кто сказал, что нужен стол
для храненья слов и строчек!

И опомнимся не вдруг,
и припомним, как любили...
И — блаженнейший испуг:
чайник выключить забыли!
Потеряем всякий стыд,
и — воистину мажорный —

о победе возвестит
водопада шум в уборной.

111

Ни черное дерево взрыва,
ни пуль хулиганские свисты —
с ума нас не сводят:
по-прежнему в чистой
воде отражается ива.

Мы лишь усмехаемся криво,
в чужом просыпаясь углу, на полу,
в глубоком тылу:
такое как будто не диво —
кровать,
а вроде —
пора забывать!

112. ПРУСАКИ

Тараканы сделаны из жести
мастером готических времен —
для поползновений и нашествий
каждый их сустав поворонен.

Хлеб они едят без приглашенья,
попирают наши животы,
шевелят усами в довершенья
вековой своей неправоты.

Воздух то ли шорохом источен,
то ли скрежет в воздухе висит...
Женщина проснется среди ночи
и по-вдовьи вдруг заголосит.

113

Смех девичий, вдовый плач.
Культю вскидывая, вскачь
бригадир погнал кобылу.
Это сколько ж нужно кляч
героическому тылу?

Это сколько ж нужно слез!
Почтальон письмо принес,
три недели шло, недолго.
Кандидат дерьмо привез,
повинуясь чувству долга.

Ну а ты что, сучий сын?
Жжешь задаром керосин,
явно метя в дармоеды.
Матерись, ложись костью,
ешь вполсыта, вшей корми, —
все для фронта, для победы!

114. БУТЫЛКА МОЛОКА

Вроде повезло ей, тетке Даше —
получила сразу два письма.
Радости-то сколько, если даже
и не больно грамотна сама!

Поросенку хряпы нарубила,
молока поллитра нацедила,
справила домашние дела
и ко мне, нарядная, пошла.

Вскрою треугольник, прочитаю:
«Лично всем поклоны...

жив-здоров...

бью проклятых гадов не считая...
гвардии ваш сын Иван Бугров».

Развернув, начну письмо второе:
«Пишут вам товарищи героя...»
Тетя Даша смотрит на свечу.
Пересохло в горле — и молчу.

Слышит? Нет, задумалась о чем-то.
Даже улыбается слегка...
...Что же я не смахиваю к черту
со стола бутылку молока?!.

115

Не дурак, а сроду так! —
Применительно к парнишке
это значит — не дурак,
а придурок: любит книжки.

Эко место: пастушонок —
в цыпках руки, рван пиджак, —
а не может без книжонок!
Не дурак, а сроду так...

116—117. В РАБОЧЕМ ПОЕЗДЕ

Геннадью Гору

1. ТУДА

Настывает ночь кругом.
Через час я наконец-то
влезу в медленный вагон,
встану с печкой по соседству.

Пусть открыта дверь уборной,
пусть с ботинок натекло, —
словно снадобье, снотворно
после холода тепло.

Иней виснет с потолка,
как сгустившаяся дрема.
Бабы спят как будто дома —
на бидонах молока.

Разогнать не в силах дым
рукава с багажных полок:
спится всласть мастеровым,
путь качающийся долог.

За окном бледнеет небо...
Под колесный стук плыву...
Ах, куда-нибудь и мне бы
приклонить свою главу!

2. ОБРАТНО

Народу в обратном поезде —
воистину, что людей!
Приходится быть напористой
во имя своих идей. —

Сначала поближе к выходу
устроиться у окна,
преследуя этим выгоду,
что сразу и не видна.

Потом задымить неистово,
поскольку дымит сосед.
От дыма того слоистого
безрадостен белый свет!

Потом потолкаться с бабою:
куда напиралась, чёрт!
Жевать себе, на пол капая,
огурчики первый сорт.

А после — мешок свой за спину,
и в тамбур из духоты,
вагон будоража заспанный,
ругающийся на ты.

Подкатит платформа под ноги —
ну, прыгай, герой, сомнут!..
...Вот так и рождаются подвиги.
А что остается тут?

118. ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

Они приходили со смены —
снимали казенные куртки,
ладони скоблили степенно,
солидно гасили окурки.

И, как подобает мужчинам,
в столовке устало и гордо
картошку на масле машинном
уписывали в три горла.

Потом выступали хрипато,
клеймили кого-то за что-то,
и были не просто ребята,
а все, как один, патриоты.

И чтобы как сталь закалиться,
потели в холодном спортзале;
потом — на второй же странице —
у них одеяла сползали.

И не было дома на свете
роднее вот этой казармы...
И маршал курил на портрете,
довольный и лучезарный.

119. НА КАМЕ

Взрывали толщу льда.
За взрывом
обрушивалась тишина.

Вода выглядывала криво —
как злой зрачок, насквозь черна.
Над полыньей витала стужа.
Зрачок сужался и тускнел,
и стекленел. —

Вына́ли душу,
что ни выделявали с ней,
но не могли заставить реку
не быть собой!

Из-подо льда
Она смеялась человеку
в лицо...

Стояли холода.

120. ВЕРСТА

Не жмурясь от ветра, не прячься от копоти,
дежуришь на четырехзначной версте.
Медведи да волки...

И так не легко, поди,
а тут еще с августа нету вестей.

Флажки полинявшие сунешь за пазуху.
К погоде подстанывает телеграф.
И губы ненужные вытерты насухо,
и сердце в транзитных живет литерях.

Один за другим — за неделю последнюю.
Зашторены окна, смотри не смотри.
Не мчатся они и не тянутся, —
следуют
сквозь марты, и августы, и сентябри.

Куда, угадай-ка?.. Россия немерена:
Урал, Зауралье, Сибирь — страхота!
Как будто бы в стогe иголка, затеряна
тобою лишь вытоптанная верста.

Медведи да волки... Откосы некошены...
Над лесом распластываются гудки...
И рельсы —

сквозь все горизонты проложены:
не взгляды ли женские из-под руки?

121

Тишайшие сугробы,
искрясь, лежат на Каме.
Почти что пол-Европы
охвачено флажками. —

Там плачут покоренные,
тут прячут похоронные.

122. РЯБИНА

«Что стоишь, качаясь,
горькая рябина?» —
два слепца, печалась,
тянут воедино.

А вагон-то вдовый,
женщины в вагоне.
Деньги наготове
потные в ладони.

Руки бесполезней,
памятливей лица. —
Кажется, не песня,
а разлука длится.

Ишь ведь как выводят —
тонко, со слезою!
По вагону бродит
солнышко косое.

«Как бы мне, рябине,
к дубу перебраться?..»
...А что дуб срубили —
после будет зваться...

123. СУХОПЛАС

От весны ли распалясь,
от тоски лютея ли,
девка с девкой сухопляс
на юру затеяли.

Девка девку большеруко
держит-жмет за талию:
«Ах ты, скука, ах ты, сука,
ах ты...» — и так далее.

То ли пляс, то ли тряс,
пересохла губы.
И зараз двадцать глаз —
подмигнуть кому бы!

Девка с девкой, баба с бабой —
грудью к чьей-нибудь груди!
Мамке в юбку тычься слабый,
сильный — слушай и гляди. —

«Ах, война ты, развойна,
голодуха вдовья!
На, прожорливая, на,
совладай с любовью!»

124. У ГОСПИТАЛЯ

Грузовик подъехал деловито.
В кузове навалом костыли:
самого возвышенного вида —
ни один не чувствовал земли.

А из-за забора — руки, руки:
сколько нетерпенья у живых!
...В жизнерадостном перестуке
скоро к девкам пойдет жених...

125. ГЕРОЙ

Шагнул в избу, ненужную шинель
стряхнул плечами.
Увидел сына (полно, не во сне ль?)
привлек жену (давно забытый хмель!)
с минуту помолчали.

Жена еще заплакать не успев,
передник ненадеванный надев,

стол скатертью покрывала.
И вдруг заговорила нараспев,
заговорила.

Таращился мальчишка из угла
на грудь героя...
А он, как оперся о край стола
единственной рукою, —
так вся изба от счастья поплыла!

126

По одному приходят, по двое.
Деревню крутит самогон.
Дворняги влаивают, подлые, —
их вразумляют сапогом.

Кто без ноги, а кто с контузией, —
отвоеваться бы, кажись!
А уж кого-то отволтузили,
поговорив сперва за жисть.

То председательшу по-матери,
то нам харкотина вослед. —
Не то чтоб злости не истратили,
но что за шум, коль драки нет!

Кто спит с женой, а кто с невесткою —
эк, без братана извелась!..
...А ну ругнись-ка на советскую,
на кровью политую власть!

127. СХОД

На сход собрались старики:
затяжка, сплев, косноязычье.
Как заржавелые замки,
дремучи бороды мужичьи.

Спроси любого: бога нет.
Но божий храм — на то он божий,
и, хоть семь бед один ответ,
тут на войну кивать негоже.

Она, вишь, церковь не глупа:
не проживешь единым брюхом.
«Открыть и пригласить попа —
грехи замаливать старухам».

Ну как тут бороду не скресть:
выходит, бог-то — все же есть?!

128

Судим-рядим вкривь и вкось —
мол, беда незваный гость,
а кому какого счастья,
не столкуемся, небось! —

Всем свое на этом вече:
зверю — логово,
человеку — человечье,
богу — богово.

129. ТУМАН

Только избы пройдешь, колодцы,
палисадники, тополя, —
за околицей разольется
вечереющая земля.

Развеликое водополье —
по долине туман полег.
Лишь затопленной колокольней
замаячит поодаль стог.

И ни давешной деревушки,
и ни дальнего деревца.
И с какой-то, бог весть, опушки
легкий благовест бубенца.

Слева кони иль справа кони?..
Счастье захолюню в груди,
что никто тебя не нагонит
и не встретится на пути.

130

Когда в полях сияет полночь, —
Луна на дальнем берегу.
И борозды лежат, как волны,
что вдруг застыли на бегу.

И хоть бы где кусочек суши,
каких-то хоть бы полдуши!
Сам бормочи и сам же слушай,
да весла исподволь суши.

Плыву себе — гребец и кормчий.
Быть может, в том и ужас мой,
что собственное сердце громче,
чем вся планета за кормой!

131

О этот мреющий простор!
Когда недвижно из-за гор
луна глядит огромным глазом;
когда летят, теряя разум,
с истошным ревом поезда,
и содрогается звезда
в ручьях под гулками мостами;
когда меняются местами
стога, сторожки и кусты,
лишь только тем и заняты,
чтоб отводить глаза прохожим;
когда чреваты нехорошим
и тусклый свет, и полный мрак,
и в лучшем друге виден враг,
а недруг истинный невидим;
когда становится событьем,
что оступился ты; когда
твоя ночная нагота
всему вдруг очевидна свету,
и ни тебе прощенья нету,
ни оправданья с неких пор, —
о — этот мреющий простор!

Кто осмелился, кто роздал
вольным рекам имена?
Дальнозорким даже звездам
не постигнуть их до дна.

Рекам, полным нарастанья,
устремленным сквозь века,
клички, прозвища, названья —
словно след от челнока,

как касания касаток,
как шуршанье камыша...
В тайнах тихих и косматых
их бездонная душа!

И ни письменно, ни устно
смысла их не передать.
Безымянные безумства,
только с виду тишь да гладь!

133. РЕКИ

*С дебелой Камой, с легкой Иньвой,
с зеленоглазой Чусовой...*

Серебряные гибкие тела...
Нелепые певучие названья...
И каждый раз по-разному влекла
струящаяся медленность купанья.

И каждый раз река была иной —
то ясной, то изменчивой, то скучной,
ласкающей, помню, под луной,
перед грозой, помню, непослушной.

Но замиранье духа на волне,
упругое биенье подо мною —
рождало чувство гордости, что мне
с любой по силам сладить быстриную,

что глубина любая мне мала,
и — полное всеилье и всезнанье...
Серебряные гибкие тела...
Нелепые певучие названья...

134

Прекрасной осени не стало поутру. —
Не так ли вот и я когда-нибудь умру.

Никто не уследит скупого перехода —
одним дыханием — в другое время года.

Мне было холодно — и кончился озноб.
Большая тишина легла на чистый лоб.

Земных моих дорог тела кровотокащие
в прожилках инея валяются за чащею.

И поднимаются все выше облака.
И понимается по-новому тоска.

И ветер песенку безжалостно высвистывает
про житие мое — простое и неистовое.

135

Поднимаюсь я по холмам крутым.
Облака, как дым, и туман, как дым.

Одолею склон, огляжусь кругом:
надо мною дым, подо мною дом.

Да еще простор с четырех сторон,
широте небес отдаю поклон.

До свиданья, дом!
Здравствуй-здравствуй, дым!
И седому здесь не бывать седым.

136

Не торопясь, он выстрелил в меня,
последний луч. Стоял я на вершине
и стал невольным столбиком огня.

Уже лежали сумерки в низине —
деревья одичали и кусты
набухли неразборчивостью синей.

Холодотелой жутью налиты,
слепые существа воображенья
к ногам моим ползли из темноты.

Я был для них предметом вождельня,
они злорадно чуяли меня —
остаток света, сгусток озаренья.

И гадко стало мне. И отстраня
ближайший куст, я в заросли устало
шагнул и затаился возле пня...

Так и стою — сошедший с пьедестала...

137. БОЛЬШАЯ ДОРОГА

Вот Россия — лес да поле,
да церквуха без креста.
Сколько хочешь вольной воли,
а душа пустым-пуста.

По росистым луговинам
след безросный от колес.
И дымком несет овинным —
зарыдать, да нету слез!

Поведут куда-то ноги —
не заспорю, не сверну.
На большой твоей дороге
одиначества хлебну.

Рюкзачишка за плечами,
плащ линияль на руке.
Не мои односельчане,
не мои однополчане
пьют и воют вдалеке!

ПРОХОЖИЙ (1945—1949)

138

В темнобурых ржавых пятнах
душ охрипших лезвия.
Вся земля в путях обратных
и сама как не своя.

Полевые носит сумки,
мало ест и много пьет.
Но — как детские рисунки —
счастье в памяти встает.

Там все криво, все нелепо,
наугад и кое-как.
Там цветок почти в полнеба,
вместо солнца — красный флаг.

Там на тонких ножках мама,
в полтора окошка дом. —
Вспоминается упрямо,
запивается с трудом.

Счет теряет рваным тыщам,
плачет, встретив кореша.
И торчит за голенищем
хрипло ржавая душа.

...И паровоз, убитый наповал,
 ушел всей тяжестью в болото,
 и судорожно выгнулся металл,
 и на колосниках застыла капля пота,
 и сквозь пробоины котла
 осока равнодушно проросла,
 и на рычаг, измеривший полсвета,
 осела ржавчина...

Вот малая примета
 большой войны...

Пускай дрожит откос,
 пусть тяжело нарастает гул колес,
 и, всеми поршнями работая взасос,
 над ним собрат его победно паром пышет, —
 тот, мертвый паровоз —
 не слышит.

140. ПОЛУСТАНОК

Приходят и уходят поезда,
 и семафор то красный, то зеленый.
 И над телеграфисточкой влюбленной
 подрагивает каждый раз звезда.
 Дежурный, проводив очередной,
 подмигивает девушке с перрона.
 И тополя отстреленная крона
 впервые опускается весной,
 и там гнездится легкая звезда,
 и нет покоя девушке влюбленной...

А семафор то красный, то зеленый,
приходят и уходят поезда...

...Здесь полегло две трети батальона.

141

Живем на колесах
и в комнатах едем.
Оставим свой посох
великим наследьем!
Разлука разлукой
и встреча как встреча.
Какой-нибудь угол —
мечта человечья.

Вторением гуда:
Откуда? — Оттуда... —
Страна кочевая
навывает продута —
безруким жаргоном,
безногим акцентом...
Бездомнейший гомон
аккомпанементом!

Вдовство и сиротство...
Родство и юродство...
Похлебки не стоит
твое первородство!
И как на салюте,
на гульбище века:

все люди и люди —
и нет человека...

142. ПЕРЕД ПЕЧКОЙ

Вновь сидели мы перед печкой,
в темной комнате и вдвоем.
Ты казалась такой беспечной,
разрисованная огнем.

И шутила, и в бок толкала,
и прижмуривалась слегка,
и высовывала лукаво
кончик нежного языка,

И смешливо ждала ответа,
и плечом поправляла плед...
Так по-прежнему было это,
будто не было этих лет!

Но когда отзвенели угли
и подернула их зола, —
золотые глаза потухли,
словно выгорели дотла.

Незнакомой доселе жилкой
обозначился твой висок.
Полкоробки я перечиркал —
все равно закурить не смог.

Ты — притихшая рядом где-то —
не ждала, чтоб зажег я свет...

Так по-прежнему было это,
будто не было этих лет!

143. АПРЕЛЬ СОРОК ПЯТОГО

Мы вдоль Невы с тобою шли.
И ночь, густевшая в зените,
на нет сходила постепенно
к слиянью неба и земли.
И месяц — тонкий, как рисунок,
и увеличенный в размерах —
за нами двигался вдали.

А за решеткой Летний сад
наискосок ходил по клетке, —
весь в теневых своих шатаньях:
бесшумен, вкрадчив, полосат.
Теперь, закрытый на просушку,
свою ручную довоенность
он возвратить решил назад.

И довоенной высоты
достичь примеривались шпидли;
зарей сквозили колокольни,
водой подсвеченной — мосты.
Мы вдруг посмели на минуту
забыть самих себя вчерашних —
и я, все помнящий, и ты...

С поля Марсова вдоль Мойки
 растеклась голубизна.
 Вижу, пленные на стройке
 тихо жмурятся: весна.

Даже фрицы, даже фрицы
 загляделись на стрижей.
 Вот какой-то жалколицый
 улыбнулся до ушей.

Пусть, заметив конвоира,
 поперхнулся и — молчок. —
 Необъятный воздух мира,
 он коснулся наших щек!

О, не тот внезапный «Воздух!» —
 где стоишь, там и ложись.
 Он — в деревьях, в птичьих гнездах, —
 не бессмертие, а — жизнь!

И круглый сад перед музеем,
 и склянки вечных четвертей...
 Здесь рад я даже ротозеям,
 лишь свято место не пустей!

И если плачущих я вижу
 в том довоеннейшем плену,
 то слезы здесь порядком выше —
 здесь сто слезинок за одну.

Здесь не жалеют свеч каштаны,
дубы на цыпочках стоят.
Смычковый трепет долгожданный
пронзает с головы до пят.

Не только тех из нас, кто в кресле
сидит, глаза полузакрыв. —
Все наши милые воскресли,
всех поднял, всех несет порыв —

фугасные развеяв тонны,
земную взрезав круговерть,
летит ковчег белоколонный
из века в век,
сквозь жизнь и смерть!..

146. ДИРИЖЕР

У дирижера крылья за спиною,
два черных лакированных крыла.
Когда бы освещение дневное,
он походил бы на орла.

А так — геометрические жесты,
вторжение в последующий звук,
и все — от первой скрипки до челюсти —
ему, как воздух, дарят свой испуг.

Он не парит — царит, а это хуже!
Невнятные комочки тишины,
они наши для озвучиванья души
берет, и мы кивать ему должны.

Сидим — льстецы, сквалыги и неряхи,
невыносим смычковый гнет,
и раболепствуем, и пребываем в страхе:
а вдруг он их за мелкостью вернет?!

147. ПОХОРОНЫ

Венки на гробе — будто грелки.
И, сотрясая весь квартал,
бил полдень в медные тарелки,
фальшивой скорбью рокотал.
И сослуживцы шли понуро,
и две старухи впереди.
И музыкальная халтура
дрожала горестно в груди.

И на себя невольно каждый
примеривал: небось, однажды
и он вот так же... и над ним
надрывно возрыдать валторной
наймется лабух... и родным
мечтать придется об уборной
под тот же траурный разброд...

Был март. Был полдень. Гроб качало.
И фальшь, забив слюнями рот,
скорбела каждый раз сначала.

148. ПЕСЕНКА ОБ УЛИЧНОМ ФОНАРЕ

В четыре где-нибудь руки
играют грустно мать и дочь

А под окном, а под окном
фонарь на цыпочки привстал.

А под окном, а под окном
фонарь на цыпочки привстал.
Что из того, что скрежет дня
бедняге уши засорил!

Что из того, что скрежет дня
бедняге уши засорил.
Он честно слушает, о чем
играет мать, ирает дочь.

Он честно слушает, о чем
играет мать, играет дочь —
в четыре маленьких руки
так согласованно грустя?..

149

Сегодня у меня плохое настроенье,
полузабытое бубню стихотворенье —
о фонаре смешном,
что в городе ночном
найти мечтает дом,
куда впускали бы не только отраженье. —

Нашел-таки, вошел: там все как у людей —
двуспальная кровать, кушетка для гостей,
окно зашторено, ночник с глубокой тенью,
но — непривычному — не спится фонарю...

Вот все стихотворенье.
Еще раз повторю —
язык-то без костей!

150

У человека дома нет,
и никому он не сосед,
весь день толочь ему булыжник.
Смеется булочной порог,
закаты брызжут из-под ног,
и нету близких между ближних.

Страдальца, думаешь, ты встретил? —
Попробуй-ка его привлечь
спокойной ласковостью встреч, —
твой дом покинет он, как ветер,
чтоб стать на людной мостовой
самим собой, чужим с тобой!

151

Мальчик стал вежливым мужем,
девочка матерью стала.
Больше не ходим по лужам,
по переулкам устало
больше не кружим.

Служим тщете и минуте,
целыми днями в закруте,
даже целуемся вяло.

Перипетий-перепутий
как не бывало!

Не пребываем в истоме,
не уповаем на случай... —
Все как положено, кроме
чувства бездомности жгучей
в собственном доме.

152. ПРОХОЖИЙ

Порадуйся, прохожий, за меня!
Мой день окончился и вечер на исходе,
я без забот до завтрашнего дня.

Подумай только: я — и без забот!
Пускай закат был красен к непогоде,
перебежал дорогу черный кот, —

все будет завтра: ветер, слезы, встречи...
Да что бы ни было, не все ли мне равно, —
все только завтра ляжет мне на плечи!

Сегодня же шагаю без разбора,
и ноги промочил давным-давно,
и все прочел афиши у забора, —

чертовски хорошо!.. А ты, дружок,
ты, современник мой, ты, будничней прохожий,
ты — разве не промачиваешь ног? —

Ну-ну, ступай, простимся на мосту...
Все фонари между собою схожи
и ни один не примешь за звезду.

153

Устану я смотреть кино,
уставляюсь нехотя в окно,
а там черным-черно.
И так бездонны пустыри,
и так бездомны фонари,
хоть вовсе не смотри.

Но кто ж там смотрит из стекла?
Кому возвышенность чела
морщина рассекла?
С кем это я наедине?
Чье отражение в окне
завистливо ко мне? —

Когда в душе черным-черно,
мы ждем, не спим, мы заодно,
и все же все равно —
в любом окне, в любом доме,
в любом огне, в любом дыму —
жить мне, а не ему!

154. СВЕТ В ОКНАХ

По окнам различаются дома.
Вот голубой, вот розовый уют.

Где молятся, где плачут, где поют,
где хлеб жуют, где карты раздают,
где выживают из ума.

Старухи руки в боки. Старики
с подтяжками свисающими. Дети,
которых водружают на горшки. —
Бесхитростные кинокадры эти
о людях повествуют по-людски.

Ну что придумаешь честней
раскрытых настежь окон, их теней
и отсветов! — Поверх толпы понурой
слежу — как скрытой камерой — за ней,
за жизнью, не порезанной цензурой.

155

Я знаю: ты была и не была.
К ничем не замечательному дому
свела меня по городу пустому
наивничающая мгла.

Там было в ночь распахнуто окно,
и музыка, и отсвет на панели.
За занавеской двигались и пели,
и пили, может быть, вино.

Ты на какой-то выглянула миг —
и вновь многоэтажный давит камень.
Ты — с голыми прекрасными руками,
а я уж — поднял воротник.

Пусть дворники спросонья гонят прочь, —
куда пойдет пришедший ниоткуда?
Не от добра стою здесь, не от худа, —
меня и нет, есть только ночь.

Стою, неотличимый от угла,
живу, случайный, в вечной этой теме...
Танцующих в окне ломались тени,
и ты была —
и не была.

156

Мне приснилось, что я оглох.
Непробудная глухота!
Застигает меня врасплох
шевеленье любого рта.

А завижу открытый смех —
будто по сердцу мне ножом.
Все бессовестно слышат всех,
ну а я — во пиру чужом.

Перекрестки для них гремят,
и березки для них шумят,
и пластинки хрипят для них,
и ботинки скрипят для них!

Бабий вздор и любовный вздох,
резкий стук и тишайший стих...
Говорю только ах да ох,
но и это — для них, для них!

157. ЛБОМ В СТЕКЛО

Чей-то шаг нелюдимый,
перестук костяной.
Я надеюсь, что мимо,
не ко мне, не за мной.
И следы заметая
(друга или врага),
как песцовая стая,
юрк панелью пурга,
вьюга за угол ближний
на ночь гляючи — юрк...
Город, город, ты лишний
в этой лихости пург!
Да и ты, брат прохожий,
да и я у окна...

На весь мир, видно, Божий
нелюдимость одна!

158. РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ВОКЗАЛЕ

Я стал горожанином: стал
в вокзальном бывать ресторане.
Всегда, приходя на вокзал,
вдыхаю тоску расстояний
с покрытых испариной шпал.

Здесь рельсы в прогорклый тупик
вонзают беззлобные бивни,
а вижу — летят напрямик,
сквозь дебри летят и сквозь ливни,
как непререкаемый крик.

Здесь ветер зовут сквозняком,
а там не нужны ему святцы:
он каждой травинке знаком,
и каждой душе целоваться
с разгульным своим земляком.

Здесь люди, глаза застеклив,
незрячесть оставили в силе;
для них за перроном — обрыв,
и невозвратимость России
страшит их и тешит, как миф.

Я стал горожанином. Зов
гудка из предместий — как ржанье,
как древний восторг петухов...
Вот так и живем, горожане,
вокзальных боясь сквозняков!

159

Декабрь. Скука гололедиц.
Дремотное желанье спать.
Взойдет над крышами рассветец,
помедлит малость, и опять —

из переулка в переулок,
среди каналов и мостов,
безлюден, сумеречен, гулок,
витают голос поездов, —

и спать — как заниматься делом:
декабрьский сумрак нарасхват...

В существованье черно-белом
лишь абажур оранжеват.

160

Сугробы. Летний сад. Сугробы.
На четырех углах мосты —
окаменевшие коты:
коротколапы, низколобы,
навечно выгнуты хребты.

Лебязья. Снегопад. Лебязья.
А вдруг да это — столько дней
витает дух от лебедей?
И то сказать: не за себя ж я
тревожусь... Право же! Ей-ей!

161—162. СНЕЖНЫЕ ВАРИАНТЫ

1

...И заняли город снега.
Воздушным десантом, с налета,
вломились, и вся недолга:
в свои продувные тенета
нас походя ловит пурга.

Воззванья по городу сплошь
расклеила власть снеговая.
Гляди не гляди, не поймешь,
какой это номер трамвая, —
любой в эту пору хорош!

Нет, правда, пешком не ходи,
все может случиться, дружище:
ты думаешь, тень впереди,
а это кривляется нищий
с осколком медали в груди...

2

Зима на положении осадном
не объявляла города. Но вот —
воздушным среди бела дня десантом —
снег на голову! Сто на одного!
Творя невозмутимые бесчинства,
набросятся и так бока намнут,
что каждый негативом трубочиста
становится за несколько минут.

Ни правых на земле, ни виноватых,
а в небо не пускают провода.
Трамваи — в маскировочных халатах:
не разберешь, какой трамвай куда.
И уличных часов большие бельма
торчат, безвременьем слепя. —
Все, что могло, на свете стало белым,
и белый свет не узнавал себя
в неразберихе парашютной...

А снегоочистители пошли —
и вроде, показалось, это шутка,
ученье,
и не страшно для земли.

163. IDEA FANATICA

Не в моей крови, а в чужой
зародилась она, созрела
и разъела стеклянное тело,
панибратствуя с душевной душой;
только после — осатанело
утверждая слово и дело,
на меня, пожирая ржой,
все гася, что покуда тлело,
все черня, что казалось бело,
все тупя, что еще болело...
И теперь — я и сам большой:
черта лысого за душой!

164. ГОРОДСКОЙ РОМАНС

Я шел вдоль вечерней панели —
и свой, и чужой пополам.
Над миром моим пламенели
холодные страсти реклам.

Герой из плохого романа,
я вдруг на витрине одной
увидел кусок океана
и воду пронзающий зной.

Я сразу поверил покою,
как было ни людно вокруг.
Я даже потрогал рукою
стекло, что не чувствует рук.

Текли сквозь меня разговоры
о всяких пустяшных делах.
Цвели за спиной светофоры
на всех отраженных углах.

Стоял я, смотрел без улыбки,
как в этом обмане простом
прекрасно живут себе рыбки
и томно шевелят хвостом.

165

Молиться — было бы кому!
Молился шагу твоему,
плечам твоим, твоим коленям.
А ты, внимая с удивленьем,
витала в будничном дыму,
и чуда не было... Молиться!
Ах, только было бы кому...
Себе молиться самому:
не ясноликий — празднолицый,
и суесловный потому.
Весь век шагаю по дороге
из полусвета в полутьму —
то взгляд свой к небу подниму,
то обниму березе ноги...
Молиться... только бы кому!

166

В сухой асфальт впечатывая шаг,
прошли войска. Оркестр отбарабанил

и сам покинул площадь. Словно планер,
одна лишь тишина парит в ушах.

Да майский ветер, пахнувший остро,
пунцовые полотнища упруго
прогнул, готовый вырваться из круга,
врожденное припомнив озорство.

Из круга, предначертанного мне,
мой напрягая кумачовый парус,
из круга, где я радуюсь и старюсь
в теснине отчеканенных камней...
А там зарницы падают в ручьи,
бесстрастны звезды и дожди внезапны. —
Ломая память, праздничные залпы
уже гремят над площадью.

Молчи!

167. СТИХИ В МАНЕРЕ ПАСТЕРНАКА

Анонс, конечно, прозевав,
у входа бегал я за лишним.
В надбавке виделся мне штраф
за невнимательность к афишам.

Я за счастливыми вслед
влетал в блистанье вестибюля —
взглянуть, не старый ли билет,
и просиять, что не надули.

Я стался лестницей, скользя,
и на последней лишь ступеньке

вдруг понимал, что так нельзя
и не за то платились деньги.

Я в гардеробе битый час
свой шарф разматывал с отдышкой,
кивал друзьям, не горячась,
хрустел программкою под мышкой.

То есть усваивал вполне
чуть старомодный, чуть помятый
тот вид, какой, казалось мне,
иметь бы должен завсегда.

На зов звонков и зазывал
не отзывался, как на шалость,
но как в душе торжествовал,
что это все меня касалось!

И я, и я был посвящен,
а если нет, так буду скоро,
когда не шпагой, как масон,
так просто палкой дирижера.

Гул кулуаров отставал,
как не успев еще раздеться,
и всякий раз входил я в зал,
как в воду: с замираньем сердца.

Постельная забыта благодать,
тетрадь моя раскрыта.

Какую ночь не может перестать
за стенкой Риорита.

Но пушкинскими звездами мороз
за окнами сверкает.
Но тютчевской подспудностью до слез
мне душу проникает.

Но блоковским безумием томить
меня во веки может. —
Лишь эта тонко ткущаяся нить
мой слух ночной тревожит.

169. ПЕРЕВОДЯ СЕВЕРЯН

Мы бродили белыми оленями,
звезды поднимали на рога.
Преклоняли под вечер колени мы
и ложились в теплые снега.

Наших душ не выдумаешь чутче,
не найдешь нежнее наших губ...
Где-то у костра — на всякий случай
пробует веревку душегуб.

Мы уйдем и завтра от погони.
Только все равно когда-нибудь
нам под равнодушною ладонью
равнодушно голову нагнуть.

Ничему противиться не будем.
Лишь глазами, высланными мглой,

мы через плечо заглянем людям
в лица, выпачканные золой.

И помчим под свист бича веселого,
вспоминая только на лету,
гордость, поднимавшую нам голову —
звездную — единственную — ту...

170. ТВОРЧЕСТВО

Из мухи делаю слона.
Вот с потолка берется муха.
Вот наугад, посредством слуха,
к ней подбираются слова.

Вот присобачиваю к ней
мотив — услышанный ли, свой ли, —
и слово каждое — как в стойле,
а мухи нету, хоть убей!

Её ничтожный хоботок
в заправский вырастает хобот,
отпали крылышки, и топот
мне отдается в левый бок.

Несется слон, вовсю трубя,
зевая попутных восторгая...
А муха просится другая
помочь ей выйти из себя!

171. БАБОЧКА

Что общего, судите сами,
у этой бабочки со мной?
Летит под всеми парусами
и весел час ее земной.

Обворожительное тело
обрушит в омут василька... —
А я бреду себе, вспотела
тяжелая моя тоска.

Но — сходство есть, вернее — будет:
мозгляк какой-нибудь незлой
на муку бабочку осудит,
к бессмертью пригвоздит иглой. —

Как знаю этот сладкий холод,
что расправляет нам крыла!
...Я пальцем Божиим приколот
к доске случайного стола...

172—173. ДВА ОТРЫВКА

1

Без толку промелькнувший день
отнюдь не кажется пропажей. —
Бензином въедливо пропахший,
изрытый толпами людей,
он тормозился рядом, возле,
бок о бок, около, впритир,

он ерничал, он строил козни,
он панибратствовал, претил,
он выводил из равновесья,
он доводил, сводил с ума,
вкруг пальца обводил: доверься
ему — и... Словом, кутерьма
с утра до вечера!

И все же —
едва улягутся, о Боже,
все страсти в мире и в дому —
я карандашик свой возьму,
за кухонным столом пристроюсь
и напишу об этом, то есть
о том, что промелькнувший день
отнюдь не кажется пропажей...
Сгони-ка сгорбленную тень
со стен ночных многоэтажий!

2

Не понимаю, гром иль просто мебель
передвигают выше этажом?
А ведь любой отдельно взятый стебель,
чертинка, беглый штрих карандашом
на этот счет сомнений не имеет.
Расслышать не умеет, но немеет
всем естеством своим перед грозой.
Я человек, я жду, когда косою
ударит дождь по стеклам

в подтвержденье,
сутулюсь над бумагою — и вдруг
в квартирное мое воображенье
всей тяжестью вторгается сундук,

рояль, как оплывающая туча,
гнетет, лиловым зноем исходя,
все двери настезь, хлопают трескуче,
и соприродно жаждется дождя, —
и вроде я живой...

174. В ШЕРЕМЕТЕВСКОМ ОСОБНЯКЕ

Как будто Ад был в нижнем этаже. —
Туда вели ступени винтовые,
и я, спускаясь, был настоroje,
всегда ступал наощупь, как впервые.

Из света погружаясь в темноту,
от скользкого потея напряженья,
я шел по бесконечному винту
до судорог, до головокруженья.

И лестница казалась мне уже
вращающейся дыбом мясорубкой. —
Как будто ад был в нижнем этаже,
туда вели уступка за уступкой...

описка за опиской... то бишь я
на каждом повороте ждал размола...
А там, внизу, дорвавшись до жранья,
кишел тот свет похабно и бесполо.

Там превосходства пучились пары,
откусывали там носы друг другу
и, соблюдая правила игры,

на мертвенном бильярде не шары,
а черепа катали, как по лугу. —

И я обратно, в лестничную тьму
отшатывался...

175. В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА

Мы в комнате, среди поющих линий.
Здесь музыка зашлась до немоты. —
Вот переулочек: воздух синий-синий,
трамвай, толпа — и нету суеты.

Вот небо: на последней ветке птица.
Вот — в занавеску врывшийся сквозняк.
А вот — не пожелавшее сгуститься
лицо: еще увидят, что добряк!

Молчит хозяин. В продранном халате,
для куражу под мухой, чуть рябой.
Окурки громоздятся у кровати,
а мы — на свежем воздухе с тобой.

176

У тебя холодеют руки.
Город спит. Только ночь да ветер.
И всего два окна на свете —
два, не знающих друг о друге.

Два летящих сквозь ночь смятенья,

две бессонницы. И в обоих —
по распластанной на обоях,
по одной одинокой тени.

В глубине одичалых комнат —
тут хозяйка, а там хозяин.
Вещи, вещи глядят в глаза им,
вещи, кои о стольком помнят!

И не охнуть, не шевельнуться —
все ловить отголоски улиц,
гулы лестниц: а вдруг вернулись
те, которые не вернутся?!

А под уличную звездою
чье-то снова идет свиданье...
Нелюбившая, руку дай мне,
не расстраивайся, не стоит!

177

Вспоминать в разлуке нельзя,
только помнить можно в разлуке.
Нет, не волосы, не глаза,
не походку, не смех, не руки.

О губах твоих не тоскую,
имя светлое не шепчу, —
всю, единственную такую,
помню всю тебя... И — молчу.

Я помню, слезы были едки. —
 Она ушла. А ты юнец.
 И все знакомые жилетки —
 конечно, вымокли вконец.

О! Все прошли огонь и воду,
 на этом зубы съели все.
 И женскую тебе природу
 во всей представили красе!

Искал ты сходства сладострастно,
 злорадствовал, слепой щенок.
 Но бесталанностью соблазна
 увы, утешиться не мог.

Наоборот, благоговей
 ты обернулся ей вослед.
 И стало ясного яснее,
 что если клином белый свет —

не хорохорься, не аукай,
 спьяна под окнами не стой, —
 лечи свою любовь разлукой,
 как лечат зренья темнотой.

179. МИНУТА

Я жду тебя. Я жду своей минуты.
 По осени придешь, иль по весне? —

В тот день с утра заладит почему-то
дождь, заглушая тиканье во мне.

Присяду я к столу, тетрадь придвину,
забудусь, кану, время проведу. —
Как по сердцу ударит вдруг недлинный
звонок, и, очневаясь на ходу,

я выйду в коридор, не кончив строчки,
«кто там» спрошу, услышу, как молчишь, —
и все дверные к дьяволу цепочки,
задвиги все: ты за дверьми стоишь!

Ты не совсем окажешься такая,
на свете и не может быть такой,
но верю — это ты, а не другая:
я никогда не отпер бы другой.

Моя минута!.. Верю и не верю. —
А вдруг да все же, каплями горя,
не зонтик твой топырится у двери,
а — вечное крыло нетопыря?

180. ПРИТЧА ОБ ИСЧЕЗНУВШЕЙ ТЕНИ

Был день как день, я шел себе и шел,
тень на дороге выглядела тенью.
А вдоль обочин — мерзость запустенья,
вода ржавела, воздух был тяжел.

Попутчика нагнал я, но во взгляде
(он обернулся, зыркнул из-под век)

я вдруг увидел — этот человек
совсем не тот, каким казался сзади.

А тень моя по-женски ожила,
через бугры и вмятины рванулась
и, потеряв свою-мою сутулость,
в чужую тень ровнехонько вошла.

Что говорить, хозяин я не строгий,
но все ж — средь бела дня, в расцвете лет! —
Обидчика простыл уже и след
на побледневшей мертвенно дороге.

Кто был он? Почему он вороньем
сопутствуем? Откуда столько дыма? —
Мой крик беззвучен, в мире нелюдимо,
и тень войны на времени моем.

181

Молодая печаль, молодое вино —
нам лишь самую малость хмельно.
Молодое вино, молодая печаль —
жаль себя и товарищей жаль.

Чья же это вина,
что уже сколько лет —
и печаль без вина,
и товарища нет.

Пляшет ветер на площадях.
 Полукругом сошлись дома —
 на последнего из бродяг
 любопытствуют задарма.

Грустно-весело: мы уже
 никуда из своих квартир,
 и, по правде, любой в душе
 даже рыпаться прекратил.

Аж завидки берут, гляди:
 пыль завихрилась впереди,
 окна хлопают впопыхах,
 а кусты — в чехарду в садах.

А уж наши-то шляпы — ой,
 и смешно, и какой там смех! —
 покатались по мостовой,
 будто головы с плеч у всех.

Пляшет ветер, ни брат ни сват,
 семиюродное родство!
 Листья, втоптаные в асфальт,
 окровавленный след его.

Обрушиваются горы...
 моря на дыбы встают...
 Наш быт — продувной и голый,

и жалок чей-то уют.
Найди-ка по белу свету,
где тишь была бы да гладь? —
А кто-нибудь на планету
двухспальнейшую кровать
поставил и усмехнулся:
знай наших!

А между тем —
сбивает удары пульса
подрагиванье стен
толстенных; вода под краном
тяжеле воды живой. —
Уютовладельцу — странным
покажется мир с женой!
Конечно же, дело плохо:
уже, может быть, в четверг
оскаленная эпоха
скомандует «руки вверх!»

184

Когда в водовороты сна
дневная жизнь вовлечена
и падает, кружась и рушась,
на дно, не достигая дна, —

невозмутимо спится мне,
и только изредка во сне
меня охватывает ужас,
что все вершится в тишине.

185. ПОЛУСОННОЕ

Весь город с утра по службам.
А сколько нужно отваги —
постель променять на ветер,
особость — на толкотню!

И справа чуть свет, и слева
такие же бедолаги.
Клюем отсыревшим носом
в нахохленный воротник.

Идем — и никак не вспомнить,
с чего это нынче флаги?
Какого, к тому же, цвета —
не разбери-поймешь!

А небо в том переулке,
как лента серой бумаги,
пришпиленная зачем-то
кнопками фонарей.

186. ГРАЧИ

Спят-недосыпают горожане,
а в садах безлиственных, чуть свет,
между этажами-гаражами,
над вчерашней правдою газет,
беспардонно, будто нынче праздник,
на большую мощность включены
тысячи взъерошенно-прекрасных
громкоговорителей весны.

Рассержусь: «Мешаете же людям!
Тише вы...»

А мне в ответ: «Молчи!
Что ж такого, если и разбудим:
с нас и взятки гладки — мы грачи!»

187. ВОСКРЕСНЫЙ АРБУЗ

Я покупал арбуз на вырез,
платил за это лишний грош,
в нем поворачивался нож
и все нутру его дивились.

Пурпурной тяжестью гордясь
я нес удачу на ладони.

Вокруг меня кипела грязь,
и подворотня в каждом доме

ловила солнце, и трамвай,
пылая стеклами своими,
летел...

Все-все имело имя:
иначе и не называй!

Был город городом. И полдень
был полднем. Все казалось мне
законченным, предельным, полным:
толпа, и женщина в окне

с полоской лифчика, и счастье
ленивым августом дышать,
и жмуриться, и предвкушать
арбуза холодок хрустящий.

188. РАССВЕТ

Пронизываемый ветром
закуриваю, курю.
И рельсам вослед рассветным,
прищуриваясь, смотрю.

Струятся продолговато
вдоль улицы заревой
и сизый на розоватый
оттенок меняют свой.

Из-за спины беспутной —
чем ближе, тем все быстрее —
меня догоняет утро,
и брызги — до фонарей.

Не улица, а стремнина:
несет, но не ветер, нет —
как в парус, в тугую спину
неистовый бьет рассвет!

ПОКУДА ЖИВЫ...

(1952—1956)

В ДАЛЬНОМ РАЙОНЕ

189. В МЕТЕЛЬ

Крутит за окном, не выйдешь из дому!
А киномеханику опять
по полю, как говорится, чистому
на себе

культуру
доставлять.

Влезет в брюки, в валенки
и тонкую
косу под ушанку уберет.

Родилась зачем-то вот девчонкою,
надо бы как раз наоборот!

Ей — к Чапаю бы в однополчане,
быть подругой фронтовых подруг...

Фильм художественный за плечами,
и тугой мешок скользит из рук.

А метель метет себе...

Чего ж ей
не мести, не заматавать следы?!

Нелегко тащить по бездорожью
«Кавалера Золотой Звезды».

Но дотащит, врешь!

И «Кавалера»

вынесет на собственном горбу.

Зрителей набьется —

свыше меры! —

посмотреть красивую судьбу.

Ей же —

волноваться, что ребята
в темноте заденут аппарат,
рамку поправлять

и виновато

слушать все, что люди говорят.

Кончится сеанс,

начнутся танцы.

Ну их!..

Чуть помедлит у дверей.

Или, может, все-таки остаться?..

А завтра вновь тащиться ей!

Взад-вперед —

ушанка, брюки, валенки —

и проваливаясь, и скользя.

Только на лице —

как две проталинки —

теплятся нестрогие глаза.

Может, верст за тысячу исхожено,

может, впрямь, подводы не сыскать,

может, про таких вот

и положено

на экран

картины

выпускать!

190. ПОБЕДИТЕЛЬ

Когда все кончилось победой,
и не в кого уже стрелять;
когда все стало песней спетой
(не дай бог петь ее опять!);
когда, сменив парадный китель
на зависевшийся пиджак,
помылся в бане победитель,
в военкомат ходил и в жакт;
когда вернулся в цех завода,
когда вернул свою жену,
когда гитару из комода
достал и вспомнил старину, —
он от беды послевоенной
не отшатнулся:

он готов —

прикажут если — по две смены
трубить, спуская семь потов;
готов по карточкам поститься,
по ордеру приобретать
копейки стóящего ситца
для покрывала на кровать;
не приступать к жене: «Поведай...»
(сама поведает, небось!), —
все кончилось такой победой,
с такой победы началось,
что не могли на белом свете
жить правда с кривдой пополам! —
Еще в войну играли дети,
чернели вдовы по углам,
еще в вагоне инвалиду

попробуй кто-то не подать, —
а поглядишь кино, и с виду
все, вроде, тишь да благодать;
а каково —

кто был солдатом —
вновь узнавать ее в строю:
вторую с краю, с автоматом —
судьбу безусую свою?!.

191. РАЗГОВОР

В районной чайной мухи кружат.
Ленивый шум. Блаженный чад.
Над пеной, рвущейся из кружек,
два посетителя молчат.
Не то, что все уже сказали,
а как об этом говорить?
Смущенно обходя глазами
предупрежденье «не курить»,
закуривают, как по знаку,
в цветы бумажные дымят. —

Минут за десять их, однако,
сумел списать военкомат!
Без медкомиссии впервые,
полсотни лет — клади билет.
Пришли запаса рядовые,
ушли —
в архивах только след.
Перелистав их службу длинную,
ни шагу, видно, без чернил,

сам писарь —
с генеральской миною —
кудрявый росчерк сотворил.
Оно, конечно, по уставу
и никаких таких обид.
Но то ли пиво хуже стало,
или осколок бередит, —
поводят сивыми усами,
покачивают головой. —

Их убивали на Хасане,
под Выборгом
и под Москвой,
они вставали, воевали,
и номера своих частей
забыть уже теперь едва ли
им до последней из смертей!
Не их вина, что не сложили
досрочно головы они,
и век солдатский пережили —
знай, только сей и борони,
да слушай журавлей над пожнями...
ругай жену... расти внучат...

В дыму, над кружками порожними
два посетителя молчат.

192. ЗАСУХА

Ругались люди,
и молчали,
и пили квас на холоду,

и односложно отвечали
на шутки дачника в саду.
Петух раздумывал, запеть ли,
и мертвые крутили петли
стрижи

у солнца на виду.
Пыль исходила от земли,
как пар из трещин каравая.
Злорадно руки потирая,
Всех без разбора мухи жгли.
И наступала ночь.

И дачник
подушки нес на сеновал.
Что говорить, не из удачных
попалось лето!

Он зевал.
Чего уж там: по перелескам
поганки тощие одни,
и не клюёт...

За днями дни —
валяйся где-нибудь в тени,
и даже разговора не с кем
затеять, кроме ребятни...
Зевал, ворочался —

и, ногу
освободив от простыни,
сном забывался понемногу.
Над ним огромные поля
обманным полыхали светом.
Несло болотом перегретым.
Он спал, губами шевеля,
и, руки барственно отбросив,

не слышал шороха вдали:
сухие зерна из колосьев
не выпадали,
а текли
на лоно каменной земли
под запрокинувшимся небом...

Ему-то что! Он будет с хлебом.

193. УЧИТЕЛЬ

На собаку цыкнул суетливо
и не в дом повел меня, а в сад.
Неправдоподобного налива
тесно-тесно яблоки висят.

Постарались, видимо, в газете:
молодой, красивый на портрете, —
оказалось, вовсе не такой.
Жаловаться начал чуть не сразу,
каждую отмахивая фразу
правой
и единственной рукой.

Дескать, непривычно, не взыщите..
Жил себе, работал человек...
Звание «заслуженный учитель»
для него — как на голову снег...
Поздравляют бабушки и внуки
(те и те — его ученики).
«Хорошо еще, что однорукий, —

обе оторвали бы руки...»
А начальство —
будто он скончался —
нанесло цветов и добрых слов.
Никуда не денешься: начальство...
Раньше вспоминало-то не часто,
а теперь такой переполох!..

Сад внезапно кончился. Небыстро
над районом плыли облака.
... Телеграмма есть от замминистра —
приглашает в город старика...
Что на это может он ответить?
Вся из-под руки ему видна —
пусть не наилучшая на свете,
дальняя,
 ни в песне, ни в газете
не прославленная — сторона.
Полюбить ее не приневолишь,
полюбил — так больше, чем жену, —
тридцать лет ей отдано всего лишь,
с кратким перерывом на войну!
Вот она —
 с крутыми большаками,
с трудными его учениками,
с хрипотцой насущных пререканий
в кабинетах всех секретарей:
строится ли школа —
 нужен камень,
и нельзя ли строить побыстрей...

Слышно — по листве прошелся ветер,
яблоко упало...

В этот миг
был старик такой, как на портрете, —
молодой, красивый был старик!

194. ПОСЛЕДНИЙ ТАБОР

Где, зачем — не скажу, не знаю —
сговорился с цыганами друг. —
Полночь звездная,
глушь лесная,
елки в юбках широких вокруг.
На поляне шумят костры.
Лица в отсветах бесноватых.
Только странное дело — шатры
не по-книжному все в заплатках.
Да еще в нарушение легенд —
мол, цыган не цыганит у гостя —
раскурили меня в момент,
лишь огня поднесли на бересте.

Нам очистили место
рядом
с бородатейшим стариком.
— Ну, пляшите же! —
черным взглядом
он с усмешкой повел кругом. —
Шали рваные, да мониста
из копеек, не из рублей...
Гитариста бы, гитариста!
Дело вышло бы веселей.

— И гитару с собою возим,
только парни теперь без рук.
Им картошку бы рыть в колхозе!.. —
— Дай гитару! — ответил друг.
И на зов перебора подробного
робко выступила одна.
Подбоченилась,

плечиком дрогнула,
задрожала плечами она.
Застонала гитара, заплакала —
бесенята в глазах заплясали;
«Поглядите, уж не краса ли?» —
и притопнула лодочкой лаковой. —
Как же!

Скопишь такие червонцы!
Ври на хлеб себе день деньской!
Может, только цыганское солнце
знает цену обновке такой.
Иль какой-нибудь нашей *Маруське*
из зажиточного села
стало жалко цыганку

по-русски:

чуть подумала —

и — дала.

На один на сегодняшний вечер,
на один на единственный пляс...
Руки плавают,

ходят плечи —

не в последний ли это раз?!

Пусть к плясунье никто не вышел,
вынув кнут из-за голенища.

Между звезд, даже, может, выше,
искра жаркая путь свой ищет.

Долго струны еще рокотали —
каблуки не стучали подбитые.
Русский парень играл на гитаре,
а цыгане сидели —
завидуя.

195. АРТИСТ

Две кулисы по краям помоста,
белозубый смех вполупотьмах.
Посмотрите, сколь все это просто:
тут вприсядку ходят на руках,
тут глотают пламя, ловят гири,
борются до полного туше...
Мир ясней, чем дважды два четыре, —
плохо ли живется в этом мире
маленькой петрушечьей душе?!

Девушки пленяются искусством
разных силачей и ловкачей.
Пол все гуще семечками услан,
воздух все трудней и горячей.
А потом на поженках росистых
рой разноголосых папирос:
— Нет, конечно, лучше всех артистов
кукла, что пищит и кажет нос! —

Вот и опустело в балагане.
В щели просочился звездный свет.
Рыжий неудачник вниз ногами
с громким матом топает в буфет.

Ну а что услышишь от Петрушки?
Прикрывая холодок макушки,
он на звезды смотрит не дыша.
У любимца публики, Петрушки,
ноет деревянная душа.

Поскорей опять бы...

196

Распахнуты ворота — хоть на тройке!
Белилами вдоль матрицы вразмах
хозяин обозначил год постройки
навечно, как на каменных домах.

Кругом пустынно: ни избы, ни хлева.
Шагнул вперед — затравеневший двор.
Простор — направо и простор — налево
и прямо — в стаях галочных — простор.

Да тополя над глохлым огородом...
На воротах же, назло непогодам,
четыре цифры за версту видны. —
Снял шапку: родился он этим годом,
хозяйский сын, вернувшийся с войны.

197. ХОЗЯИН

Подошел к деревне перед вечером
человек в костюме городском.

Чемодан в его руке посвечивал
то замком,

то уголком.

И в деревне,

чуть не в каждом доме,
стекла переполнены зарей.

Глянул человек из-под ладони
и свернул по тропочке сырой.

Зашагал уверенно задами,
главной улицы в обход,
милыми соседскими садами —
в свой

затравеневший огород.

Не пожарище, не пепелище —
просто заколочена изба.

Перед домом собственным,
как нищий,

встал, стирая пот со лба.

В сорок пятом —

даже в сорок пятом! —

так ли возвращался ты, солдат?

Делали таким тебя богатым
скромные гостинцы для ребят!

Узенькая стежка до сарая,
визг собаки, песенка скворца.

Ты вбежал,

сапог не вытирая,

в холодок намытого крыльца...

А теперь невесело хозяину, —
не хозяин и не гость!

Ржаво усмехается в глаза ему
каждый
самолично вбитый
гвоздь.

Доски, побуревшие — крест накрест,
будто в доме не жили вовек...

Может быть, ты перепутал адрес,
милый человек!

Может, не из-за тебя так глухи
слухи о родимой стороне!

И совсем не за тебя старухи
спину гнут со всеми наравне?..

Кепку снял...

Наведаться бы к шурину,
как-никак, а все-таки родня.

Солнце выжидающе прищурено,
медлит на краю большого дня...

Что же ты?

И легкой папироски
не докуриваешь до конца?..

...С треском отрываемые доски
мнут крапиву у крыльца.

198

Достать пролетку. За шесть гривен...

Пастернак

И веселый же мне подвернулся возница, —
чуть присвистнул, впряжку телега пошла.
«Пропадай все четыре!..» Дребезжит колесница,
Сивка-бурка косится, закусив удила.

Подрядился за рупь — на шесть гривен утруски:
все бугры да овраги, особливо ж — мосты!
Но какой же (проклятая рытвина!) русский
(тпру!..) не любит (а чтоб тебя!) быстрой езды?

«Не бойсь! Только трактор по-ровному пашет...» —
и еще одна яма, и еще один мост.

Здравствуй, милая родина!

Сивка задницей машет,

Бурка машет хвостом, отбиваясь от звезд.

ПОКУДА ЖИВЫ

199. ПЕСЕНКА О СЛУЧАЙНОЙ ВСТРЕЧЕ

Л. Агееву

Повстречались на вокзале —
и, как водится, в буфет.

Мы друг другу не сказали,
сколько зим и сколько лет.

Все мы люди-пассажиры:
я — туда, а ты — сюда.

Будь здоров!

Покуда живы,
повстречаемся всегда!

Наше девушкам спасибо
за бумажные цветы!

Все вокруг уже красиво,
мы прощаемся на «ты».

Все мы люди-пассажиры:
я — туда, а ты — сюда.
Будь здоров!

Покуда живы,
повстречаемся всегда!

В гулких тамбурах до света
мы стоим, оторопев.

Вот и песня вроде спета,
остается лишь припев.

Все мы люди-пассажиры:
я — туда, а ты — сюда.
Будь здоров!

Покуда живы,
повстречаемся — ... когда?

200. НА РОДИНЕ

Вновь меня выводит на дорогу
вечная тропинка через рожь.
Родина, умерь мою тревогу —
чем, скажи, так за душу берешь?

Залихватской скоростью трехтонки?
Жестяной на столбике звездой?
Беспокойным голосом девчонки
над быстротекущею водой?

Каждой болотинкою распахнута
в небо, в вечеряющую тишь.
А вокруг такого цвета пахота —
и грачей не разглядишь!

Будто я совсем и не из города,
будто я живу теперь везде!
Небо взглядами исколото,
и от взгляда — по звезде.

Был жестоким я, нетерпеливым,
обрывал ромашки, мям траву.
А ведь если надо быть счастливым,
так не трудно это: я живу!

201. ЧЕЛОВЕК

Борису Слуцкому

Вот был человек — и нету.
И даже не на войне.
Хотел повернуться к свету —
умер лицом к стене.
И зайчик прыгнул некстати
с будильника на кровать.
Стопнулись мы у кровати,
а что тут можно сказать?

Недавно справляли тридцать,
а кажется — как давно...
Вчера не успел побриться,
теперь уже все равно...
Кричало в лицо начальство —
туда поспевай, сюда...
И так выпивал нечасто,
теперь уже никогда...

Смеясь целовал кого-то
(жену, да и не жену)...
Сбегал, больной на работу...
Ругал на чем свет войну.
Стыдясь, подавал калекам.
Любил свой нелегкий век.
Просто был человеком.
Да здравствует человек.

202—203. УЕЗДНЫЕ ВАЛЬСЫ

1

А сквозь деревья музыка мелькала —
вся в белом-белом, челочка на лбу.
Зеленых лейтенантов окликала
и увлекала в смежную судьбу.

Вальсируя взаимности просила,
форсируя наивностью форсила,
подпрапорщикам голову кружа,
фуражечки сбивала на затылок,
отмахивалась вчуже от ухмылок,
и каждый выпуск, вышколен и пылок,
в атаку шел с того же рубежа.

В атаку по-геройски шел, по-русски,
топорщились отглаженные блузки,
бывали широки, бывали узки,
по щиколотку юбки, до колен, —
сдавались и захватывали в плен.

Порхай, любовь, на крыльшках мотива!
Дурней и охорашивайся вновь.
И вспоминайся горько и счастливо,
учебная — под музыку — любовь!

2

Здесь люди лежат...

Постоим...

Лежат, потеряв имена.

Над ними трава, и звезда, и весна,
и жизнь — по законам своим.

Лежать на траве воспрещается. Сад.

Афиши у входа гласят,
что танцы в саду. Радиола вдали...

...А люди лежат, как легли...

Веселая музыка, легкий мотив.

Танцуют живые, подруг обхватив.

Взметается пыль из-под их каблучков —
на травы,

на траур железных венков,

на память во веки веков.

...Лежат под единой звездой...

А где-то, в таком же веселом саду,
галдели,

глядели сквозь лист молодой
они на свою звезду.

А где-то, запретам любым вопреки,
лежали в траве.

И что смотреть из-под ладони-то,
как жгут ботву на огороде —
впервые что-то нынче понято
в себе, и в людях, и в природе.

Впервые — даже удивительно,
как раньше мы не замечали! —
земля такая, как увидена:
без тени, в сущности, печали.

Доносит песню, чуть охрипшую,
струится понизу прохлада.
Дождаться бы дымка над крышею
и — больше ничего не надо!

205

Хозяйку звали тетей Дуней.
Каким нас ветром занесло?!
Она была из тех колдуний,
что заговаривают зло.

Кормила добрыми грибами,
за кринкой лазила в подвал.
И ейный бог субботней бани
нам сердце легкое давал.

Просторней становились пожни,
и дождь дошел уж до того,
что и на темном все ничтожней,
все реже промельки его.

Он на протянутой ладони
почти следов не оставлял.
И только дымом пахло в доме,
да мальчик в ботиках гулял.

А тетка Дуня все глядела
сквозь проржавевшую листву:
один почтарь, смешное дело,
был неподвластен колдовству!

206

Чуть за́ город — лес да поле,
да церковка без креста.
Одна ведь у нас недоля,
страна моя, маята!

Одна на двоих обида,
терпения пополам.
Обоим от инвалида
в пивных достается нам.

Нам поровну мало хлеба,
а зрелищ — невпроворот.
Но ты и пустого неба
отлей от своих щедрот.

Пошли, чтобы с кем-нибудь я
прошлялся до сентября,
прохожего на распутье,
похожего на тебя.

шепотку соли выпросить,
попробуй
на чистом языке договориться,
что солнце — это солнце,
ветер — ветер,
земля — земля,
открытая для всех!

208. ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ

Владимиру Британишскому

Вечер встречи. Довольно весело.
Радиола и полный свет.
Школа даже кумач повесила —
мол, воспитанникам привет.
Наши отчества —
вместе с шубами
в раздевалке под номерком.
Разговорчиками беззубыми
пробавляемся, как кваском.
Обнимаем друзей за талию,
к педагогам подходим вежливо —
дескать, помните?

И так далее...

Как же можно не помнить прежнего!

Ведь не так уж и много минуло:
узнаем ее со спины,
ту, в которую до единого
были в классе мы влюблены.
Усмехается ртом накрашенным —

и девчонка, и не девчонка.
Ни о чем ее не расспрашиваем,
виноватые сами в чем-то.
Сами в чем-то невиноватые,
мы в буфете берем коньяк.
Фронтватые, лысоватые,
пьем за встречу и просто так.
Не беда, что на школьном празднике
кто-то будет навеселе. —
Наши тихие одноклассники
с громкой славой лежат в земле.
Только нас еще пуще славили,
отстраняли от жизни заживо.
Вот сидим с кулаками слабыми
тесно-тесно, плечо с плечом.
Ни о чем о таком не спрошены,
все считаем себя хорошими:
отсидевшие, отсажавшие —
все едины под кумачом!

И не то чтобы верить не во что, —
верим: лучшее впереди.
Эта женщина, эта девочка
дразнит вырезом на груди.
Дочерям поднесем в июне мы
те цветы, что и ей когда-то...
Ах, какими мы были юными
в середине годов тридцатых!

Наш век. Наш город. Я в гостях.
 Беседа как беседа.
 Какой-то, может быть, пустяк:
 застольных два соседа.

Один — красив и развесел,
 и горд, что вышел в люди.
 Ему в солонке разве соль
 и разве хлеб на блюде!

Другой — как будто глуховат
 для здешней речи птичьей.
 Но вот он буркнул наугад —
 и обернулось притчей.

Не время распылять свой пыл,
 от споров толку мало.
 И только водку каждый пил
 так, что судьба вставала.

210. ЗА СОСЕДНИМ СТОЛИКОМ

Красивая, с тяжелой головой, —
 пила — и не перебивала.
 Невестой и подругой фронтовой,
 всем и ничем за жизнь перебивала.
 Затягивайся, слушая пластинку,
 хрипящую о вечности весны
 под чей-то смех, под водку, под сурдинку.
 Колечки медленно пускай

поверх дурацкого бокала.

И туфелькой покачивай...

Пускай

за локоток берет тебя лукаво

твой спутник!..

Песенка томит...

Поддайся уверениям мотива,

что рядом есть другой какой-то мир,

где все, что ни случится, обратимо,

где все не так,

а в такт,

и все легко...

И туфелькой покачивай, и думай,

как мало, в сущности, легло

между тобой и той девчонкой-дурой!

Подкрась большие губы...

Заспешి...

Пускай возьмет машину твой приятель...

...Что память сердца,

даже боль души —

перед томящей памятью объятий?!

211

Мир населен учителями.

Великие учителя!

Не вашими ли костылями

истыкана моя земля?

Но продолжается ученье:

И Дон Кихот, и лиходеи

проходят через облученье
непримиримостью идей.

Мир населен учениками.
Нет, не мои ученики
размахивают кулаками,
сжать не умея кулаки!

212. ОЛЬГЕ БЕРГГОЛЬЦ

Говорят, было с хлебом плохо:
революция, наше детство!
Мы любили тебя, эпоха,
но куда нам, эпоха, деться
от твоих похотливых женщин,
похохатывающих мужчин?! —
Разлинован и расскрещен
сытым пафосом годовщин
твой — всю душу продувший — ветер,
и, зачатые в ночь войны,
мы — исчадия лихолетий —
на бездетность обречены.

Чтобы выпить, не ждем субботы,
в карты дуемся вечерами.
Мы российские дон-кихоты,
мельниц ветряных ветераны.
Мы в музеях ржавеем, рыцари,
поистрепаны наши панцири,
прямо в душу нам лезут рыльцами,
и мальчишки в нас тычут пальцами.

Говорят, жили очень худо,
только молодость сверх пайка...
...Хорошо, что еще покуда
есть над родиной облака!..

213

Да, были кривы и косы
ставни, ступени и стены,
даже столбы, даже козы
возле столбов. —

Постепенно
так примелькались приметы
кривды и косности местной,
что привозные предметы
сделались вдруг неуместны.

Да, были косы и кривы
взгляды, и толки, и нравы,
даже мечты, даже взрывы
хохота...

Только ведь, право,
каждой души не измеришь
прямолинейным аршином!

О кривизна, покажи нам,
как нашей правде не веришь!

214. ЗАВИСТЬ

Были камни. И были травы.
Были кони. И были версты.

215. ПЕСНИ

На баррикадах — *Марсельезу*,
в гнилых острогах — *Варшавянку*,
влача кандалное железо —
Интернационал...

И вот — попал как сельди в бочку —
они понюхали *Лубянку*,
где навсегда поставил точку
тем песням трибунал.

А нас кормили вместо мяса —
У самовара моей Машей,
болел живот от перепляса
Катюш, Андрюш, Марфуш.
Навеки ярость благородная —
застряла в глотке нашей,
и до сих пор скрипят поротно
протезы наших душ.

Живем под *Марш энтузиастов*,
сдвигаем *Ленинские горы*,
стыдимся мальчиков вихрастых,
ведь им не объяснишь!
И то сказать, подходит старость,
хана, как говорится, скоро,
а что от козлика осталось?
Один шумелкамьш!

216. ПЛАКАТ

Боюсь тебя, счастливый сын плаката!
Кудрявый, белозубый, голубой,
глодала ли тебя моя блокада,
захлебывался ль ты моей судьбой?

Ты жил, не опасаясь ни расстрела,
ни даже приглашенья в спецотдел.
Чем больше революция старела,
тем ты невозмутимей молодец.

И ежели вопрос поставить здраво:
свою судьбу ни разу не кляня,
какое — ты скажи — имеешь право
работу проводить среди меня?

Мол, состою ли вкладчиком сберкассы?
Застраховал ли жизнь свою, поэт?
Вступил ли в Досааф? И книгу в массы
несу — глядишь с улыбкой — или нет? —

Нет, не несу, нет, не являюсь членом,
нет, не шагаю гордо к торжеству.
Мне некогда, я занят — пусть презренным,
но неотложным делом: я живу.

чем хоть чью-нибудь голову
нести на сковороду.

Лучше крест —

все окраины,
все окрестности путаются:
души спят, и надраены
только пуговицы.

Всем — ухмылки палачьей
по гвоздю одинаковому...

И — по всем —

равноплачье,
пепел на голову!

3

Вся — как есть!

Вся — из жизни,
из судьбы, из эпохи.

Не из тех —

при фашизме
подбирающих крохи.

Из людей — не из нелюдей,
из речей — не наречий.

Из —

водой не разделите
с наготой человеческой.

Вся — из доблести вдовьей,
несъедобного хлеба.

Не из тех —

славословья
возносящих из хлеба.

Не из той добродетели,
умывающей руки.

Из —

водой не разделите
с черствым правом разлуки,
с черным прахом разрухи,
с белым прахом метели. —
Век не бывшая в теле!
Век не жившая в духе!

4

Никому не племянница,
всем и всякому падчерица.
Первым встречным — пленяется,
и последним — не пачкается.
Никому не любовница,
перед всеми танцовщица.
С нею время — не помнится,
а на вечность — не ропщется.
Никому не соперница,
ни к кому не ревнивица.
Кто к стопам ни повергнется —
сам собой осчастливится.
Никому не пророчица,
лишь себе повелительница...
... Кто бы знал, что захочется
ей на кладбище вытянуться!

5

Здравствуй!

Не над могилкой —

Здравствуй!

Я — не с цветочками...

Той же мылкой ухмылкой,

теми ж —

прочь —

непроточными

люди —

мимо —

глазами.

Я к тебе — не отыскивать
крест гнилой под Казанью.

Я к тебе не на исповедь:
вот я! —

просто *навстречу* —
так на встречи не хаживал!

Что мне белые плечи —
всю —

бессмертную заживо —
знать!

Без гимнослаганий,
с их земными корыстями, —
быть с тобой!

Не словами, —
голой ревностью к истине —
будь со мной! —

Ни пространства
нам не надо,

ни времени
нам не найдено...

Здравствуй!..

Всеми столпотвореньями —
здравствуй!...

ГОД СПОКОЙНОГО СОЛНЦА (1956—1957)

222. АВГУСТ

Д. Я. Дару

От люстр консерватории,
от спилек и от шахмат,
от тех цветов, которые
за деньги только пахнут,
от всей рекламной наглости,
от всех трамвайных правил —
взял отпуск я,

и в августе
дышать себя отправил.

Гуляю рад-радешенек,
каким давненько не был,
в смешных своих одежинах
стою под голым небом:
просторы во все стороны,
и посредине — лютик.
Что делать мне с просторами,
с землей, открытой людям?

Давно ли я под крышею
с газетой на диване
лежал себе

и высшее
имел образование —

и вот я неуч неучем:
весь мир к моим услугам,
а слова молвить не о чем
с невычитанным лугом!

И я, не зная лучшего,
цитировал широко
и Пушкина, и Тютчева,
и начал было Блока, —
Задумался под деревом,
что складности в угоду
любой из нас подделывал
природу и погоду.

Зачем же верить на слово!
От солнца и до мошек
пускай все было названо, —
кто помешать мне может
испытывать все начерно,
а в миг первооткрытий
лишь глоткой перехваченной:
«Земля, — шептать, — смотрите!»

И удивляться заново,
что ты ее частица,
и счастья несказанного
однажды причаститься:
песчинкой (их до черта ведь!)
завестись в песок —
и ливнями зачеркивать
себя наискосок!

был я лесом принят хорошо.
Ты еще спала.

И не шумели
сосны.

И, на цыпочках ступая,
меж стволов пугливо, как слепая,
тишина ходила вслед за мной.
Мушки осмелеть еще не смели.
Рано это было. И весной...

Очень рано.

Зябко и легко мне.
Чуть дымятся солнечные полосы.
Ничего вчерашнего не помня,
птицы песню первую вполголоса
напевают, пробуют...

И вдруг —
белка шишкой запустила,

белка
взять меня решила на испуг.
Ишь как улепetyвает!

Ладно же,
попадись, хвостатая, ужо!..
И косятся изумленно ландыши,
пахнут осторожно и свежо.

Я до самых дальних дотянулся.
От росы колени потемнели.
Зашумели сосны.

Зазвенели
птицы замечательно теперь...
Ты еще спала, когда вернулся.

Вот проснешься —
ландыши тебе!

Может быть, смотря по настроению,
вовсе и не взглянешь на цветы.

Но вдохнешь невольно этот запах,
и предстанет —

в солнечных накрапах
мир новорожденной чистоты,
и весна,

и утро...

Словом, ты
вдруг поймешь мое стихотворенье.

225. ПРОГУЛКА

Пойдем пройдемся по лесу...

Доверчиво,
не понимая толком что к чему,
он все чего-то ждет с утра до вечера,
хотя, конечно, ждать бедняге нечего
и не на что надеяться ему.

Не то чтоб он скучнее стал и мгlistей, —
он полон размышленья:

неужели
вот эти, под ногами, —

те же листья,
что с каждым ливнем заново свежели?
Как получилось, просто непонятно,
что он никак не может зашуметь?

И почему-то солнечные пятна
с ним дела сговорились не иметь!
От грибников,
как будто в воду канувших,
и эха не осталось...

Лишь ручей,
попрыгивая с камушка на камушек,
плетет обрывки слышанных речей.
Не здесь ли мы сидели,
и не с этого ли
пошла его нежнейшая бессмыслица?
Уж, вероятно, птицы бы посетовали:
такой болтун, а летописцем числится!

Ну что ж, кому охота — стань, послушай!
А нам ступать всей тяжестью галош
в глухие кочки,
в пропасти разлужий,
сто тысяч капель,
замутненных стужей,
бросать своим расхаживаньем в дрожь.

Осенний лес похож на Дон-Кихота.
Наивный старче!
Ходим и молчим.
Грустим.

И не стыдимся отчего-то
грустить без уважительных причин!

Сегодня ночью шевельнулся
ручей в ладонях темноты.
Продрогший куст его коснулся
и поздоровался на ты.
Над ним внимательно склонилась
чуть отсыревшая звезда.
И что-то тихо изменилось,
хотя и было как всегда.

Что же все-таки стряслось?
Ничего как будто.
На поляну вышел лось,
в тишину обутый.

Нет, не вышел, а возник,
в сумерки одетый...
Огляделись через миг —
где ты, чудо, где ты?

Измученные, стоим,
веря и не веря,
что дыханием своим
испугали зверя.

228. ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ

Зарница...

У окна стою...

Зарница...

И снова жду...

И тишина...

Тебе, наверно, даже и не снится,
как мне сегодня не до сна!

Безгромно содрогаются просторы.

Сто верст зеленого огня.

Не телеграммы —

все леса и горы

на побегушках у меня.

Я над тобой распахиваю небо

любовью — памятью — тоской.

Сейчас и двадцати не дали мне бы,

а я и в сорок — все такой!

Что делать,

мне теперь уже едва ли

стать современной и умней.

...О если б так высоко тосковали

о спящей дочери моей!

229. ЗАКАТ

Трубил закат в сияющие трубы,

и выпукло клубились облака.

Одно из них на миг явило грубый

вид полубога и полубыка.

И с этого пошло: сверкнула криво
чешуйчатая пасть, и на дыбы
взметенный конь, и тлеющая грива,
и двух чудовищ медленные лбы,
и глыбы мышц, и копыта на замахе,
и гнев — как свет из тучи — проливной.
Большие времена гигантомахий
мгновенно сотворялись надо мной,
высвечивая ненависть и горе,
любовь и ярость, страх и торжество.
Косматые куски фантазмагорий,
рожденные как есть из ничего,
играя перекраивали небо.
И — грозного восторга впереди —
я замирал и вздрагивал нелепо,
и вырывалось сердце из груди.

230. ДОВЕРЧИВОСТЬ

Вот ты груба, земля, шершава —
и так тепла, и так легка!
Пускай змея твоя шуршала —
душа на грудь тебе легла!

Лежит — малюсенькое семя,
кленовый носик, пусячок —
без вот такого опасенья,
что из того проистечет.

А ты нашептываешь глухо
ей что-то на ухо, душе.

И так щекотно ей, что глупо
не улыбаться до ушей.

Подспудных слов не различаю,
слова любые тяжелы.
Кукушка с глиняной печалью
твердит два слога тишины.

И посошок недообструган,
и спит на солнышке змея.
Вы так доверчивы друг с другом,
моя душа, моя земля!

231

Не только пыльный подорожник
был с первой капли пригвожден, —
дождь выбил сто из ста возможных,
пока не стал-таки дождем.

Листва взорвалась от оваций,
травы шумела, как могла,
из лога в лог передаваться
пошла гульливая молва.

Мрачнел один лежачий камень:
не вольнодумство ли опять
мелкокалиберным сверканьем
ладони листьев наполнять?!

1

Поутру упала речка
навзничь в камыши.
На воде дрожит колечко
от ее души.

От ее сердечной тайны,
канувшей на дно.
Плески всякие случайны,
а оно одно.

Ах, доверила бы мне бы,
что же там на дне!
Но молчит и смотрит в небо,
лежа на спине.

2

Ах, что за речка! Удираешь,
смеющаяся, от меня.
При всех изгибах не теряешь
ни трепетности, ни огня.

Легко проносишь перелески
по омутовой тишине.
На память щучьи переплески
раздариваешь быстрине.

Ах, что за речка! Что за чудо!
Кто выдумать такую смог?
Вся никуда, вся ниоткуда,
вся опрометью, наутек!

Шалишь попутно с ивняками,
покачиваешь камыши.
Наинейнейшими руками
обтачиваешь гольши.

И отражаешь человечка,
стоящего на берегу.
Ах, речка, речка...
Что за речка!
Нарадоваться не могу!

234

Не пытайтесь, не уснете:
ночь исходит свистом —
на одной дрожащей ноте,
медленным и чистым.

Ах, с восторгами июня
никакого сладу! —
Будто девочки-шалуньи
по ночному саду

все ходили да шутили,
вздумали смеяться, —
по свистульке проглотили
и дышать боятся.

235

Вспугнутый молчаньем соловьиным,
я очнулся, и очнулась ты.

Запах тишины по луговинам
пили, встав на цыпочки, цветы.

Брезжило ветвистое сознание,
приходил в себя рассветный сад.
В замысле едином — вместе с нами —
мир лежал, раскрытый наугад.

Значит, я не только существую,
ты не только — капелька весны, —
в вечную поруку круговую
на мгновенье мы вовлечены.

236

Медленных стад колыханье в июле.
Вольное лето — твое ли, мое ли?
Пчелы покинули душные ульи,
липы в звенящем весь день ореоле.

Во поле травы стоять не устали...
Молнии в лужах остыть не успели...
Мы еще небо до дна не испили...

237. КРАНАХ

Не зная ни страха, ни гнева,
стоят, улыбаются нам —
лукавая девочка Ева,
доверчивый парень Адам.

От них еще скрыто, что будет
и райское древо, и змей,
и яблоко, что их разбудит, —
настолько всех яблок вкусней.

И первое в мире признание,
любовь, и блаженство, и стыд,
и первое в мире изгнание,
когда их Господь не простит.

И те — материнские муки,
и тот — земледельческий пот,
и дети, и внуки, и внуки,
и весь человеческий род.

Его плодоносное древо,
привитое к райским корням...
Какая ж ты умница, Ева!
Готовься к бессмертью, Адам!

238. ЗРЕЛОСТЬ

Вот и август, и ночи хоть выколи глаз.
Только звездные ливни день ото дня злее.
На ненужных губах тишина запеклась.
Я один; наливаюсь молчаньем и зрею.

Я один; посредине вселенной стою,
сопричастно цветам, и деревьям, и звездам,
бессловесную душу уверив свою,
что как будто для этого только и создан.

А дозрею — сорвусь ли желанной звездой
или яблоком с трепетной ветки свиданья —
и меня словно не было...

Воздух густой,
августовская полночь, восторг мирозданья.

239. К ЯБЛОКУ

О яблоко с кружочком тени,
веселый сгусток сентября!
Двух самых высших тяготений
мир не узнал бы без тебя.

А вот любимая забыла,
она в слезах, я сам не свой.
Напомни ей, как это было, —
сорвись, сорвать себя позволяй.

И, если перестанет плакать,
самозабвенно подари:
ей — ослепительную мякоть,
мне — тайну зернышек внутри.

240. РИФМА

Ах, рифма... Это просто эхо,
повтор для путника в лесу.
Аукнешь — и пошла потеха:
не столько страха, сколько смеха,
а паутинка — на носу.

Захочешь снять — не тут-то было!
Слух от щекотки не спасти! —
Без романтического пыла,
синица, Моцарта свисти!

Ворчи, ручей, на встречный камень
(привыкший к этим нареканьям),
и, сосны, шумом великаньим

не заглушайте тишины...
Слова чуть-чуть напряжены...

А значит — длится паутинка...

241. ТВОРЧЕСТВО

Учусь писать слова.
Всю жизнь — как первоклассник!
А надо мной листва —
невнятный сонм согласных,
и птица надо мной —
певучая, как птица.
И радости земной
в словах не уместиться!

Уж я пером насквозь
бумагу пробуровил.
Природа вкривь и вкось
живет вне всяких правил,
И вся земля в цветах —
прекрасных и червивых.

А я — увы и ах!
И пальцы все в чернилах.

Не верю букварю
и прописям спесивым.
О жизнь, благодарю
за то, что мне по силам
весь век, не зная слов,
в пылу восторга злого
искать за слогом слог —
а вдруг да выйдет слово!

242

Так случается весною:
выйдешь в сад — навстречу темень.
Сразу радостным смятеньем
с головы до ног набряк.

Тополя листвою бредят.
Снегу только и осталось —
неопрятнее, чем старость,
между яблонь дотлевать.

Ты же выглядишь героем —
так еще немноголетен,
так еще ни тем, ни этим
запятнаться не успел!

Никаких тебе отметин,
никаких тебе реликвий...

К темноте глаза привыкли,
к ветру влажному душа.

И гуляешь нараспашку
по всему пространству сада:
небеса-то, небеса-то —
весневеют небеса!

243

Полдень. Поле. Разнотравье.
Усмежнись, прохожий:
разнотравье, равноправье
всякой твари Божьей.

Ветром стебли пошевелит —
солнышко по граням.
Ни цветочка не обделит
шмель своим вниманьем.

И кузнечiku не лучше,
скажем, чем улитке.
Одним словом — и живут же! —
Аж берут завидки.

В небе жаворонок вьется, —
отчего ж не виться?
Над землею вольно льется
радость очевидца!

Вокруг меня весь мир собрался:
 клонилось небо над ручьем,
 и ветер по вершинам крался,
 и лес не помнил ни о чем,
 и нити солнечные висли
 на каждом дереве, —

и мне

хотелось миг побыть без мысли —
 со всей природой наравне.

И все же, как я ни старался, —
 клонилось небо над ручьем,
 и ветер по вершинам крался,
 и лес не помнил ни о чем,
 и нити солнечные висли
 на каждом дереве, —

и я

не мог избавиться от мысли
 о связи неба и ручья.

245. ТУЧА НА ИСХОДЕ АВГУСТА

И медленна, и неожиданна,
 стрижей прижимая к земле,
 легла тяжело и лежит она,
 как злая ладонь на столе.

Без ливня, без грома, без молнии,
 не туча — мгновенная ночь.
 Такое по саду безмолвие —
 и окриком не превозмочь!

И, видя вселенную аспидной
(лишь хрясть об дорожку да хрясть),
жуки так и падают на спину,
не дать чтобы небу упасть.

Покроюсь пупырчатой кожей,
чуть шорох — и к дому бегом...
А туче — уже и неможется
ударить об стол кулаком.

246

Не пойму, откуда у меня,
выкормыша камня и железа,
эта нежность к синей кромке леса
к жаворонкам медленного дня?

Не охотник я, не рыболов,
не ботаник по образованию:
не ищу я точного названья
даже для тебя, чертополох!

Сколько б этажей ни возвели
посреди вчерашнего болотца —
есть еще на свете, остается
неучтенный краешек земли.

Отпыхтят, отстанут поезда,
и ничуть не стыдно перед веком
оказаться просто человеком,
да и то идущим никуда!

247. ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ

Поэма
(1946—1961)

Всем друзьям

ПОСВЯЩЕНИЕ

Опять грибы...

Опять остаться
в поэме этой без тебя.
Швыряет щепки наших станций
по ржавым волнам сентября.
И электричек перестуки,
и неба медленный простор —
те доказательства разлуки,
что изумляют простотой...

Со мною снова только насморк.
И тонет в вереске нога.
Он зааукать может насмерть,
мой дачный лес, моя тайга.
Такая у него акустика,
что, может, два каких-то кустика,
а эхо — эх! — вдоль каждой тропки,
из ничего переполох.
И сыроежки, словно кнопки,
к земле прикалывают мох.
И мухомор — как на рисунке,
и боровик — как напоказ.
Грибы — для солки и для сушки,
и просто для отвода глаз.

Всей легкостью перечислений
меня заманивает лес.

А каждый день — как день последний —
великолепствует окрест!

Всё каждый день одно и то же —
и каждый день в последний раз.

Кого благодарить, о Боже,
за эти празднества пространств?

За тишину тысячеустую!

За счастье, что при сем присутствую, —
дрожь сопричастности колотит,
догадка брезжит о родстве!

А между тем — пейзаж болотист,
влажнеет лоб, свербит в ноздре,
вот-вот сейчас чихну, избранник,
еще живущий на авось.

На многолиственных собраниях
давно отспорено, небось,
что это ясень, —

это осень,

ее мазок, значок, деталь...

Безлично грянуться бы оземь
и камнем заглядеться в даль!

1

Встает все позже солнце. Все ленивей
туманы уползают. А грибник
вышагивает знай себе по ниве,
по сжатой ниве к лесу, напрямик.
Идет, шоссейный лоск пересекая,

болотца огибает не спеша...
В резиновых бахилах — городская,
в чудаковатой кепочке — душа.
Корзинка на руке или кошелка,
и никому он больше не сосед.
Напрасно машут крыши из поселка
платками разноцветными вослед.
Напрасно тополь, сделанный из жести,
о чем-то ропщет, трудно трепеща.
На свете нет ни дачных происшествий,
ни умников, боящихся дождя.
Свежо в душе. И гулко. И безлюдно.
Началу дня осеннего под стать.

Облюбовав репейник неуютный,
пичуга то решится засвистать,
то оборвет коленце...

2

Смешно, конечно, думать, что едва лишь
поселок скрылся из виду, и ты
(едва раздвинешь первые кусты
и первую ногой поганку свалишь)
уже себя от времени отрек.

Хоть не шныряют вдоль и поперек
девицы —

с новостями вперемежку,
очкасто рассуждающие, как
не спутать мухомор и сыроежку;
и не лежат на снятых пиджаках
отцы семейств, являя животами
презрение к вопросам суеты;

и не чревовещают сквозь кусты
транзисторы, —

и все же меж кустами
(теперь-то каждый видит, каковы!)
замашки наши летние, увы,
живут себе, витают, как легенда,
бытуют, как мотивчик ходовой:
с готовностью вяясь над головой,
комар спешит случайного клиента
прирезать бритвой ультразвуковой;
и еж, обнюхав винные осколки,
с невинным видом, наряду с листвой,
дабы пресечь сорочки кривотолки,
нанизывает на свои иголки
два-три клочка статьи передовой
(так и живет — не только, видно, в баснях!);
и — что уже буквально курам на смех —
от скорлупы лишайник сам не свой.
Не сделать ли улыбочку кривой:
«Чем ближе центры мировой культуры,
тем больше выеденного яйца!» —
Но мимолетом твоего лица
коснется лист... коснулся... и нехмуро,
по-дружески тебя предостерег:
честней окурочек бросить, чем упрек!

3

Чем дальше в лес, тем больше не до смеха.
Сухой сучок чихнет под сапогом —
направо и налево брызнет эхо
и меж стволов припустится бегом.
Слежавшаяся в нос ударит пряность —

листва, гнилушки, хвоя, мох, грибы, —
отпрянешь... Не успел еще воспрянуть, —
от подбородка, поперек губы,
вдоль по щеке, раздваивая зренье,
прилипчиво струится до виска
и силится испортить настроенье
осеннее коварство паучка.

Ах, страсти вы, мордасти! Не пора ли
позавтракать? Садись на пенек.
По главной муравьиной магистрали,
у двух твоих несоразмерных ног, —
большое, в обе стороны движение:
с травинками, с хвоинками снуют...
И вдруг — война, безмолвное сражение,
сцепившись, богу душу отдают.

Вьнь из кармана хлеб; пусть будет черствым,
пусть даже непосоленным почти —
блаженству! Всухомятку если — черт с ним!
Ломай зубами, корочкой хрусти.
Что для тебя лишь миг неуловимый,
для маленького мира — целый век.
Наполовину зряч, наполовину
слеп, как бывает только человек, —
не убивайся попусту. До срока
как хочешь, так и дышишь — ты в лесу.
Тут самое обидное — сорока,
а злое — паутинка на носу.

4

А поженки такой лукавой формы, —
корзинку наземь, да и сам в траву!

И все уже старанья смехотворны
не кануть с головою в синеву.
Забудешься... В высоком мире сосен
такая тишь; движенья сентября
так медленны... И вдруг поверх тебя
устало шевельнувшаяся осень
широкий затевает разговор.
Не по листве — мурашками по коже
он катится, ни на што не похожий,
сам по себе, всему наперекор —
без никаких миноров и мажоров...
Есть в смешанном смятении вершин —
угодно если Пушкину — и шорох,
и шум, коль на некрасовский аршин,
и фетовский наинежнейший шепот.
Но есть еще и то, как ни крути,
чему людской, излишне трезвый опыт
пока не в силах имени найти!
Сходя на нет и нарастая снова,
на языке вертящееся слово
живет в ушах, и мы не устаем
искать его, считать своей судьбою...
Здесь тысяча деревьев, и любое
по-своему звучит и о своем —
на свой, особый лад.

И вся дубрава
возносит гимн из самых разных труб...

Вот бы и нам одно такое право:
поэтам —

как деревьям на ветру б!

Денек-то разгулялся — встань и праздную
 природы сарафанную красу!
 То красный гриб, то лист обманно красный,
 то просто зайчик, вспыхнувший в глазу, —
 хитрят, перемежаются... И снова
 от рожицы березовой — к сосновой,
 из ельника — в осинник через гать
 тебе бродить, и верить, и искать,
 размеренными взмахами корзинки
 скрывая нетерпение свое.
 И вдруг — на трепет худенькой осинки,
 на сладостный полунамек ее,
 об корни спотыкаясь, чертыхаясь,
 всего себя навстречу растворив,
 всем телом, всей душой — в черничный хаос...
 И — пережить напрасный свой порыв...
 Вздохнуть. Смахнуть благую каплю пота.
 Мир. Тишина. Букашка самолета
 ползет беззвучно к солнцу. И грибник
 не устает... Сто разочарований —
 и, может быть, один какой-то миг:
 уже в глухой глуши, в тьмутаракани —
 взглянул — и все, и глаз не отвести!
 Боровички, все тело напрягая,
 потеют от усилий подрасти,
 и почва — крепко сбитая, тугая —
 им уступает нехотя, и мох
 по-стариковски подавляет вздох.

И впрямь, откуда ни возьмись — как будто
 из детской сказки вычитана вслух, —

старуха... Только в тапочки обута,
а так любой встречал таких старух.
Застиранный платок, грибы в подоле,
и палка, и какой-то корень, что ли,
за ремешком — заваривать настой. —
Идет-бредет, переставляет ноги.
В чем держится душа! Но ты постой,
не торопись уйти с ее дороги.
Ты: — Здравствуйте, мамаша! — И она,
пошамкав, с присвистом: — Спасибо, внучек! —
А в глубине морщин ее дремучих,
как две росинки (вот тебе и на!), —
внезапные, спокойные, живые
глаза... И что, казалось бы, с того,
но, увидав их, — может быть, впервые
ты в некое поверишь волшебство.
Расспрашивать не надо — все известно!
Была (неделю без году) невестой,
отплакала, отпела, а потом
скандалил муж (не возрази, не охни!),
и мерли дети, и коровы дохли,
и жили мухи, оглушая дом. —
И каждый раз (и в тапочках теперь уж!)
под эти своды шла она без слез:
не Богу, так самой себе поверишь...
А сверху солнце наискось лилось,
и солнечными пели голосами
лесные птицы, и курилась мгла...
Так и умрет с нетленными глазами,
сама не понимая, как жила!
Ну, а тебе — посетовать на то ли,
что, мол, грибы червивые, идти,

сочувствовать ее нелегкой доле,
сшибая мухоморы на пути?
Потом забыть за пестрой заварухой
удач и бед, а в старости тупой
себя увидеть в зеркале...

Старуха,
глазами поменяться бы с тобой!

7

И неудобней под ногами корни,
и ненадежней под рукой стволы,
и ветви с каждым шагом непокорней.
Идешь среди сгущающейся мглы,
и сосны низкорослые бесстрастно
блестят кровоподтеками смолы.
Дыханье голубой болотной астмы
сжигает их живьем, и лишаи
невозмутимо, вкрадчиво и властно
впивают губы серые свои.
Мрет сухостой, и вкривь и вкось торчащий.
И ни тропинки нет, ни колени,
и на ходу закуриваешь чаще,
и папоротниковый косогор
обходишь неприязненно, как чащу,
где ящеры ржавеют до сих пор.

Трудны первоисточники природы.
Стоят диалектические воды,
и нечленораздельной тишиной
застигнут воздух. Листья пообвисли,
и птицы — без единой звонкой мысли,
да собственно, и птицы ни одной.

Не паутиной, тишиной сплошной
облеплен ты. У ног твоих рыжея,
обрубленная корчится траншея,
до наших дней успевшая долезть
(а ну как это, может быть, и есть
доисторическая чья-то шея?!)
и черепом оскаленный блиндаж... —
На отсечение голову не дашь,
что там и притаился скользкий ужас —
один для всех времен, для разных рас...
И только ты подумал — и как раз
огромный гром окрестности потряс
и раскатился, на голову рушась.
И воды содрогнулись, и должны
поляны пререкаться с полигоном,
и падают ошметки тишины...

Стоишь средь гула только что не голым,
и все твои трагедии смешны!

8

Прислушайся: во мхах, по мелколесьям
плоть лопается от тепла, и плесень
вспузыривает землю. Преет, прёт
из-под корней, из пней — плетенки верхом,
грибами полон рот — невпроворот
всех видов и пород! В прыщцах, в кавернах,
(бежать!) ополоумевшая плоть
(куда?) вспухает от самодовольства
поверх себя. За слоем слой — и во сто
раз разрослась! Не то что прополоть, —
не вытоптать... Уж папоротник попран;

сил не достанет соснам худоребрым
сдержать всераспиравшую спесь
сплошного мяса; порох пышет в спорах... —
Так полчища беспалых и бесполох
планету вспучат, — миг один, и весь
мир

разлетится вдребезги, как термос,
земля забудет имя, и над ней
поднимется — лишенная корней —
лишь атомных грибов несоразмерность!

9

Звенит в ушах. Тень сторожит меня.
А где-то, воскрешая правду дня,
сквозь все эпохи, через все пределы,
из самой беспредельности земной —
кричит петух; кричит как обалдельй,
пять раз подряд кричит, как заводной!
И я — живу... И мирообладанье
опять переполняет. Впереди,
вокруг меня бессмертными плодами
лес возникает заново. Иди
и фимиамом «Беломорканала»
глуши зарвавшееся комарье...

Другого и не надо бы финала
тебе, повествование мое!
Вот только жаль, не доверху корзина,
еще не вдосталь нашатался ты,
и осени краса — неотразима,
а человек охоч до красоты!
Пусть журавли зовут, пусть с каждым годом

земля трудней, пускай все меньше дней, —
по жизни, по единственной, по ней,
до гроба убежденным пешеходом,
меж волчьих ягод и гадючих пней —
ступай, мушиных не страшась нападок,
пугая куропаatok-психопаatok,
и на прощанье эхо из-под пяток
разбрызгивай вовсю!.. И нипочем
не верь тому, что лучшее ты прожил;
нахлестывают ветки пусть по роже, —
знай заросли
расталкивай плечом!

Всеволожская — Ленинград — Комарово

ДЛИННЫЙ ВЕЧЕР

1961—1964

Посвящается Наталии Охотиной

248. МОЛИТВА

Разнотравье... солнце... благодать...
воля... всех ко всем благоволенью... —
Господи!

 Дай силы совладать
с проливным восторгом говоренья!

Прикажи — и онемею!
Покажи, что права не имею
говорить вот так вот — задыхаясь
от желанья видеть только небо,
слышать только жаворонка в нем...
Господи!

 Верни меня, потребу
в первозданный коммунальный хаос,
пахнувший постелью и жраньем.
Окуни в корыто перебранок,
чтоб повадно не было; ключи
отбери отдельные; под краном
голову на кухне намочи.
Научи не грызаться —
облегчи, о Господи, казаться
ничего не любящим на свете,
так вот и живущим не любя!
Все мои стихи — хотя бы эти! —

А сын тем временем чертей
уже из хлеба лепит.

И телефонный вдруг звонок,
уверенный, негрубый.
И ты со всех несешься ног,
облизывая губы.

Я щелкну сына, чтобы ел,
чтоб занимался делом.
Вернешься — и повеселел
твой взгляд, помолодел он.

Пройдешься этак озорно,
с пристуком по квартире:
— А не пойти ли нам в кино?
...А правда, не пойти ли...

250. ТВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Еще немного, и привыкла бы
душа ко всеобщим полетам!
Сначала вымыслы, как выхлопы,
и забытье — автопилотом.
Сама с собою слово за слово,
глухой восторг многоступенчат,
и вот — туманностями заслана —
земля ничтожней, чем бубенчик!

Оставлен мир косматой косности,
его стандартные резоны.

И ты не в комнате, а в космосе,
где все обиды невесомы.
И независим промельк времени,
и явь и сон неразличимы,
и не убиты измереньями
действительные величины.

Тебе уже — как рыбы жалобы,
сигналы всех радиостанций!
И от себя ты убежала бы,
чтоб только людям не достаться.
Ни перед кем не виноватая,
перед собою лишь в ответе...
...О как ты горько плачешь, падая
лицом в подушку на рассвете!

251

Зайдем-ка, милая, на рынок —
за гордостью!

Пополним наш запас!

Ведь нежностью — кормить бы только рыбок,
для них такая пища в самый раз!

И вот в мундире гордость, с пылу с жару,
вкрутую, всухомятку, соус фри...

— Возьму-ка я еще себе, пожалуй!

— Ну что за церемонии, бери!

Пусть даже соль рассыплется при ссоре, —
не плюнем через левое плечо. —

Была бы гордость, можно и без соли!...
Не хочешь ли, душа моя, еще?

252. ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ

Весна размолвок и нескладиц...
Тебя, себя ли обману? —
Что скатерть пышную разглядить,
что в кухне шарить одному! —
Опять, уже какую ночь нам,
с глазами белыми лежать,
теньям бегущим потолочным,
захлебываньям водосточным
бесчувственно принадлежать! —

А там — за окном, за домами,
за городом —

ночи свои:

сшибаются лоси в тумане,
от нежности мрут соловьи.

Заря —

и волочится злее,

жесточе крыло косача.

И, самозабвенно шалея,
лоснясь, содрогаясь, звуча —

любовничающие твари
трепещут, ликують, зовут. —

Весна как весна, и едва ли
другое придумаешь тут!..

А тут...

Ах, если б сократили
нам эти пролежни ночей! —
Твой полувздох — такой ничей —
страшней звонка в пустой квартире...

253. РЕВНОСТЬ

Ничем не попрекаю... Ни о чем
не спрашиваю... Ничему не верю...
Я отпираю дверь своим ключом,
потусторонне в зеркале кривею
и — круговой поручкой вовлечен
в ночную тишь и неузнаванье —
отгадываю комнату свою. —
Твое белье сияет на диване
бесстыдством и наивностью...
стою...

ты окликаешь сонными словами...
со мной бок о бок шкаф глухонемой...
слепые руки тянешь... и честнее
забыть бы все обиды...

Боже мой!

Спи... Я не здесь... Я ничего не смею...
Ты спи... Я не пришел еще домой!..

254

Рук твоих ночные превращения!
Невзначай расплещешь два крыла, —
и опять перед тобой ни с чем я:
гордость, горесть — все отобрала!

Нищий...

Нет, ни шопотом, ни жестом
не ответствуй, не благодвори!..

Чуть мерцают в изумленье женском
детские припухлости твои.

Их обидеть — слаще святотатства:
Но еще бессовестней —

опять

ребрышек сквозь пух не доискаться,
до глубин твоих не доласкаться —
чуда твоего недопонять!

255

Ты принесешь глаза,
ты принесешь слова,
ты плечи принесешь,

и мне в ладони

осмелишься наивно положить.

Я задохнусь,

приму твоих щедрот

восторг и муку,

и сладостно почувствую,

как меркнут

глаза,

как зябнут плечи,

как слова

слипаются в бессмысленное слово.

Отчаянно поверю, что во мне —

подобье Бога в первый день творенья!

Да будет свет!..

Я не люблю тебя...

Я не хочу любить...

Но не из глины же любимую лепить?! —
Как притвориться мне, что я настолько глуп,
как двери притворить —

и доискаться губ,
и от истоков уст пуститься к устью ног...
Как обмануть себя, что я не одинока?!

.....
Что мне слова твои? Усталостью нежна,
ты сложишь крылышки, жена и не жена.
Игравшая с волной, присядешь на волну. —
Я обману тебя — себя не обману!

...Присядешь на волну — игравшая с волной?..
Уйди...

Нет, погоди!

Еще побудь со мной.

258. ВОРОН

(песня)

Мы с тобою — крылья ворона,
крылья сильные, смоленые.
Равнодушно смотрим в стороны,
навсегда соединенные.

В тесной клетке не колотимся —
ширь бездомная, бескрайная.
Только на ночь вместе сходимся,
как воры — на дело тайное.

Вся любовь-то наша, господи,
ветру встречному, упорному.
Что же делать, если гордости
нам с тобой досталось поровну!

Крылья злые, крылья скорые,
друг на дружку ли оглянемся?
А подстрелят хоть которое —
и умрем, да не расстанемся!

259. ДЛИННЫЙ ВЕЧЕР

О, разве мальчик этому причиной!
Две маковки, нетрудное дыханье
и мозг, прохладно зреющий во сне, —
сгустившийся жестковолосый случай,
он весь с тобою наш

и, может статься,
когда-нибудь безжалостно поймет,
что в мире нет единственных решений.

Дай бог ему любви; дай бог таких же
высоких сил, а то и безрассудства
такого же! И этот вечер дай, —
помноженные на сто тысяч взрослых,
сидим с тобой — в окне кусочек неба
и столько крыш на свете, столько крышек
захлопнувшихся: знай неси свой крест
под видом телевизорной антенны.

...И вздыбленные судьбы этажей!
Как разгадать по окнам разноцветным

оттенок счастья собственного? Как
не видеть в окнах голую одну
двухспальную двусмысленность уюта?
О, фиговые листья занавесок,
ни краем глаза чтоб не причастились
их бедных тайн
такие ж бедняки!

Застенок счастья...

Вот сидим с тобой
и, никуда не деться, постигаем
всю бездну одинаковости. Спят
все мальчики на свете. Неотступны
четыре стороны вокруг, четыре
стены...

Вода и хлеб...

А вечер длится,
как пятый акт, и каждое окно —
как монолог о жизни и о смерти.

260—264. ПЯТАЯ ЗОНА

1

Электричка отгудела.
Тишина во весь размах.
Иногда большое дело —
заблудиться в трех соснах.

Разговоры наши глуше,
цвета глаз не угадать.
Стой под деревом и слушай,
как нисходит благодать!

Мы лежим и уважаем
муравьиные права.
Мы растениям подражаем,
мы струимся, как трава.

4

...А у деревьев тоже лица...
Аукайся, герой, свисти —
им ни в усмешке не скривиться,
ни даже бровью повести.

Бесстыдно пользуемся этим,
играем в женщин и мужчин.
Авось когда-нибудь заметим —
смола сползает вдоль морщин.

А каково-то им, косматым,
прижав ладонями виски,
весь век следить за нашим братом,
деревеня от тоски?!

5

...И пройдут большие годы
над мгновенным нашим днем.
Мы поднимемся с природы,
хвойный мусор отряхнем.

И коровку божью сдунем,
оправляя обшлага.
За плечами май с июнем,
до разлуки — два шага.

Обернемся напоследок:
будто смотрит кто-то вслед.
Тихо-тихо льется с веток
навсегда весенний свет.

265. ЗЕМЛЯ

Газета проглочена залпом —
и запах, и шорох, и свет
разъело, разъяло внезапным
предгрозыем, и воздуха нет
земле — с ее ростом растений,
с полетом ее сыновей...
Бессильный, ничтожный, раздетый,
лишь яростью слышу своей,
как зреют тяжелые ядра
в беременных смертью вещах...
...А небо — по-вешнему ярко,
а в море — по-вечному яхта,
и девушки в легких плащах.
.....
Не плачу, а скорбно ликую:
земля поднимает в века
росой до краев налитую
заздравную чашу цветка,
с кукушечьей щедростью годы
роняет поверх маеты...
Могу и не быть, я не гордый. —
сияла б, земля моя, ты:
все страхи мои опрощая,
мой прах обращая в росток!..

И душит в минуту прощанья —
не жалость, а трудный восторг.

.....
И если — низвергнется небо
врасплох ледящей жарой,
и весь я начну распадаться,
начну испаряться живой, —
забыть ничего не успевший,
ничем уже ставший почти, —
пронзительно вспыхнувшим мозгом
в последнюю долю мечты
увидю —

 прибрежные чащи,
и море, и парус вдали,
и правнука легкое счастье,
и трудное счастье земли.

266. ДЕРЕВЬЯ

Я знаю, что деревьям, а не нам
Дано...

Н. Гумилев

А дело идет к февралю...
Вчерашнего сада унылость...
Я сплю. Я, наверное, сплю.
И снится мне...

 Что же мне снилось? —

Шараханье ног и копыт.
Повальное бегство в Египет!
И тополь обидой кипит,
береза и плачет, и гибнет.

И липу, безумную дочь,
сквозь ветер ведут на аркане. —
Деревья бежали всю ночь,
лицо закрывая руками.
О беженцы!

Сад опустел.

Все голо и все нелюдимо...
Я вздрогнул, я сел на постель,
я понял:

и ты уходила. —

Моя уходила любовь,
твое уходило доверье...
А вот засыпаю —

и вновь

мне снятся деревья, деревья!

267. ВОКЗАЛЫ

Как на столе чернильница —

вокзал

теперь в моем вседневном обиходе.
Я говорю лишь то, что подсказал
вокзал.

Не по своей пишу охоте,
а по закону дальних поездов,
по графику январских расставаний.
Передаю служебными словами —
тот полувздых
перед глухонемой бездной
вагонного окна;

весь воздух тот железный,

среди ночных огней. За семафорами —
обрыв последней памяти. Невинным
ауканьем гудков по луговинам
просторы начинаются, которыми
тянутся, недотягиваться...

Верст
рукам не хватит вытянуться! Город
у горла рву: бессмысленностью звезд
пространство набивается за ворот...

.....
Не чьих-нибудь —

моих

вокруг вокзала
перронных слов сугробы намело.
Когда я умер, женщина сказала:
«Как это не похоже на него!
Он так меня любил,
так целовал мне руки,
и вдруг...» —

...Я возвращался босиком,
разгоряченный подвигом разлуки, —
и вдруг — сугроб!..

Я пнул его носком,
хотел перешагнуть по-великаньи,
и вот — стою...

Шершавым языком
сквозняк долизывает камни,
и, Господи, как мало значу я!
Носильщики, машины, толчея —
наильники, мужчины, ты ничья... —
слова смерзаются, сметаются в сугробы,
проходу не дают...

А ну, давай
перешагни через себя, попробуй!

Последний под носом трамвай...
И где-нибудь последнее над улицей
счастливое окно...
О ты, кому бедуется!
Люби и умирай,
и все равно —
люби!..

268

Встречались мы и расставались.
И, повторенные стократ,
шаги ночные раздавались
вдоль набережных и оград.

А улицы все не кончались,
тянулись от зари к заре.
А пристани всю ночь качались
и в августе, и в сентябре.

А люди жили и кружили,
и накружиться не могли:
дружили — и не дорожили,
любили — и не берегли.

И отсветы электросварок
прохватывали их насквозь,
швыряли их на своды арок
и распинали вкривь и вкось.
И плакали они, и пели,
и умирали от любви.

...Остановить бы все в апреле!
Попробуй-ка останови...

269. ОДИНОЧЕСТВО

Который день одна и та же
тоска на ужин!
Среди ночных многоэтажий —
ну кто мне нужен?
И кулаки мои оббиты
о дверь какую?
Четырехглазый от обиды,
сизу, кукую.
На кухне затевают свару
от лютой скуки.
За стенкой мучает гитару
дочь потаскухи.
Девчонке, вроде, и немного,
всего пятнадцать,
но как такой вот длинноногой
не запятнаться?
Старухи шаркают за дверью.
Любая — сводня...
...Ах, почему я так не верю
тебе сегодня!
И не хочу твои печали
считать моими!
И не могу пожать плечами,
как в пантомиме!
И даже выругаться грубо
не удается!

И сердце в тишине —
как рыба
об лед
бьется!

270. ТАК СЛУЧИЛОСЬ

Так случилось...
Права разрыдаться
нет ни у тебя, ни у меня.
Медлим, обреченные расстаться,
посредине голубого дня. —

На вокзале?
 Может, на вокзале...
На углу?
 Наверно, на углу...
Все, чего касаемся глазами,
рассыпается в золу.

Нам ли уберечься от распада?!
Я и ты —
 и вдруг ни я, ни ты...
Ах, какая тонкая преграда
отделяет нас от пустоты!

Будет все: деревья, ветер, птицы,
город и цветы, и облака
полдень будет так же суетиться,
полночь будет так же глубока.

Петься и любиться будет людям...
и вино... и мы навеселе...
Верю, даже счастливы мы будем,
только *нас* — не будет на земле!

Не посмеем помнить друг о друге...
Может быть, когда-нибудь потом —
встретимся,
и ты уронишь руки,
шевелинешь непоправимым ртом.

Гордые твои когда-то губы —
милые... о чем они?..
Стоим
со своей неистовостью глупой,
со святым неистовством своим.

На вокзале?
Может, на вокзале...
На углу?
Наверно, на углу...
Все, чего касаемся глазами,
рассыпается в золу.

Как сейчас: в безумных клубах дыма
посредине голубого дня...
... Ну, иди!
Вовеки будь любима!
И не надо плакать... за меня.

Свою любовь — как лодку чью-то —
я отпихнул, швырнул весло...

И совершилось античудо:
все здравым смыслом поросло.

Высмеиваю счастье плакать,
цветные жгу карандаши.

И — день за днем...

И — тугоплавкость
прикрытой галстуком души.

О, я умею веселиться!

Своей доступностью дразня,
девиц неоновые лица
плывут беззвучно сквозь меня.

Ни клятв, ни умопомрачений, —
я их жалею, как сестер.

И лишь в закат ежевечерний
вхожу ужасно, как в костер.

И на подушку, как на плаху,
слагаю голову свою.

И снится мне: опять стою
перед тобой

и тихо плачу!..

272. К НЕЖНОСТИ

За окном темнеет, скоро девять.

Ни о чем не помнится, ей-ей!

Как ей жить, бедняжке, что ей делать,
вдовствующей нежности моей?

Вдовствующей...

Слово-то какое!

Черный бархат, бледная рука...

Сядет у камина и щекою
к пламени подластится слегка.

Скоротать вдвоем бы этот вечер,
погрустить, поплакать... Только вдруг,
раз уж я тебя очеловечил,
нетерпенье выпустишь из рук.

Пять минут на сборы... к черту ужин...
настежь дверь... на улице ни зги...
Утром будет след твой обнаружен
где-нибудь в предместьи тоски.

Факелы... доспехи... гул погони... —
Третий век показывают мне
отпечаток маленьких ладоней
на случайном камне-валуне.

273

Вот женщина, которую люблю.
За нею следом вьюга — у-лю-лю.
Фонарь скрипит... А переулок спит...
Вот женщина — глоток моих обид!

Горячий и соленый мой глоток!
А переулок спит... Фонарь скрипит...
Заиндевел у женщины платок.
А под ногами — лед моих обид.

Полварежки всего-то и тепла...
Скользи до следующего угла...
Ах, если бы забыть, как ты любила:
вот падаешь, а было два крыла!

274

Сделайте мне операцию,
вырежьте память!
Пусть на костыль опираться
буду...
 в пивной горлопанить
буду...
 чужими губами
девку мусолить...
 и в бане
парить культяпку души...
Только и света на свете —
дети!
Господи, как хороши!

275. МУЗЕЙ

Сто рублей имею, сто друзей. —
Все равно: не комната — музей!

Приходите, я экскурсовод. —
Вот чулок нештопаный, а вот
пузырек, оставленный мне в дар:
валерьянка с ландышем — нектар!

Не экскурсовод я, скопидом. —
Я скопил с огромнейшим трудом
сто пылинок, видевших вблизи
каблучок в царапинах, в грязи.

Я не скопидом, я старожил. —
Я века все это сторожил,
Верный страж, я страшен, я оброс...
Отчего? Полегче бы вопрос!

Старожил, тире — энтузиаст.
Я богат, беру, кто сколько даст.
Сто друзей имею, сто рублей.
Нету денег — рюмочку налей!

Сто рублей имею, сто друзей...
И тобой
 основанный музей!

276

Глухо у нас во дворе в декабре.
Целая вечность еще до развязки.
А в коридоре, в мышинной дыре,
споры и ссоры, песни и пляски.

Так и живу себе, так и молчу.
И на прогулке
может похлопать меня по плечу
каждый фонарь в переулке. —
Мол, разлюбезное дело — не спать!

Челюсти сводит: заснуть бы...
И до рассвета вникаю опять
в чьи-то хвостатые судьбы!

Там свои шлюхи, свои дураки,
даже мыслители, даже евреи...
Так и живу себе...

И — ни строки! —
Этак хитрее!

Сердце сбивается — не беда...
На то и сердце, чтобы сбиваться!..
Самое страшное,
это когда
стихи начинают сбиваться!

277

Э. Линецкой

Подумать, так всего-то и делов,
что перышком царапать по бумаге!..
А по углам растет болиголов,
висит туман, как вечером в овраге,
булыжник вместо сердца,
и в ушах
бессвязный звон, зубная боль вселенной..
Сию и понимаю: дело швах!
По тишине хожу четырехстенной.
Все словари бессильны мне помочь,
трепещут крылья маленьких молчаний...
В сто тысяч глаз следит за мною ночь:

с булыжником над пропастью печали
стою,

туманом памяти обвит,
заполонен зубным знобящим звоном...
А ночь в окне — усмешечку кривит:
попробуй-ка сложи по всем законам
свою судьбу, затисни в душный ямб
живую душу,

зарифмуй эпоху!..

Из пушек по одним лишь воробьям
бьют будто бы?!
Молись-ка лучше Богу!

Другого не придумано — молись,
тупой солдатик ядерной идеи!..

Передо мной — стерильно белый лист,
и трупики окурков холодеют
в пепельнице...

278

Ах, какая тоска! —
Как треска —
замороженная...
как доска —
колесом искореженная...
как часовенка брошенная...
Так же к Богу близка!

279. БАЛЛАДА ТИШИНЫ

Быть может, смысла лишена
моя баллада эта.
Вернулся поздно. Тишина.
Не зажигаю света.

Источен шорохами дом,
ночных исполнен бредней.
Покряхтывает шкаф с трудом,
дряхлающий в передней.

И, продолжая за сверчка,
тщету традиций отчих,
вращаясь в ящичке, слегка
пощелкивает счетчик.

Грызут обои разных стен
один и тот же клейстер.
И половицы ноют с тем,
чтоб я стоял на месте.

С высот нисходит на басы
в трубе стесненный воздух.
В себе копаются часы,
не думая о звездах.

Диван, кораблик мой ночной,
шуршит плешивым плюшем...
...А вдруг
 кромешной тишиной
я сам врасплох подслушан?!

Блестит на дворе непогода
и в лестничной клетке поет.
Забытая липа у входа
всю ночь рука об руку бьет.

И, как из того полушарья
заехав на дикий бульвар,
машины по комнате шарят
бестрепетным отсветом фар.

Вот полка, вот шкафчик аптечный,
любовный сюжет на холсте,
и кто-то, ненужный и вечный,
распят на оконном кресте.

281. ДЕВОЧКА

Н. С.

Нас было шестеро.
Мы были все похожи
на шесть теней вокруг одной свечи.
Мурашки темные по коже,
слепые веки горячи, —
так сопределен истине последней,
так беззащитен, так высок
был девочки четырнадцатилетней
доверчиво дрожащий голосок.

Хранили мы стесненное согласие:
и впрямь как будто на столе
свеча сияла трепетною ясью —
вот-вот и мы останемся во мгле.
Она еще не понимала,
как надо петь... И сам я вдруг забыл,
как надо жить, как жил, как было мало
того, что было, и того, кем был!

Я причастился света и печали,
исполнился почти святой —
той — окруженной тихими лучами,
утраченной доверчивости той.
И не было ни пасмурного тела,
ни круглосуточной земли!..

Нас было шестеро,
и девочка нам пела —
как мы уже и плакать не могли.

282

Друзей не благодарят,
друзей не дарят благами.
Им говорят, говорят —
налогами облагают
всю ночь — налогами тайн,
предчувствий, смятений.

Хоть вовсе не рассветаи,
пока две затекших тени

не двинутся на стене,
сизой от разговоров!
А чтоб не окостенел
наказанный нами ворох —
откроем окно: парят
ласточки под облаками...

...Друзей не благодарят,
друзей не дарят благами!

283. МЕЖДУГОРОДНЯЯ ТИШИНА

На улице ливня весь день лило, —
в переговорной сухо и тепло.
Как будто бы аквариумы в ряд
кабины застекленные горят.
И кажется: сидящие внутри
улыбчиво пускают пузыри.
Невозмутимо двигаются рты
среди глубоководной глухоты.

Телефонистка вспомнит обо мне, —
и вот уже в кабине я, на дне.
Безмолвием тяжелым оглушен,
от века на мгновенье отрешен.
Попробуй-ка шепни на всю страну!
Потешно плавниками шевельну:
а вдруг бессильна тоненькая нить
с твоей душой мою соединить?!

Твой голос наплывает издали
через ночные шорохи земли.

Навстречу пробивается, треща
под натиском пространства и дождя.
Вдоль насыпей, и просек, и дорог,
и водных магистралей поперек,
поверх междугородней тишины —
две очереди слов напряжены.

Я слушаю, хватаю воздух ртом
в аквариуме этом золотом.
Плыву к тебе — и ты ко мне плыви!..
Живем на двух концах одной любви.
Две трубки, два захлеба второпях —
один железный привкус на губах.
И нету слов моих или твоих —
одно гуденье века на двоих.

ЧУДО В ТОЛПЕ (1958—1967)

ПЕРЕКРЕСТОК, 1958

284

Крыши, крыши и крыши,
Выше — стотрубный дым:
черный — от солнца рыжим,
белый — стал золотым.

Стены, стены и стены.
Где-то на самом дне
в полдень живу без тени,
вечером — тень при мне.

Окна, окна и окна.
Плачут там и поют.
Я до костей промокну,
глядя в чужой уют.

Люди, люди и люди.
Вот уже сколько лет
кто-то кого-то любит,
кто-то кого-то — нет.

На перекрестке наскоро — до скорого!..
 Пусть будет скорое не скорым, —
 не унижаться же до сговора!

Ладонь в ладонь — всего желая доброго...
 Пусть будет доброе не добрым —
 другого слова не подобрано!

И вот — затурканы, затолканы,
 не зная, встретимся ли толком...
 А город сплошь истоптан кривотолками
 о нас с тобой!..

Ну, конечно, это иней —
 утолщенье линий!
 Изморозь
 на камнях заискрилась.
 И весь мир оцепенел.
 И Нева свинцовая.
 Греет ноги, пританцовывая,
 милиционер.
 Помашу ему рукой —
 глянет неприветливо:
 мол, кого, такой-сякой,
 жду у сада Летнего?
 Ничего не скажу, —
 трамваям указывай!
 Словно голубя, держу

я тепло за пазухой.
А быть может, и не птица
у меня под пальто —
просто сердце хочет биться,
несмотря ни на что:
несмотря на иней,
несмотря на изморозь...
...Будь же легкой на помине,
если вызвалась!

287. ПЕРВЫЙ СНЕГ

Может быть, Леночкой,
может быть, иначе звали,
розовой ленточкой
память мою завязали.
Белая улица,
день невозможно субботний.
Тень, моя умница,
всюду со мною сегодня!

Что-то прекрасное,
верю, со мной приключится!
Верю — и праздную,
будто бы снятое с неба
звонкое зимнее
солнце —
 под левой ключицей...
Радость — без имени,
просто от первого снега!

288. В ДОРОГУ

Возьми...

Не белесую пасмурь,
не парус поверх испарений,
не пристань у моста,
не взрывоопасный
на Марсовом шорох сирени,
не привкус, —
не приступ тоски,
и не поступь
беспутную — пито ли, пето,
не память
на то, чего нету,
все просто:
проститься — как платье в дорогу
отпарить...
Пускай только тронется поезд, —
да будет —
не почерк непрочный,
не адрес напрасный,
да будет с тобою
мое удивленье, молчанье и радость!

289. МАЧТЫ

Е. К.

Улица твоя начинается мачтами.
В низкое небо впечатанные, —
выйдешь из дому — все маячат они,
возвращаешься — все молчат они...

А ночью море им снится яркое.
Сняться их подмывает с якоря.
Ночью — слышишь? — вскипают яростно
паруса в три яруса!

И солнце, и ветер, и дальние страны,
и страхи, и страсти, и странствия...
Даже самым немножко странно,
какая душа у них страстная!

— Ах, мы не камни, чтобы терпеть,
чтоб на приколе стариться... —
...А тебе? Что снится весной тебе,
голенастая моя скиталица?!

290—292. ЛЕЖА В ТРАВЕ

1

Я в чистом поле под ракитовым
кустом живехонек лежу.
Крот деловито навскидывал
сухой фонтанчик на межу.

Две мимолетные капустницы
к траве приспустятся и вновь
поднимутся, и вновь припустятся,
играя в страстную любовь.

Ромашка щурится и вроде бы
о чем-то думает, как я. —
И голубеет воздух родины,
гул самолета затая.

Быть с тобой... Не окликом, не отзывом, —
 просто быть... Душа моя не ропщет.
 В летоисчислении березовом —
 как трава — живу на ощупь.

Тишина перебирает пальчиками,
 солнцем перепачканными,
 и щеке щекотно, хоть и не с чего.
 Зябко передергивает плечиками,
 ветром покалеченными,
 и ничто мне больше не обещано.

Я не двигаюсь, и в камень
 превратиться нет уже запрета мне.
 Быть с тобой... Не взглядом, не дыханьем, —
 просто быть... Не трепетней, так преданней!

Разве я знаю название цветка?
 Встал надо мною, налево-направо
 глянул, наивно и радостно
 поднял зеленые руки, —
 взмах — и не руки, а крылья,
 взмах — и метнулся на цыпочках к небу,
 взмах — и лицом просиял,
 самозабвенно уверен,
 что это именно он дирижирует
 всем шевеленьем и шелестом луга,
 всеми кузнечиками, всеми жаворонками,
 вкрадчивым рокотом самолета,

и облаками, и тишиной...
Полно! Да разве я знаю название
радости этой зеленой? Посмею ли
так вот, — не помня вчерашнего,
не помышляя о завтрашнем, — так вот
самозабвенно увериться,
что без крылатых усилий моих
нет шевеленья и шелеста жизни?

293. КОГДА НЕ СПИТСЯ

Я когда-нибудь снюсь тебе, нет?
Скажем, в комнате плаваю, или
прохожу сквозь предмет,
выхожу из предмета,
или струйкою солнечной пыли
фехтовать начинаю со шкапом,
о котором забыли, —
он свечкой закапан,
он затхлого цвета;
... или даже пускай не героем,
а старьевщиком в кухне
(все ведь можно во сне!),
и глаза мои, видишь, потухли,
и мешки под глазами набухли,
я беру твои бедные туфли
по сходной цене —
«мы их лучше зароем!» —
говорю (все ведь можно во сне!)
и подмигиваю —
хоть подметку да выговорю!..

... или, может, совсем дураком
я за девочкой бегаю
и бебекаю —
б-бе-е,
и мемекаю —
м-ме-е,
а тебе (я себе на уме!)
разобщенным грожу языком...

Я когда-нибудь снюсь тебе, да?
Пусть не так, как пустыне — вода,
расстоянию как — провода,
расставанию — слово «когда»,
но когда-нибудь
как-нибудь
снюсь?
Пусть как счастьем — беда,
мертвый пусть —
не боюсь!..

А боюсь, что не снюсь никогда...

294. ЭЛЕКТРИЧКА

...С некоторых пор
бессовестно укачивать меня,
как раньше, электричка перестала.
Не ересь детективная, не смех
картежников, не болтовня попутчиц
тому виной.
Одной лишь неприкаянности ради

за черное стекло смотрю — и вижу
себя и сквозь себя огни, огни.

Вблизи, вдали —
проносятся, проходят, проплывают
через меня. А я все остаюсь,
приговоренный к жесткому сиденью
среди вагонной одури, без права
курить.

Не попадая в рукава,
в конце концов
я встану, выйду в тамбур, закурю.
В распахнутую дверь через минуту
ворвется ночь. Какая-то платформа
во всем своем безлюдстве, с фонарем,
замедленно рискнет остановиться
передо мной.
На двух тенях метнусь, как на ходулях,
и дух переведу.

Полсотни окон
бесшумно проструится по ногам
в другую зону. И над полустанком,
на месте непредвиденных созвездий,
которых жду,
возникнет снова

раз и навсегда
компостером проколотое небо.

Собака где-то лает — не услышу.
В фуражке красной женщина смеется —
не загляжусь.

Шершавинку обратного билета
нащупаю в кармане и пойму,
насколько все идет по расписанию.

Айда, дружок! Смелей переходи
на противоположную платформу!
Есть гордый смысл —
в полупустом вагоне возвращаться,
искать скамейку — ту, что потеплей,
с прекрасно обезличенным лицом
за черное стекло смотреть и видеть
себя, огни,
и молодые губы, до которых
не дотянуться...

НОЧНОЕ ТАКСИ, 1961

295

Встал на камень, встал на камень —
вижу самый круг земной!
Даль искромсана сверканьем
в стороне твоей лесной.

Там лучи с дождями рубятся.
Страшно ангелы кричат.
Лиловеющие рублища
тучи понизу влачат.

Ах, зачем оно открылось,
это небо надо мной!
Вот стою — и вся бескрылость
громоздится за спиной.

296

— Обнаружь меня! — сказала птица. —
Вот я, глупый, слышишь — над тобой!
Ну еще на ветку-две спуститься
я могу по лестничке витой.

Я могу! Ты видишь, я не трушу.
Я звеню, завидую, зову.
В листьях отыщи меня — и в душу
я к тебе спрячусь, как в листву.

Отыщи! Мне очень это надо.
Слышишь ты, опомнись, оглянись!
Я в зеленом колоколе сада
бьюсь, как неуловленная мысль.

Улови меня! —
и улетела...

297. НАЧАЛО ГРОЗЫ

Ты рядом, ты за ближним поворотом
моей судьбы... Пускай исподтишка
за ярусом надстраивают ярус
чреватые грозюю облака.

Деревья глухо сдерживают ярость.
И ты — всем удивленьем большеротым —
недосягаемо близка.

Но вот огромный ветер скомкал воду.
И, может быть, с восторгом наравне —
стрижиный ужас, из небесной бездны
пронзительно метнувшийся к волне.
Весь мир тебе дается безвозмездно!
Будь молнией, не верь громоотводу,
обрусься на голову мне!

298. ДЕРЕВО

И шумело дерево дождем,
и беречь нас дерево умело...
— Переждем?

— Конечно, переждем!

Пусть бегут, какое наше дело!
Мы стоим, на шепот перешли
посредине плещущего мира.
За дождем не видно, что вдали,
закурю — как будто и не сыро.
— Дай дымка, — ты просишь, — дай дымка! —
Улыбнешься, выплывешь из дыма...
И легка для дерева, легка
наша тишина,
необходима!

299. НОЧНОЕ ТАКСИ

Сквозь огни, сквозь туман
мы идем, гулѣны,
сам подкатывает к нам
ночничок зеленый.

Легкий домик твой, такси,
ни богат, ни беден!
Ты фонарик погаси,
мы сейчас поедем.

Ездит в домике любой,
он для всех удобен.
Вот сейчас мы с тобой —
постояльцы в доме.

Постояльцы, поезжалыцы,
покатальцы просто так...
Ты, шофер, над нами сжался —
не разговаривай, чужак!

Не разговаривай, чужак, —
все совсем не просто так!

Это кажется, что просто
все бывает у людей...
...Мчат навстречу нам, по росту,
фонари с площадей.

Фонари... фонари...
отсветы по лицам...

ничего не говори —
пусть все это длится!
Этажи... этажи...
Лишь ладони потуши
о мои ладони...

Убегают две души
от одной погони!

300. УТРО ХОРОШЕГО ДНЯ

Я лишнего наговорил, не верь!
Пришел домой — пустынная свобода.
Всего и остается мне теперь,
как если бы я не был здесь полгода,
раскрыть окно...
Я знаю — и твое растворено:
мы на одном рассветном виадуке...
Ты спишь... На берегу большой разлуки
бесстрашно спишь...
Спи... Между нами столько крыш!
Спи... Столько неба между нами,
что не могу — не о тебе!
Пронизанный насквозь твоими снами,
прописанный в ночной твоей судьбе,
дышу — высоко и нетрудно,
без даже облачка стыда...

...Ах, только бы любить тебя всегда,
как в это утро!

Караульщик снов твоих, не сплю.
 Мне сейчас бы колотушку в руки!
 Пусть услышат, как воров ловлю,
 как люблю, — услышат пусть в округе.
 Жаль — нельзя: ты еле-еле спишь.
 Даже капель, падающих с крыш,
 я боюсь и голос подающих
 электричек...

Двери на засов,
 и не сплю — твоих пугливых снов,
 слов твоих счастливых караульщик!

А мы не устаем
 все время быть толпою:
 и не вдвоем с тобою —
 на свете мы вдвоем.

На все четыре стороны,
 навстречу всяким случаям —
 пока не арестованы
 тупым благополучием.

Купе или каюты,
 транзитные уюты.
 Чужие номера,
 комфорта до утра.

Двугривенный в кармане,
вокзальное тепло.
Не обращай вниманья,
что с туфель натекло!

Весь белый свет распахнут,
зачем же видеть пятна?
Вон даже хлебом пахнет
из булочной бесплатно!

303

Проснуться...

А в комнате праздник:
такое сияние снега!
Рябина за окнами дразнит
замерзшими брызгами с неба.

А может быть, и не проснуться,
настолько все получужое.
И вдруг за окно потянуться
своей еще полудушою.

И смутным еще полужестом
почти что коснуться рябины...
...Не так это часто у женщин:
проснуться,
а рядом — любимый!

304. ЛЕГКАЯ ПЕСЕНКА

Окраины, окраины...
Развалины зимы...
Неужто на трамвае мы
сюда завезены?

Сквозящие кварталы,
стандартный уют.
Грачи орут картова,
что ордер не дают.

А нам того не треба,
мы выйдем за дома —
здесь сколько хочешь неба
дается задарма.

Бери любой участок
и стройся, и живи.
Не будет здесь несчастных —
все только по любви.

И что такого, если
на миг предположить:
не здесь ли, ах не здесь ли
и нам с тобою жить?!

Окраины, окраины...
Как будто у весны
нечаянно украли мы
глоток голубизны.

305. ГОРОД НА РАССВЕТЕ

Еще намокшие сады
в молчании высоком.
Еще трещат на все лады
будильники из окон.

Еще развозят теплый хлеб —
и хлебный запах следом.
И светофор еще нелеп
своим пристрастным светом.

Еще такая высота
в незамутненных лужах.
Еще такая чистота
на улицах и в душах.

И что-то родственное в том,
как спрашиваем спички
и как, в трамвае сидя, ждем
бегущих с электрички.

Кондукторша еще добра —
ведь надо всем добраться!
У всех в седьмом часу утра
и равенство, и братство.

Покачиваюсь в полусне,
молчат мои соседи.
И снится будущее мне —
как город на рассвете.

306

Уляжется грохот и скрежет,
уснут пешеходы, —
окно твое наискось брезжит
сквозь годы и годы.

И узник тцеты и шумихи,
я издали вижу:
огонь поднимается тихий
все выше и выше.

Средь ветра, над каменной кручей,
в крошечном просторе
горит горячо и горяче —
и горе не в горе.

Как будто давнишнего лета
застыла зарница;
как будто вопрос без ответа
все длится и длится;

как будто бы музыка где-то,
далече-далече...
Всего-то в окошке и света —
от встречи до встречи!

Заглядывать в чужие окна,
 на фонари загадывать...
 Шатанья за полночь — не догма,
 но и кровать — не заповедь!
 Броди до света, береги
 забывшееся за день.
 Две бедных тени (впереди
 одна, другая — сзади!) —
 под стать душе раздвоенной —
 по городу с тобой.
 Бездомное родство его
 прописывает боль
 то где-то посреди моста,
 то на пустынной площади...
 А в горле косточкой — звезда, —
 ничем не прополощите!

Нужна ли городу заря?
 Нужнее круг от фонаря,
 нужнее редкий пешеход,
 нужнее дворник у ворот,
 нужнее долгий, хоть умри,
 из века в век, из года в год
 час ожидания зари.

309. ГОРОДСКОЙ РОМАНС

Два кусочка города, живем
гордые — в асфальте дождевом,
бледные — в неоновом раю,
тихие — разлуки на краю.

Прячутся в деревьях фонари —
ты моя подсветка изнутри.
Мечутся экспрессы по стране —
ты щемящим отзвуком во мне.

Гривенник я в воду уронил —
тонет возле берега звезда.
...Не навек ли нас соединил
ужас разведенного моста?..

310

Довольно помудрил —
пора и помудреть.
Имел я пару крыл —
двуногим буду впредь.

Я выйду из-под звезд
навстречу фонарю.
На разведенный мост
взгляну — и закурю.

Лети, дымок, лети
в обнимочку с душой!

Еще идти-идти,
проспект большой-большой...

311

Чем твои наполню горсти?
Что возьму себе на память?
Приходи сегодня в гости,
дождь по стеклам барабанить
я заставляю для тебя,
лампу я заставляю книгой
от тебя, чтобы дремала...
Так уж разве это мало —
вечность вместо октября?!

Приходи сегодня в гости,
награди меня обидой.
Все слова уже — как гвозди:
столько в стены эти вбито
слов, торчащих вкривь и вкось...
Хочешь, я заставляю флейту
для тебя свистеть, как в роще?
Кажется, чего бы проще —
душу вымолчать насквозь?!

312

Сухие листья жгут.
Идем с тобой садами.
Безвинной казни ждут
свидетели свиданий.

Доверчивость тех дней
карается законом.
Лишили их теней,
изъяли птичий гомон.

Октябрь лениво-мглист,
и небо опустело.
Деревья отреклись
и топчутся без дела.

И сад средь бела дня
сквозь дым неузнаваем...
Нет дыма без огня,
уж мы-то это знаем!

313. СТАНСЫ

...А кроме этой родины, дружок,
что ты еще имеешь за душою?..

Е. Кумпан

Не плачь ты, о слышишь, не плачь ты!
Не качаются мачты,
не кончаются сроки, —
проспекты — как вечные строки:
чтобы ими шататься,
чтобы ими шептаться.

Размолвки, невстречи, разлуки...
Разведите нам руки,
опустите нам веки, —
все было, все есть, все навеки:

и твои перекрестки,
и мои папироски.

И наша ль печаль безголоса? —
Грохот вместо вопроса,
ветер вместо ответа,
но кто-то аукнется где-то
не стихами моими,
так стихами твоими.

О наших стихов перекличка!
Так одна электричка
окликает другую...
А я тебе руки целую,
будто можно проститься —
и такое простится?!

314—316. ПЕТЕРБУРЖЕЦ

1

Воротник у человека
дыбом поднялся.
Сколько до дому — два века
или полчаса?

Ни врага тебе, ни друга, —
угол незнаком.
Стосезонная дерюга
шита сквозняком.

Только вьюги белый порох
вспыхнет на пути.

Есть сюжеты, от которых
некуда уйти.

Вечно длится узнавание
сердца своего.
Переулочек без названия,
скользкое родство.

Оступившееся слово
липнет к чугуну.
Вдоль стены узкоголово
тень свою метну. —

Триумфальная крылатость
чудных лошадей.
Ледовитая разъятость
черных площадей...

2

Проголосуй, отщелкни дверцу,
усядься, адрес пробаси.
Мерещится ли что-то сердцу
в ночных возможностях такси?

Автомобиль! Впрягайся в муку
и, взмылив честные бока,
мчи из конца в конец разлуку,
любовь — в тупик из тупика.

Повадка русская известна:
...гони, ямщик! лихач, лети!..
Любая выбоина — бездна,
дыханья не перевести.

Пусть даже бденье светофоров
не позволяет спутать век, —
в сто лошадиных сил твой норов,
душа, отчаян твой разбег!

Своим набитым глазомером
поймай *зеленую волну*
и на мост, этаким манером,
и в небо, если не ко дну...

3

Морской конек, трезубец,
русалочки хвосты.
Пешком люблю, безумец,
ходить через мосты.

Настилы под ногою
гремучие гудят.
Перила под рукою
зыбучие зудят.

Через перила свешусь —
и вижу тень свою.
Ненастливую свежесть
вдыхать не устаю.

Полжизни отражая,
сплывает навсегда
тяжелая, чужая,
ужасная вода.

Все глубже — кадр за кадром —
засматриваю вниз.

С дистрофиком блокадным
давай перекивнись!

Аукнись пешеходу,
которому и впредь
в историю, как в воду
текучую, смотреть!

317

Печальный голос твой, он где?
Кругами по какой воде
расходится? Какое эхо
его качает вдалеке?
И для кого горчинка смеха
оттаяла на языке?

318. В ЧУЖОМ ГОРОДЕ

Памяти Эдит Пиаф

И бульвар, и канал,
и фонарь надо мной...
Я впервые попал
в этот город ночной.

Почему же он мне
так щемяще знаком —
тенью счастья в окне
и размытым гудком?

И бездомностью слов,
и бездонностью глаз...
Город гулких углов
и лоснящихся трасс.

Чьей-то первой тоски,
чьей-то поздней любви...
Только знай что такси
задыхаясь лови.

Только знай что в туман
вдоль асфальта шагай,
только знай что в карман
кулаки опускай...

Ни гроша за душой,
только голос в окне,
и от славы чужой
холодок по спине.

319

Я все чего-то жду:

письма

или звонка — обмолвку чью-то.

И так легко сойти с ума

от ожиданья чуда.

И так легко найти в душе

веселую свободу...

А сердце —

через пень-колоду,

и рушится на вираже!

320. ВСТРЕЧА ВО ВРЕМЯ РАЗЛУКИ

Опять январь какой-нибудь. Морозно.
Крючок с подпития вгрызается в кадык.
Я гость.

И время за полночь.

И поздно
признаньями вывихивать язык.

Но говорю... Нет сладостней науки:
по памяти, врасстяжку, чуть дыша,
дома и мостики разменивать на звуки,
забыв, что место действия — душа.

Тот переулок — ах, куда лежит он!
Кислинка зимняя, виясь, влетает в рот.
И двести лет щемящ и неожидан
канала бессловесный поворот.

Какой грамматикой, каким произношеньем
я не унижу город мой в снегу?!
И дереву — с его ночным движеньем —
как про себя, приезжий, не солгу?

Я задыхаюсь... Усмехаюсь... Надо
сказать бы «сад», а говорится — «суд».
Послушай, не из этого ли сада
когда-нибудь мое дыханье унесут? —

Прямая речь! Она еще слетает
с январских губ,
обмолвкой голубой

клубится в воздухе и на ресницах тает.
И нам с тобой — всегда как нам с тобой.

ДВОЕ, 1967

321

Я стал богат, а был я беден.
Однажды в лютой час ночной
душа сказала мне: — Поедем,
куда глаза глядят, со мной...

Ах, видит Бог, я столько бредил
свободой, небом, тишиной!

322

Не поймешь, мы откуда.
Не ответишь, куда.
Мы стесняемся чуда,
в этом наша беда.
А ведь после абзаца
белоглазой тоски
чем он мог показаться,
мир с зеленой строки?!

Чуть взглянули пошире —
как сподобились мы .
все, что вечного в мире,

взять хоть на день займы.
Эту землю вполнеба,
солнцелюбия дрожь...
Ну а то, что без хлеба
мы остались, — ну что ж!

Разве было не вдоволь
нам тропинок во ржи,
нашей доли медовой
со шмелиной межи,
и лесного смиренья,
и беспамятных глаз?..
Благо соль удивленья
сохранилась у нас!

323

Присмирей, доверься, слушай,
мхом подножным не шурши.
Высота — особый случай
в смутном опыте души.

Мы и сами в эту зиму
настоялись на ветру.
Ты сестру мою осину
за свою считай сестру.

Неказиста, кособока
и не так уж молода,
а душа летит высоко, —
ах, куда летит, куда?

Мимолетный призывк счастья
в горьких листьях растворен.
Вроде сказки, шелестящей
с незапамятных времен.

Вроде дождичка грибного
с незапятнанных небес...
позабудь, что завтра снова
будет вечности в обрез!

324

Так вот и вышли к реке,
так и вступили
в эту купель налегке,
так вот и пили —
эту, глоток за глотком,
чистую волю,
это, цветок за цветком,
чистое поле,
это — вразлет по холмам —
чистое небо,
эту — столь внятную нам —
чистую негу...
... Капли с локтей и с колен,
выход на сушу.
Только и можем взамен —
чистую душу.

Дождем застидало долины,
 а нас только брызги слепили.
 Сгущенней, чем запах полыни,
 был дух прибываемой пыли.
 И все через миг просыхало;
 эпоху сменяла эпоха:
 вселенная благоухала
 от каши до чертополоха.

Он выполнен был как загадан,
 восторг ежедневного мира;
 особенно перед закатом
 в груди от восторга щемило:
 он плыл, простираясь без края,
 над нами, слепцами своими.
 Горели кресты, не сгорая,
 во славу его и во имя.

Большое согласное пенье
 с вечерних земель поднималось...
 Все наши с тобой откровенья —
 такая пустячная малость!
 Такая бессмертная милость —
 мгновение наше любое!..

Уж лучше бы все это снилось,
 а то — расставаться с тобою...

Край отчий. Век трудный. Час легкий.
Я счастлив. Ты рядом. Нас двое.
Дай губы, дай мокрые щеки.
Будь вечно — женою, вдовою.

Старухой — когда-нибудь — вспомни:
так было, как не было позже. —
Друг милый. Луг нежный. Лес темный.
Звон дальний. Свет чудный. Мир Божий.

ОСТАНОВИСЬ В ПОТОКЕ (1962—1968)

327

В мире пахнет паленым,
в мире жгут Человека.
Не возиться ж миллионам
с единицами века!

До того ли, голубчик,
в наше подлое время?
Даже лучше без лучших:
все равны перед всеми!

Ну, а правы ли, нет ли —
это старая песня.
Крутит мертвые петли
самолет в поднебесье.

Сквернословит планета,
отражаясь в бутылке.
Холодок пистолета
у нее на затылке.

328

Оклеветан птенец вороной.
Нету выдоха вдоху.
Как засушливый шелест песка за спиной —
ощущаю эпоху.

323

Как червивое бденье травы,
как ночного пространства чреватость.
Тяжелей воровства для ползучей молвы
эта наша крылатость.

Я не помню блистательней лба,
безупречней полета.
Ненасытна слепая пальба
из болота.

Плавно падает перышко; влепят и мне
оловянную порцию славы.
Все, кто спятить сумел в огнестрельной стране,
были правы.

Каково на прицеле кривом!
А эпоха по-русски
вытрет губы смазным рукавом
и приступит к закуске.

329. 30 МАЯ 1960 ГОДА

В тот день болела вся Москва.
Отцы и дети — все на матче.
На синем небе ни мазка,
и флаги реяли на мачте.
И мимо вратаря влетал
мяч прямо в сетку,
и больные —
за неимением литавр —
в ладони били жестяные.

Вздыхал в сто тысяч человек
весь стадион, рождая ветер...

А в это время —

Человек,
один-единственный на свете,
в подушках затихал.

Один,
последний, может быть, здоровый,
он воздуха не находил.
И камфарой, как катастрофой,
несло из комнаты.

Жена
любимую не допускала
к нему.

Сгущалась тишина
от койки до Мадагаскара...
И слез никто не утирал —
кого теперь врачи обманут...
А Человек — не умирал,
он просто вымирал —
как мамонт,
вмерзал в историю Земли.

Ревела за окном эпоха:
два-ноль, торпедовцы вели,
и было, в общем-то, неплохо.

330—331. СТОЛИЦА

1

Оставьте при себе печаль —
что старомоднее печали?
Легчай, любовь моя, легчай,
как бы тебя ни отягчали!

На жирных праздниках земли
пляши, моя душа, юродствуй!
Все, что мерещилось вдали,
свелось к футбольному геройству.

Любить свой век — веселый труд:
свистим, пьем пиво, балаганим.
И — ангелы, как мухи, мрут,
и камень —
не страшней, чем камень.

2

Да разве я не здешний?! —
На-ка,
прими, автобус, мой пятак.
Но выясняется, однако,
я сыт не так и пьян не так.

Я чувствую себя шпионом —
не так терплю, не так люблю,
ни сват, ни брат густым миллионом,
не кум, тем паче, королю.

Нет, не какая-то обида
на милицейские свистки,

но неуменье хоть для вида
выть не по-волчьи —
по-людски!

332

Г. Плисецкому

Так вот оно — спасение души!
На ежедневно стынущем пейзаже
приплюснутые небом этажи
и облака, приправленные сажей.

Ковчег крупнопанельный неуклюж.
Не отсидеться во всемирной луже!
Туз бьет туза, кого-то бьет коклюш,
бьют морду, бьют посуду, бьют баклуши.

Я тоже — до ларечка — добегу.
В снегу бульвар, ворона на снегу
и в воздухе злорадный дух бензина.
Заводят ум за разум тормоза.
Кому-то жаль меня невыразимо,
а я вернусь и вновь зайду с туза.

333. С АНГЛИЙСКОГО

Мне однажды приснилось: я стал молодцом —
хитрецом,
гордецом,
наглецом,

очень важным лицом,
с очень важным лицом,
все трепещут — и дело с концом.

Вслед за этим приснилось: я стал циркачом —
силачом,
ловкачом,
трепачом,
не грущу ни о чем
и смеюсь ни о чем,
я и думать забыл, что почем.

А под утро приснилось: я стал муженьком —
добряком,
простаком,
тюфяком,
я грешил табаком
и дружил с кабаком,
а теперь лишь вздыхаю тайком.

Я проснулся, глаза кулаками протер,
и своею судьбою доволен с тех пор!

334. ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК

...Как живется вам — здоровится —
Можется? Поется как?..

Цветаева

Я петушок на спице,
негордый и незлой.
Мне спится и не спится
меж небом и землей.

О, как мелки отсюда,
с постыдной высоты,
все горя и все чуда,
обиды и мечты!

И зов твой с поворота
доходит до меня.
Но в механизме что-то
заело у меня.

Восходы и закаты
куда как хороши!
Испорченный локатор,
вращаюсь без души.

Вдыхаю гарь и копоть,
зло не считаю злом,
и где уж там захлопать
заржавленным крылом!

Соседи утром выехали. Я
не брезгую ничейностью жилья.

Стул, раскладушка, пепельница, — вот
достаточный для счастья обиход.

Кому уютец выхоленный, мне —
полузасохший кактус на окне.

Да синева трехстворчатая, да
портьерой незадутая звезда.

Да из-под ручки шариковой — вкось —
чернильное бессмертье на авось.

336—338. ТРИ ПОСЛАНИЯ НА НЕВУ

1. ДРУГУ

Мы обменялись городами.
Не обманулись: плен на плен.
Мы наши судьбы скоротали.
Что делать? —
Только встать с колен.

Такая малость — встать над бездной,
найти себя и город свой!
Сияет облако над бедной,
безумной нашей головой.

Опомниться... Еще не поздно,
еще не подло...

Знаешь сам,
пока врагами не опознан,
безликим кажешься друзьям.

И нас убьют еще... Будь весел!
Не так, так эдак... Просто — будь!
Есть одиночество и ветер,
от рифмы к рифме крестный путь.

Кому еще нужны мы, кроме
любимых женщин по ночам?
А запах нашей трудной крови
щекочет ноздри палачам.

2. ВЫСОКОЙ СТАЕ

Не все ли вам равно — суббота
ли, вторник, сколько вас и где? —
Четырехстенная свобода,
и при свече — как при звезде.

Уют сегодняшней изъеден
блокадной памятью...

Явись

из пены благостынь и сплетен
готическая тяга ввысь!

Все выше лесенка, все уже,
и вот — как по небу уже!
И тем крылатей ваши души,
чем злее камень на душе.

Пускай безденежье и насморк,
и с виду все как у людей, —
о стая лебедей!

Прекрасно
отяжелевших лебедей...

Я тоже вскидываю руки,
но не лечу,
а волочу
по темным улицам разлуки
крыло, пришитое к плечу.

3. ГОРОДУ

Все будет позже...

Я прохожий.

И я один в твоём саду.
Иду и — Господи ты Боже! —
пустой скамейки не найду.

С какую щедростью последней
колени женские слепят!
И разрастанье желтой сплетни
безличнее, чем листопад.

Лоснится лень, дурит беспечность,
сиротство комкает платок. —
Всех обесцвечивая,
вечность
струит безумный холодок.

Простая, в сущности, простуда,
сырая формочка в руке.

Ни горя впереди, ни чуда
в толпе, ни выхода к реке!

Хожу садовыми кругами
с полуулыбочкой кривой, —
и листьев больше под ногами,
чем было их над головой.

339. ПАМЯТЬ

Быть несчастным не умею,
слыть счастливым не хочу.
Буду слушать ахинею,
дам похлопать по плечу.
Только память, — перед нею
теплю тихую свечу.

Дни проходят без мгновений,
длятся месяцы без дней.
Чем живу неоткровенней,
тем слова мои бедней.
Только память, — на колени
встать не смею перед ней.

Не заплачется в кино мне,
не взгрустнется у Невы.
Все бездумней и бездомней
под знаменами молвы.
Только память... — но, увы,
ничего-то я не помню...

340. МОЛИТВА

Пока еще не выветрен судьбой
и под ногами глиной не размазан, —
я говорю с тобой, или с Тобой...

Там, в высоте твоём,
он слышен ли, мой голос?

За тридцать событий от меня
шумит твоя счастливая вершина,
все, кроме поднебесья, отстраня...

Там, в высоте твоём,
какой сегодня ветер?

Посередине лет земных стою,
со всех сторон обиды и недуги
слетаются на голову мою...

Там, в высоте твоём,
о чем поется птицам?

Я не прошу ни хлеба, ни воды, —
ты, или Ты, дай место у подножья
твоей недостижимой правоты...

Там, в высоте твоём,
что обо мне ты знаешь?

341

Я тороплюсь — дай угол для любви.
Кошунствую — дай для бумаги уголь.
И — чтоб не слышно было, как на убыль
идет наш век — часы останови.

Нет, не потом, когда умру в четверг.
Сегодня, посреди застенных сует,
пока над головой еще твистуют
и свет от сотрясения не померк.

О как стандартно людям повезло!
Юродствует прожорливое зло,
играет новоселье чье-то горе.
Перескажи хоть тысячу историй —
у нас одна история на всех!..
Успею ли? —
Восьмиэтажный смех.

342

Вам — лестница, нам — пять минут тепла.
Вам вверх взмывается, нам топчется на месте.
Вам хлопается дверью честь по чести,
нам хлюпается носом мал-мала.

Вы хмуритесь, в прихожую вошед,
мы балагурим в вихре снежной пыли.
Для вас постель — о если б вы любили!
Для нас метель — любовнейший сюжет!

Нет, не завидуем — жалеем... Знали б вы,
насколько дышится острее и откровенней!
Мир состоит из двух местоимений —
по ту и эту сторону любви.

Я не хочу твоей тоски.
Еще чего не легче!
Я выбегу, схвачу такси —
как женщину за плечи.

И — в ночь, во тьму, в побег, в полет!
Свободой оскоромлюсь...
Навстречу город весь полег,
разбрызгивая скорость.

Я вырвусь камнем из пращи!
А ты твердишь про счастье. —
Прощай-прости, прощай-прости:
я точка в пространстве!

Один на весь на черный свет —
и нет меня на свете!
Радиомачты тянет вслед
двадцатое столетие.

Огни сползают с мокрых щек.
На память бы с собой их!..
А счетчик — только щелк да щелк
без всяких перебоев.

344. АВТОПОРТРЕТ

Неужели вон тот — это я?
Ходасевич

А я, наверное, смешон, —
ты не находишь? —

Я как будто
среди одетых — нагишом
и босяком — среди обутых,
и холодно, и стыдно мне,
а я ничуть не озабочен,
чтоб отвернуть лицо к стене
от неминуемых пощечин.

Пусть на меня еще никто
не показал, но то-то смеху,
что я не просто без пальто,
не застегнуть забыл прореху,
не спяну попугать горбом
решил, — а даже вроде назло
не утыкаюсь в стену лбом,
как бы подлить желая масла.

С высокомерием шута,
в богоизбранничестве некоем —
держу усмешку возле рта
вполоборота перед веком
и, неудачник средних лет,
подозреваю, что, быть может,
одет ли я, или раздет,
так никого и не встревожит.

345. СИДЯ В СТОРОНЕ

Когда галдят застольицы кругом,
а я молчу (на языке другом), —
какие вдруг проскакивают искры
любой квартиры наискось, что мне
полумгновенным этот век небыстрый
мерещится?! —

Сидящий в стороне,
я словно бы смотрю сюда — отсюда:
беззвучны рты и не бренчит посуда,
нет повода врага считать врагом
и друга числить другом — как на фото,
где ни души знакомых...

А кругом —
в ушах першит, настолько криворото
застольное витийство:

...охренеть...

...без мыла влез... работа не медведь...
...что я имею с этого... на пушку
берешь... кондрашка стукнула... не будь
ты тряпкой... псу под хвост... на всю катушку...
...в рот пальца не клади...

(Не продохнуть!)

...в копейку встанет... в гроб вгоню... как в воду
глядел... —

Самодовольней год от году
на малогабаритном языке
себя имеют высказать! —

Сквозь время,
поверх добра и зла — накоротке —
проскакивает искра: озаренье

слепит, подобно Божьему бичу...
...Смотрю сюда оттуда —
и молчу.

346. РЫБНАЯ ЛАВКА

Забудь попробуй рыбных лавок
мемориальный холодильник! —
Среди безгласных и безглавых
трезубцы, воткнутые в бок.

Шибает роскошью севрюжкой,
томит излишеством икры.
Бдят продавцы во всеоружье,
внушая правила игры.

Слова полны благого смысла,
вальжны жесты у вельмож.
Взглянул на цены бы — и смылся,
а тут умри — не увильнешь!

Кольчуга блещет, а не фартук,
в чешуйках краги до локтей.
У них заливки — для инфарктов,
от них не может быть детей!

На них не может быть потопа,
чума — видали и чуму! —
Нет ничего на свете, чтобы
неясно было что к чему.

Знак высшей доблести за ухом
торчит, очиненный остро...
Ну как, собрался ли ты с духом
спросить селедку грамм на сто?

Что им хула твоя и слава, —
у них позиция тверда:
владеть землей имеют право,
а ты, как рыба — никогда!

347

Я иду сутулый, но прямой,
а кругом косые взгляды ваши:
неприлично — брюки с бахромой,
срамота — ботинки просят каши.

Каша... А за столиками жрут.
Лимонад... А перед каждым водка.
Доблестный у вас, конечно, труд,
у меня же — так себе, работка!

Ах, и мне б костюмчик на заказ,
крашеную девку напоказ,
тонкую усмешку, толстый бас,
но едва взгляну на ваши лица —
чтобы души выросли у вас,
кто-то ж должен, думаю, молиться!

Долго ль мне гулять на свете...

Пушкин

Где он ходит, мой предатель?
Кто предаст меня и как?
Перетрусит ли приятель?
Расхрабрится ли дурак?

Иль — миляга-парень с виду,
пухлощек и яснолик —
утолит свою обиду
возомнивший ученик?

Иль привыкший, словно плотник
(план есть план, е.... мать!),
тридцать сребреников потных
дважды в месяц пропивать? —

На орла гадай и решку,
за какие сел грехи.
Не за ту ли за усмешку?
Не за эти ли стихи?

Не увижу больше сына...
Ландышей не принесу...
Плачет верная осина
о гуляющем в лесу!

Вот рифмач,
возомнивший,
что он не рифмач,
но поэт.

Вот ловкач,
возвестивший,
что он не ловкач,
но артист.

Вот палач,
убедивший,
что он не палач,
но герой.

Вот стукач,
не простивший,
что он лишь стукач.

За руки белые меня
берут, как хулигана.
Две гимнастерки, два ремня,
два вежливых нагана.

На все четыре сапога
подкована свобода.
Я сразу вырос во врага
перед лицом народа.

Меня сгибают пополам,
пихают в черный ворон.
А вся Россия по углам
за нищим разговором.

Толкует про житье-бытье,
пьет мертвую со скуки,
пока мне именем ее
выкручивают руки.

351. РАЗГОВОРЫ ОДНОГО ДНЯ

— Зря теперь не садят, а попался —
кто ему поверит, подлецу! —
Старичок улыбочиво пытался
показать, как хлещут по лицу.

— Во, чего придумали: в изгнание
ехать за любовью, — ни черта?! —
Женское брезгливое всезнанье
возле вызывающего рта.

— Правдолюбцы! Нет, чтобы тыщонку
хапануть, хоть было бы за что... —
Сплюнул и провел свою девчонку
в царственно наброшенном манто.

352—353. ДВЕ ПЛОЩАДИ

1. КРАСНАЯ

Свято место пусто не бывает.
Лобное — тем более в чести.

Русская земля не забывает
на костер достойных возвести.

От стыда денница кумачова...
Спасу нет от галочья опять...
Каково-то в чине Пугачева
вам на Красной площади пылать?

На главнейшей площади России,
посредине родины своей!
А кругом — как лезвия, косые
взгляды из урочищ и степей.

А кругом — Емельки злые дети
с ярыми охулками во рту...
Вы горите, вы за все в ответе,
даже за чужую срамоту.

Даже за кривую душу рабью, —
дальняя, а все ж-таки родня.
Разрастайся зарево над хлябью,
правда только чище от огня!

август 1968

2. ДВОРЦОВАЯ

Конечно, Росси не имел в виду,
развертывая циркульную оду,
намек на Колизей! — страна во льду,
достаточно, обычаем в угоду,
пить водку и ловить свою звезду.

Что это гений — поняли потом,
а игрища последовали сразу.
Ареной стала площадь. В золотом
глумленье труб заученную фразу
рабы провозглашают мертвым ртом.

Ликует плебс, беспамятен и лют!
Не на песок, где завтра будет сухо,
но — сквернословя — кровь они прольют
и на асфальт; для площадного слуха
нет разницы, расстрел или салют.

О циркулярный пафос площадей,
язычества глухонемое эхо!
А сам потомок римлян — не злодей:
на розвальнях катался ради смеха
и даже, говорят, любил людей.

354

Смирение меж двух ладоней...
Веселость бунта в кулаке...
А я стою, как посторонний,
с каким-то перышком в руке.

Страстей вокруг бушует вече, —
стою себе, не дую в ус:
рукопожатьем не отвечу,
рукоплесканьем не взорвусь.

Не кину камень, а тем паче
за хвост не ухвачу удачу. —

Стакан бы взять, горит душа,
да пустяковина меша...

355

Пока, мальчишка и мудака,
ты ищешь красное словцо,
шляхетски рифмами бренчишь, —
твоя Россия, скажем так,
вдруг узнает тебя в лицо,
и ты молчишь.

Когда ж, изверившись вконец
всем завереньям вопреки,
со зла, с отчаянья, спьяна
ты вынешь вдруг из-за щеки
не леденец, а бубенец, —
молчит она.

Ты пущен по миру босым:
ступай, свидетельствуя сим!

356. В НОЧНОМ ПОЛЕТЕ

Неужели верить равновесью,
даже
на последнем вираже!

Может быть, другой какой-то смесью
дышим, а не воздухом уже?
Может быть, бумагою крест-накрест

меченный по окнам город мой
поменял с блокады адрес?
Или мы не по прямой
прорываемся сквозь мирозданье?
И родной аэропорт
(пол-России в залах ожидания)
не под этим солнцем распростерт?
Что нас беспокоить может, если
свой защеchnый леденец
перекатываем, сидя в кресле? —
Да не все равно ли, наконец,
(самолет, восьмое чудо света!),
отчего мы губы так кривим!

...накрывается планета,
взваленная на плечи живым...

357. К ДРУГУ СТИХОТВОРЦУ

Жизнь для волненья дана...

Баратынский

Зачем, высоко обязуясь
дышать размером и добром,
уравновешенный безумец,
ты слепо брызгаешь пером?
Твоя лихва в пыли полемик
лишь убеждает, что и ты
такой же — если и не пленник,
то соучастник суеты.

Мы все, как все: на службу топай,
читай газету, шей пальто, —

живем, и нет на нас потопа,
все граждане и все — никто.
Живем в толпе, покуда живы,
владельцы, съемщики, жильцы,
клиенты, члены, пассажиры,
мужья, любовники, отцы.

И нет, не в стихотворных перлах,
а в лязге этом и лузге
у нас (лишь славы, что у первых!)
душа висит на волоске. —
Ни позабыть о дальнем друге,
ни самого себя простить...
Нам только кажется, что руки
легко вдоль тела опустить!

Копейки наши — ахи-охи!
Но жизнь становится судьбой:
мы платим по счетам эпохи
не словесами, а собой.
Рабами вбитых в нас понятий,
стянув последние трусы,
предстанем — как в военкомате —
и зябко станем на весы.

358. ПАМЯТИ ФРИДЫ

Не горечь, не горесть, не горе...
Душе не сказатья никак!
Обрывки афиш на заборе,
и дождь, и при входе — сквозняк.

Каким же он кажется нищим,
тобой покидаемый мир —
с бредущими мокрым кладбищем
владельцами теплых квартир!

Стекают осенние лица.
И, тычась в изгиб рукава,
душа, угловая жилища,
роптать получает права.

Сестру снаряжая в дорогу,
своих не касаясь обид,
душа обращается к Богу,
гражданских поверх панихид.

Что наших речей безысходней? —
Поплачем над бездной земной,
и вечное наше сегодня
набрякнет твоей тишиной.

359

Я привычен к доле угловой:
в поезде, в гостинице, в гостях —
лишь бы одеялом с головой,
и грядет мой спас-на-пропастях.

Радио гремит на пол-Руси,
льет в уборной, дует из окна, —
спрячь меня, укрой меня, спаси,
родина-за-пять-минут-до-сна!

360. КУСТ

Из окон озаренный куст,
явление куста народу.
За полунощную природу
ответствующий златоуст.

Всем, кто сомненьями томим,
ответ, острастка, откровенье.
Сподобь меня хоть на мгновенье
побыть апостолом твоим!

Пусть лужи лезут через край,
ухабы на моей дороге,
пускай охлестывает ноги
бурьян замызганный, пускай! —

Не изрыгну хулы ночной,
устами исцелен твоими.
Всему свое на свете имя,
пока сияешь предо мной.

Но вот погаснет в окнах свет,
и без тебя опять во мраке
брань, пьяный гогот, визг собаки, —
все то, чему названья нет.

361

Трава окатывает ноги,
чело окутывает мгла.
Не дай мне Бог сейчас дороги,
чтобы куда-нибудь вела.

Не дай мне Бог сейчас подруги,
что напросилась бы помочь.
Во всей беззвезднейшей округе
лишь двое равных — я и ночь.

Земля потоплена в тумане,
ни зги: он сгинул, белый свет.
И нет во мне воспоминаний,
а может быть — и веры нет!

362

Когда ни женщины, ни друга,
ни зверя теплого у ног,
и на сто верст одна лишь вьюга, —
я не тоскую, видит Бог.

А посреди толпы великой
такая смертная тоска!
...Смотри, мой милый, не наклейкай
себе разбитого виска...

363

Положите меня на траву,
я хочу умереть на траве.

Будут плыть облака в синеве,
и покажется, сам я плыву.

На беззвучной волне забытья
чуть качается легкость моя.

И такой я прекрасно-ничей
на всемирном ветру... —

Это вовсе не я
в окруженье вещей,
как такая же вещьность, умру!

364. ТРУДНЫЕ СТИХИ

Мне пела птица на заре —
и ты меня любила;
сияла церковь на горе —
и все вполгоря было;
чернела под вечер вода —
и наступала черед
молчать под шорох сада...
...А что, мой друг, возьму туда,
где ничего не надо?

.....
Живые мертвому цветы.
Средь сладковатой духоты
друзья на цыпочках, и ты —
наверно, здесь, наверно, рядом;
прощаешь, каменно скорбя,
иль виноватишь явным взглядом...
Я занят собственным распадом,
мне некогда жалеть тебя.

.....
Лежать на том же на столе,
сидел когда-то за которым;
безгрешно тем же коридором,

куда входил навеселе;
потом — не чувствуя земли
и не захлебываясь небом —
туда, где я ни разу не был...
Спасибо вам, что привезли!

.....
Могильщик вылезет, и вы
над рваной пропастью забвения,
не поднимая головы,
замешкаетесь на мгновенье,
и, неприкаянный вдали,
протиснется к могиле Каин
и бросит первый ком земли —
злорадно, как последний камень.

.....
Пусть родина меня простит,
как я простил ей страх и стыд,
простил неправды вкус во рту,
и нищий хлеб любить не ту,
и соль, слепую соль сует,
и веру в то, что веры нет, —
всю злую меру смертных бед!

.....
Иду на дно — и нету дна,
и надо мною, надо мною —
из всех растений — бузина,
из всех смятений — тишина,
и однозначно все земное:
и я — один, и ты — одна.

.....
Земля да будет мне легка!
Поплачете и разойдетесь —

уже не люди, облака...
... Когда-то вы теперь вернетесь?..
Вернитесь! Хоть через века...

365. АДАМ

Когда синкопирует сердце, когда
все жареной рыбой до звезд провоняло, —
о как ты нужна мне! —

Хоть ломтиком льда,
завешенной лампой ли, грелкой линялой.

Не бойся, сегодня еще не умру.
Еще пригодится и шапка в прихожей —
спуститься по лестнице, встать на ветру,
поверить в незыблемый замысел Божий.
Опять, понимаю, не хватит души
вдохнуть это звездное благословенье...
Обступят, оцепят меня этажи,
качнутся в зрачках, распадаясь на звенья. —

Играй же свою полуправду, играй,
и денно, и ночью терзаемый ими!
Забудь в первом акте потерянный рай,
похерь во втором — тебе данное имя.
В копилку стола опускай по грошу,
по камню, по реплике...

То-то потеха,
что насмерть с бездонным колодцем дружу,
и тешит меня его тесное эхо!

Подохнуть от смеха, что есть у меня
и горькие слезы, и гордые губы!..

Ты, родина, завтра не дашь мне огня,
не дашь мне воды, — только медные трубы.
Ославишь — и свалишь меня в уголок
неизданным хламом, и локоть мой драный
счастливой деталью войдет в эпилог
со дня сотворенья задуманной драмы.

И — Гамлет не Гамлет — тогда и вплыву
в стерильнейший ужас второй хирургии.
Вдоль койки, рыдая почти наяву,
двоятся-троятся мои дорогие. —
Ты где тут, жена моя?!

Вместе бы в сад
и яблоки рвать бы, как все человеки,
но некто — беспмятен и волосат —
впотьмах наши руки разводит, как реки.

И ты мне ребро возвращаешь...

и мгла

над завтрашним миром...

и душу живую

(она только чуточку занемогла),
свергаю — о Господи! — в бездну стола...
и плачу... и бедствую... и торжествую...

366—368. ТРИ СОНЕТА

1

По всей эпохе высятся кресты,
и на небо взглянуть — уже заслуга!

Живешь — и столбенеешь от испуга
перед лицом разнузданной тщеты.

И горестней душевной глухоты
на свете нет, наверное, недуга:
жгут истину, в тюрьму сажают друга,
а ты живешь, поплеываешь ты.

Но вот — еще: живешь не так, как все!
Все крутятся, как белки в колесе,
а он поверх голов глядит куда-то.
Ату его, родимого, ату:
пнуть и распнуть — пусть знает высоту!..
...О Господи, спаси слепое стадо...

2

Чем старше, тем ревнивее эпоха.
Как ветреная женщина, она
была в себя настолько влюблена,
что не ждала от зеркала подвоха.

Лгут зеркала, и все же дело плохо —
морщины, злые губы, седина.
Она теперь — как верная жена —
тебе не позволяет ни полвздоха.

И хоть в кабак, проклятьем заклеимен!
От ласк ее, румян ее, знамен
ветшающих, как ленты на могилах. —
Ребром ладони режешь свой кадык:
вот так уже! И стыдно, что любил их,
и вчетверо стыднее, что привык.

Свободный синтаксис воспоминаний,
наплывы через точку с запятой... —
Вам кажется, их нету безобманней,
и невдомек, что с кукишем в кармане
к эпохе становились на постой.

Гордитесь героической тщетой
своих испаний и своих германий,
и — скрученные даже в рог бараний —
опьянены восторженностью ранней,
упрямы восклицательностью той,
быть совестно свидетелем которых...

И все-таки — подольше бы у вас
в пороховницах не кончался порох:
куда страшнее правда без прикрас!

369. НАУКА ПОБЕЖДАТЬ

Молчанье — трудная наука.
Мы побеждаем, зубы сжав.
Победа наша однорука
и ореол над нею ржав.

Он из консервной сделан банки.
Опять злодей какой-нибудь —
и снова слева-справа танки,
и вдруг медаль осколком в грудь.

Мы крестоносцы, не крестьяне, —
свой крест выносим на рубеж.

Земля нарезана ломтями,
бери любой из них и ешь!

Ан нет, долбим гранит молчанья,
дробим в зубах окопный жмых.
Гнездо свивает одичанье
в воронках раковин ушных.

Стоят победы в гордых позах,
их до небес превознесли.
Лежит земля в стальных занозах,
и нет победы для земли.

370. ПАМЯТИ САМИХ СЕБЯ

Живем себе, кропаем и корпим.
Треск духовых оркестров нестерпим.
Ни полстроки в угоду не изменим;
мы будем воду пить за неименьем
вина, есть голый хлеб, вдыхать густой,
благословенный смрад воспоминаний. —
Всегда кому-то столбик со звездой,
а десятеро — камня безымянней.

Зарытые, да есть ли нам число!
И нас в порыве доблести несло
топтать поля истории — мы тоже,
наверное, могли!.. Но подытожа
нули успехов и нули потерь, —
мы, видит Бог, себя не омрачали
нехваткой славы: присно и теперь
у нас совсем другой вариант печали.

Свидетельствовать — тоже ремесло!
Чтоб бывшее — быльем не поросло,
не обросло легендой или сплетней,
скрипи наш горб! На улице соседней —
то в память, то по случаю, то в честь —
при всем народе выцветают флаги.
И все-таки по пальцам перечесть
нас, лишних в триумфальной колымаге!

Зато хоть удастся честно спать.
А примерещит ежели опять
казенный дом и позднюю дорогу, —
из-под простынь выпрастываем ногу
и тешим лицемерным холодком...
Ах! Жить бы всем на берегу высоком,
не лязгать ни затвором, ни замком
и неба не выламывать из окон!

371. МАНДЕЛЬШТАМ

Сверкающая русская латынь,
пророческой растравленная спесью.
Круглеет звук и, заросли раздвинь,
крупнеет соль, прикидываясь песнью.

В убыток ли таврический загар
обменян на уральские сугробы,
троянский пир и петербургский пар —
на проголодь воронежской Европы?

Давай мечи свой бисер, соловей!
Выщелкивай, щегол, свои орешки!

И, глотку запрокидывая, смей
не обращать вниманья на издержки.

372. СМЕРТЬ ХОДАСЕВИЧА

Что верно, то верно, нельзя же вот так:
накрыть простынею — и в морг.
Еще не забыл его спину пиджак
и душу Господь не исторг.

И пусть эта койка в углу у окна
под новое тело нужна, —
оставьте: уснул в кои веки Орфей,
не зная о смерти своей.

Легко ему, боль отпустила, обмяк,
и снится, что не удалось
Россию загнать на парижский чердак,
и попусту вся его злость.

И снится, что оды отчетливый стон
предсмертно привил-таки он
к себе, кому тоже не спится лет шесть,
а надо ли это, Бог весть.

Зато как спокойно теперь он лежит,
на Божьем лежит сквозняке!
И только — тяжелая лира висит
в безвольно упавшей руке.

373. КОГДА ПОГРЕБАЮТ ЭПОХУ

О как вам дышится среди комаровских сосен?
Кладбищенский предел отраден и несносен.
Оградки тесные, как дачные заборы,
и пусть вполголоса, но те же разговоры.

Единственность свою опасно знать заранее.
Над бегом времени, как Федра в балагане,
вы, так и видится, стоите без оглядки,
и стынут на ветру классические складки.

Уже успели всех угробить и заямить.
Ваш черно-белый стих шифрованной, чем память.
Дивились недруги надменной вашей силе.
Четыре мальчика чугунный шлейф носили.

Великая вдова, наследница по праву
зарытых без вести, свою зарывших славу,
когда самой себе вы памятником стали,
не пусто ль было вам одной на пьедестале?

Где Осип? Где Борис? Где странница Марина?
Беспамятство трудней открытого помина.
Вас восхваляют те, кто их хулит доселе.
Перед разлукою вы даже не присели.

И понимаются глухие ваши речи.
И занимаются сухие наши свечи.
Мы отпеваем вас, мы яму вам копаем,
мы на казенный счет эпоху погребам.

И вырастает крест на молодом погосте.
И топчутся вокруг непрошенные гости.
Но — согласились бы вы разве под раkitой,
в глуши какой-нибудь, быть без вести зарытой?!

374

Памяти О. Савича

Отрешеннее день ото дня
навещаю друзей на погостах.
Сколько весит кладбищенский воздух,
весь, при жизни вошедший в меня?

Тишина уплотнилась во мне,
стала кровь моя гуще и глуше, —
будто камнем задвинули душу
и отлили язык в чугуне.

375. БАЛЛАДА О СИЛЕ ДУХА

С цветочками зайдите, осчастливьте!
Приличное лицо состройте в лифте, —
а ну как не отплакалась вдова.
Но, выкормыши века показного,
чего же вы — ввалились и ни слова:
такая малость вроде бы — слова!

Гуськом через прихожую как дети.
А в комнате, в хозяйском кабинете,
где вы бывали раз не меньше ста,

под тою же картинкой, на диване,
в своей всегдашней позе перед вами
сидит — прижав подушки — пустота.

Не отшатнетесь, нет, не хватит духа.
Вас выручит железная старуха —
поправит книгу, вытрет край стола,
турнет легонько киску, чтоб не лезла,
и — опустившись в горестное кресло:
— Ну как живете, — спросит, — как дела? —

376

Претерпеваем радости вседневно,
нас тешит суета, знобит успех.
И к небу вознесенные деревья —
как тихие молитвы обо всех.

О нас, дружок, с тобой — наверно, яшень,
о ком-то — липа и о ком-то — клен.
И Богу кажется, что мир прекрасен
и племенем высоким населен.

377. ПРОБЛЕСКИ

О пониманье дивное...
Пастернак

... И на острие лукавой кисти
вдруг слетятся ангелы.

Скорей

Я устаю от множества людского,
а с бойким собеседником вдвойне.

Он жаждет мне втемашить что к чему,
возносит что-то и хулит кого-то,
и копится за скулами зевота,
и хочется остаться одному.

Но музыку я слышу, и она
течения души не нарушает —
не искушает и не утешает,
побыть самим собою разрешает...
Есть в музыке большая тишина...

379. ВИВАЛЬДИ

А. Кушнеру

Отражаются в асфальте
у подъезда фонари.
Гобеленовый Вивальди
ожидает нас внутри.

Он разыгрывает года
перед нами времена:
вот природа, вот погода,
вот нарядная охота,
ожидание чего-то —
голос, эхо, тишина.

Дальний гром, — но это шутка,
мастер любит припугнуть.

Несварение желудка
не грозит ему отнюдь!

Вот лукавые пастушки,
пышный замок вдалеке,
чуть не до свету пирушки,
и галантности друг дружке,
и на креслах завитушки,
и вина бокал в руке.

Нет, при взгляде на маэстро,
за его следя игрой,
улыбаться неуместно,
хоть и хочется порой.

Он прекрасно созерцает,
как умели в старину,
ничего не отрицает,
ничего не прорицает
и оружием не бряцает, —
что там думать про войну!

Нет счастливей человека —
все всерьез и все шутя!
Восемнадцатого века
седовласое дитя.

380. ТРЕТЬЯ ТВЕРДЬ

Не верю, нет, не органист
меня во прах поверг.

Летели камни сверху вниз,
а души — снизу вверх.

Был каждый вновь из ничего
прекрасно сотворен.
О ты, слепое торжество
знамен, племен, времен!

Тщета интриг, тщета вериг,
тщета высоких слов...
Есть человека первый крик,
любви внезапный зов.

Есть добрый труд из года в год
и отдых в день седьмой.
И время течь не устает,
как небо над землей.

Какая разница — свеча
или мильоны свеч?
Какая разница — парча
или лохмотья с плеч?

Геройствуй, схимничай, греши, —
за жизнью только смерть.
Лишь в обнажениях души
сияет третья твердь.

Там, над обломками эпох,
с улыбкой на губах,
ведут беседу Бах и Бог,
седые — Бог и Бах.

381. ГЛУХОТА

«В лесах я счастлив...» —
пишет Бетховен.

Что за корысть тебе, глухарь,
мычать и мыкаться в ненастных
ночах и — долго до греха ль! —
сходить с ума эпохе на смех?

У всех в ушах еще стоит
твое первопристрастие к трубам.
Почил на лаврах бы старик, —
так нет: младенцем большегубым

токуешь, сам себе Гомер!
Отринул — юношам на зависть —
все, что умел и чем гремел, —
непримиримейшая запись

себя живого взаперти!
По двести раз одну и ту же
на ощупь истину тверди,
вывертывай седую душу

на паперти среди калек, —
не подадут, как ни сиротствуй!
Оглох не ты, оглох твой век:
не пробивается вопрос твой

сквозь толщу тысячи глушизн.
Тюремной азбукою в стены

ломись, выстукивая жизнь,
и путай, и сбивайся с темы,

все уши дамам изглодав...
...сквозь толщу жира, пересыпа,
довольства, рыночных забав...
Скажи за то еще спасибо,

что ты свободен хоть тайком
сбежать в леса — остаться просто
больным и сирым стариком
и быть счастливым без притворства!

382. ГЕРОИЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ

...Неужто это всё, что от мечты осталось?..
Анненский

Мы не успеем кашлянуть, и вот —
лишь палочки волшебной мановенья —
душа уже тоскует и зовет,
блаженствует и верит;

дуновенье
скрипичное, подспудный вздох трубы,
злорадные литавры преисподней —
и разверзается удар судьбы...

На службах отсидевшие сегодня
и отстоявшие в очередях,
мы отдыхаем на волне мятежной —
присутствуем на шумных площадях,
вольнoлюбивой тешимся надеждой,

высокой окрыляемся мечтой:
да расточится мгла!..

В оркестре что-то
готовится; из недр его густой,
непререкаемый призыв фагота, —
и над толпой взмывает Человек,
он жаждет подвига, все выше, круче;
он всех простил, всем в мире пренебрег,
есть только Он и Солнце;
и, могучий,
не падает, а рушится герой...

О люстры, прослезитесь! Будь усерден,
достоин будь, оркестр, своей игрой
его игры: ведь он играл с бессмертием.
Во весь наивно-горестный размах
неистовствуй, рыдай над ним, свобода!

...До поздней ночи свет у нас в домах, —
ведь завтра можно выспаться, суббота...

383. БОЛЕРО

Т. Х.

Вначале была барабанная дрожь.
Душа еле брезжила.

Мир содроганий,
когда еще толком не разберешь,
насколько он жуток, насколько хорош
своими сбывающимися кругами.

Случайный комочек, я жил не спеша,
дышал и наигрывал.

Взял чью-то руку
(попробуй от века не взять ни шиша!)
И слышу — во мне назревает душа
и гонит меня вслед за всеми по кругу.

Упруго и сладостно ширится круг,
томит нарастанием.

Хлопни в ладоши,
притопни, присвистни, но в том-то и трюк:
в лесу унижительно поднятых рук
я думаю так же и делаю то же.

Безликость шумна, многолюдство пестро,
похожесть навязчива.

Мне да воздастся:
все гибче сплетаются зло и добро,
все шибче раскачивает болеро
свою карусель на краю святотатства.

Все круче, все злей, все бесстыдней круги,
нет времени кашлянуть.

Вкрадчивый демон,
уже еле сдерживая кулаки,
гремит посредине в четыре руки,
и все ему кажется, круг недоделан.

Головокружительная толчея!
Собой оставаться ли?

Общим горячим
до свиста источены жилы, и я —

как все, возвращаюсь на круги своя:
на полоборота наш век недокручен.

Давайте сыграем в хорошую жизнь,
какого рожна еще!

Громче божись,
кружись и за душу свою не держись,
ногами к разрыву ложись вне себя от восторга...
Пусть руки расторгло,
пусть душу исторгло, —
скрежещет жестокий восторг!..

384. ВРЕМЯ (Слушая Шостаковича)

На противоположный берег ночи —
под парусом, наискосок.
Опять меня выносят ноги
на неизгаженный песок.
Туман еще висит на ивах.
Еще в младенчески-наивных
голубоватостях земля.
Губами еле шевеля,
я полусплю еще...

И вдруг —
рывок! И все переродилось.
Долина сузилась в один из
проспектов. Заросли вокруг
выкристаллизовались в зданья.
Бензин. И лязг. И тормоза.

И вот — под знаком нарастанья —
давай мозолить мне глаза
автобусы и перекрестки,
афиши, фонари, киоски,
витрины, женщины, рекламы,
восторги, очереди, драмы,
плач, смех, тень, свет...

От самого меня — и след
простыл! Я где-то в самой гуще
густозамешенного дня.
Скользкий, едущий, бегущий,
я — часть его, он — часть меня.
Безумие пересечений
предметов, судеб, скоростей...

Полуденный ли, предвечерний,
углами сжатых челюстей
играя, сквозь меня несется
оглохший город; за спиной
по стеклам оползает солнце,
из луж расплеснутое мной;
и дребезжит трамвай, и сердце,
как жестяное, дребезжит.
Держись — твержу себе — держись!
Держись, покамест не разверзся
бездонный вечер над тобой...

Сперва он только голубой,
потом синее постепенно,
чернеет... Явственной приборой...
И звезды... И слепая пена

пожизненное место у колонны!
Бетховен ли, Равель ли — все равно
поверх любой эпохи плыть в ковчеге
и знать, что никуда как в мирозданье
над хорами распахнуто окно.

386—396. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДЕТСТВА

1

В досрочном резервариуме некоем
меня таки, наверное, спросили:
как я предстать желаю перед веком?
Уверен ли, что именно в России?

Ни мамы не было еще, ни папы,
но прежде, чем нечаянно сгуститься,
уже и головастик чует лапы,
и высоту угадывает птица.

Она великолепна — тяга в воздух,
он гениален — выползень на сушу,
однако меж крылатых и бесхвостых
я выбрал тварь, имеющую душу.

И наконец — родился я. В то утро
Нева прекрасно сбрасывала кожу.
И я лежал бессмысленно и мудро:
был сам собой, как я теперь итожу.

Сперва я был во власти осязаний.
 Потом — сухой, отглаженный, прогретый —
 перевернулся мир перед глазами
 и медленно распался на предметы.

Разбитой чашкой осчастливил уши,
 вломился погремушечным восторгом.
 Душа — ничуть не хуже и не лучше,
 чем всякий развивающийся орган.

И в пятки много раньше уходила,
 чем поняла, что существуют пятки.
 И думала, что спряталась на диво,
 из-под подушки выставив лопатки.

Любила и высокие деревья,
 любила и веселые поленья. —
 Комочек всепланетного доверья,
 душа, тончайший орган удивленья!

Я знал уже, насколько сад огромен.
 Но в ужасе от огородных пугал
 по лужам, ничего не видя кроме,
 приковылял однажды в нянькин угол.

Погаснуть не могла никак лампадка.
 Над сыном Богородица клонилась.
 Как яростно пилоось мне, и как сладко
 одолевала, помнится, ленивость!

Ботинки расшнуровывала мама.
Прохладный градусник впивался в тело.
Я целый месяц повторял упрямо,
что не хочу болеть... Окно потело...

Когда же я, нестриженный, как чижик,
потом из реомюрных выполз комнат,
окликнул жрущих яблоки мальчишек
и увидел — они меня не помнят.

4

Я хоронил скворца. Я из рогатки
подбил его, поющего на ветке.
Я знал, что очень скверный, очень гадкий,
но радовался, что такой вот меткий.

Все почести, известные из книжек,
ему я воздал под вечер в овраге.
Среди цветов, натыканных и сникших,
в серебряном лежал он саркофаге.

Торчала свечка елочная в лапках.
Соседская облизывалась кошка.
Шагнул я было к ней — и вдруг заплакал,
жалая птицу и себя немножко.

Не на людях я плакал без обмана.
И пальцами землистыми свирепо
рванул-таки рогатку из кармана
и десять раз пульнул в пустое небо.

Мечтал я быть артистом и матросом,
 фотографом и вагоновожатым.
 А был я непоседлив и разбросан,
 хотя для младших классов и нахватан.

Не то что нехорошим был, но в школе —
 как в школе: где геройство, там и клякса.
 То дружба не разлей водой, то вскоре
 накостылять я кляузнику клялся.

Слабец среди вихрастых и горластых,
 я трусил только тихоньких и подлых.
 С меня снимали пионерский галстук
 за тот — перед девчонкой первый подвиг.

Все в памяти весьма фотогенично:
 мне вдалбливали *дважды два четыре*,
 я восхищался Спартой на отлично
 и жмурил левый глаз в учебном тире.

Мы этого еще не проходили.
 Еще предмета не было такого —
 «деревня»... А меня предупредили,
 чтоб не играл я с Машкой Кулаковой.

Подумаешь, какая-то девчонка!
 Но в золотом безбрежии каникул
 как будто виноватым был я в чем-то,
 пока ее при встрече не окликнул.

Хотела подбежать — и расхотела,
пошла себе спокойно, как большая.
Я вспомнил про кулак и оготело
грозил ей, деревенским подражая.

Я даже плюнул и плевка не вытер.
А через день, в дождливую погоду,
я Машку (раскулаченную) видел,
когда ее сажали на подводу.

7

На праздниках частенько было мокро,
но чувствовали мы себя сухими.
Что без толку блистать значками мопра
и состоять в осоавиахиме!

Сплошная алость, песни, раскидаи,
уйди-уйди, флажочки и цветочки.
А мы — то тихой сапой, то скандаля,
то всей ватагой, то поодиночке,

сквозь тайные лазейки, по задворкам,
грузовиков бодающихся мимо —
рвались на площадь: о каким восторгом,
каким азартом были мы томимы!

И гарцевали кони на парадах,
и легким пешим ходом шла пехота...
Но вот ведь: совершенней стал порядок —
и совершенно стало неохота.

Уже я петуха даю, а там уж
и подпись обретает закорючку.
Ровесница вполне годится замуж,
а я робею взять ее под ручку.

Слона готов я делать был из мухи:
счастливый двух макушек обладатель,
какие парикмахерские муки
я претерпел, пока их не пригладил.

А не уметь, когда вокруг умеют! —
и падеспань разучивал я с другом.
А не иметь, когда вокруг имеют! —
и к модным я примеривался брюкам.

О как меня она водила за нос,
красуля, активисточка, эпоха!
И все же хорошо, что нам казалось,
не правда ли, душа моя, дуреха?

Тревог хватало так или иначе:
экзамены ввели, грачи кричали,
а тут еще стихи писать я начал,
причем — как это водится — ночами.

Однажды рифмовал я что-то с чем-то,
и вдруг часа, наверное, в четыре —
звонок дверной заверещал крещендо,
ударил очередью по квартире.

Что было дальше? — Было все как было:
я вырос, я любил, рождались дети,
блокадой жгло, неправдою знобило,
и радуюсь, что солнце есть на свете.

А мудрым вот не стал, и не спесиво
по мелочам растрачиваю тело.
Дана мне жизнь: не слабость или сила,
а зло или добро решают дело.

Пусть не отец был, дядя арестован,
пускай не я убит, ведь пуля дура,
но если страх, в обличье хоть крестовом,
гуляет в мире, — мир карикатура.

А что души касается, я в некоем
нелегком размышлении, поверьте:
ей страшно, обнаженной перед веком,
но в этом-то и есть ее бессмертье!

СОСНЫ (1967—1969)

И вот, бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены...

Пастернак

397. МЕДЛЕННЫЕ СТИХИ

В ученье к соснам отданный, молчу.
Средневековых крыш сухое пламя
и лес, как будто проповедь: косым
пронизан солнцем, гулок и возвышен.
Пылинкой, примелькавшейся лучу,
душа — ее почти не существует —
лукаво проблеснет и растворится,
куда там самолетик в синеве.

Я забываю привкус тех обид...
Другие пусть обметывает губы
молочным гневом, пусть себе сторицей
шипучая отрыжка тешит ноздри
в неутолимой жажде суеты.
Пускай... Довлеет мне воды и хлеба,
и неба и земли довлеет мне.

Лишь изредка привидится во сне
толпивое деревьев различие
и обезличка листьев.

Я мечусь —
ни лист, ни человек; меня колотит

о ветку материнскую: сорвусь ли,
останусь ли, — я взыскан все равно.

Воспалено проснувшееся небо
тогда бывает —

вспыхивает, гаснет
пурпурный отблеск позапрошлых чувств.
Что б делал я, когда уток души
на длительности бы основан не был?! —

Ворчливо на дворе греметь ведром,
и ветренностью белого пространства
поутру зубы чистить, и сосновым
терпением испытывать себя.

В сплошном куске сгущенной тишины
барахтается где-то еле слышно
рокочущий вовсю аэродром.

Ни памяти не надобно, ни почты, —
совсем не этим пишутся стихи.

...Замедленно течет большое время...

398. РАЗДУМЬЕ

Когда тебя обидит век
иль женщина лишит свободы,
встань тихо посреди природы,
любить уставший человек.

Сама в себе живет река,
вдыхает лес неизъяснимо,
и облака — все мимо, мимо...
река... и лес... и облака...

Твоя невзгода в этот миг
тебе покажется ничтожней
листка, мелькнувшего над пожней,
а ты — как дерево велик.

399. ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ

Сухая высокая смесь
сосны и осины.
У солнца осеннего есть
испуг страусиный.

И там, в городах, за семью
печатами века, —
в саду, в листопад, на скамью
по полчеловека.

Снять лишнюю кофту — ни-ни,
и зонтик на случай, —
от вашей небось воркотни
и солнце за тучей!

А надобно верить добру:
из лужи недавней
полнеба в ладони беру —
такая вода в ней!

И, если б не эта стерня,
такая свобода, —
как будто ни времени дня,
ни времени года.

Ни горестных в жизни минут,
ни старости нету...
А тени бегут и бегут
по белому свету.

400. ВЕРХОВЬЯ

Маме

Как бы так в себя взглядеться,
так прислушаться к себе,
чтоб всплыть к верховьям детства
против стержня по судьбе?

Пусть подробностей не помню —
так ли, этак, что с того, —
никогда мое огромней с миром не было родство.

Как в одной большой светлице,
всем дышалось наравне —
и кузнечику, и птице, капле, камешку и мне.

Разнотравья и деревья хоровод вокруг вели —
узнаванья и доверья хоровод всяя земли.

И подсказывалось мамой, и угадывалось мной,
как делиться самой-самой несказанностью земной.

Никогда уже счастливей я потом не уставал,
никакой позднейший ливень так врасплох не заставал.

И нигде уже осина так не рдела на ветру...
...Научить играть бы сына в эту вечную игру!

401—403. СЫНУ НИКИТЕ

1

Тускнеет склон большого дня,
наплыли сумерки в низину.
«Будь счастлив!» — говорю я сыну.
Молчит, не слушает меня.

Он видит тысячу причин
для золотой своей печали.
Уходит он, пожав плечами,
недуг его неизлечим.

Смотрю я мальчику вослед.
Ах, правота, что делать с нею!
Действительно ли все яснее,
когда тускнеет белый свет?

2

Ну что ж, дружок, ну что ж,
давай резвиться в жмурки!
Куда как ты хорош
в чужой своей тужурке.

Куда как ты крылат
своим восторгом нищим.

Для нас припрятан клад,
а мы его не ищем.

Не то чтоб вовсе лень,
а как-то неохота.
Ведь каждый Божий день
задуман как суббота.

А если ты неправ —
тебя поправит время.
Куда как ты кудряв
бесстыдно перед всеми!

В снегу себя купай,
бей в обе рукавицы...
Студентик, шалопай,
резвись, пока резвится!

3

О, мой скудеющий лимит!
Душа бестрепетней и глуше.
А за бугром еще гремит,
а на дорогах — те же лужи.

А в поле — та же благодать,
и не корми кого-то хлебом —
дозволь часов не наблюдать
наедине с землей и небом.

А для кого-то шаг вперед —
не просто вынужденность шага,
но внятн^{ый} сердцу поворот
галактики вокруг оврага.

404. ПОПОЛЗЕНЬ

У меня окно под самой крышей,
у меня зеленый цирк в окне.
Кто-то головою вниз, как рыжий,
вперебежку ходит по сосне.

Поползень! Твои поползновенья
рассмешить меня наивны столь,
что невольно губы на мгновенье
хохоток растянет холостой.

Легкий хохоток и необидный,
хохолок над пасмурностью лба.
Хорошо гуляется, как видно,
головою вниз, кому судьба!

405. О МУДРОСТИ

В самый раз, пожалуй, мудрым
напоследок объявиться! —
Вот проснусь однажды утром
и забуду удивиться.

Свищет птица — что ж такого,
светит солнце — так и надо.
Ко всему душа готова,
ничему душа не рада.

Я тебе назначу встречу
потому, что ты просила.

Ради истины замечу,
что сегодня ты красива.

Смолкнет птица — что ж такого,
сядет солнце — так и надо.
Нет ненайденного слова,
нет потерянного взгляда.

Бестревожно спится мудрым:
мир — как дважды два четыре.
И не жаль однажды утром
не проснуться в этом мире!

406

Я затихаю на природе.
Как бедный родственник, вхожу.
Среди больших ее угодий
угла себе не нахожу.

Постыдно тянет подольститься —
помочь ручью, спасти жука —
и на небо перекреститься,
как атеист, — исподтишка.

Я умиляюсь глупой птахе,
травинке малой на лугу...
Но блудным сыном, ниц во прахе,
вернуться в лоно не могу.

Сижу, философ безбородый,
на краешке чужого пня.

Природа занята природой,
ей нету дела до меня.

407. ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФОТОГРАФИЯ

С одиночеством в обнимку
я на камушке сижу.
Если верить фотоснимку,
я за облаком слежу.

Правда, облако не вышло,
может, облака и нет.
Не кукушка ли чуть слышно
мне желает много лет? —

Но не в фокусе и птица.
Просто, чувствую, сейчас
комаришка примостится
у меня промежду глаз.

Нет, конечно, эту малость
объектив не уловил!
Но — мгновение поймалось,
и любитель проявил:

легкий взгляд, что переходит
без причины в забытье,
и разлитое в природе
одиночество мое.

Помню ли тебя, не помню,
 эка малость!
 Под вечер земля бездомней,
 и осталось —
 в рощи забредать и в чащи
 углубляться,
 вспугивать чужое счастье,
 не влюбляться.

Под вечер земля печальней
 и любимей.
 Песней потянуло дальней
 о рябине.
 В небе надо мной не лето
 и не осень —
 тихое страданье света
 между сосен.

Не в одиночестве печаль, а в постоянстве.
 И выпил бы, да вот — в один стакан не пью.
 Что комната моя? Кусок тепла в пространстве,
 огарок, меркнувший вселенной на краю.

По вечерам живу во весь размах терпенья,
 разгул бездомности за окнами все злей.
 Не торопись, огонь, обрушивать поленья,
 не обольщай себя, роскошный жар углей!

Что комната! Ночлег, ковчег, плавучий спальник.
Проснусь ли поутру? До завтра плыть и плыть...
Ах, собеседник мой, ты где, мой сомолчальник,
мой сопечальник, ах, все в жизни может быть!

410. ВЕТЕР

Выходит лес ночной из берегов,
из сонного выходит состоянья.
Затоплена плотина. (Он готов...)
Захвачено шоссе (...на злодеянье).

Он из себя ночной выходит лес,
за рамки понимания выходит.
Вот — перелился или перелез
через забор, дыханье переводит.

Сейчас оттуда листья побегут,
заслонка звякнет, свет качнется тенью.
Какая это вечность — пять минут
не верить своему сердцебиенью!

Что от меня он хочет, гость ночной?
Чем аз воздам отмщению ночному?
Хоть сына, слава богу, нет со мной,
и только тополенок жметя к дому.

411. ЗАЗИМОК

А синица — тут как тут,
в раму — тук да тук.

«Выходи, тебя зовут» —
значит этот звук.

В небо розовый дымок
лезет из трубы.
Проверяю легкость ног
твердостью тропы.

Закуржавело в логу,
стихло над ручьем.
О вчерашнем не могу
вспомнить ни о чем.

Дальний сосен перескрип,
перистый зенит.
И насквозь промерзший гриб,
тронешь — зазвенит.

412

Моя зима — мой снег — мои следы.
Стяжатель, собственник, скрипучий скряга,
весь мир я обобрал бы — от звезды
над соснами до той, на дне оврага,
полуслепшей, чуть живой воды.

Но каждый раз в припадке мотовства,
застигнутый восторгом святотатства —
дым коромыслом, кру́гом голова! —
размениваю я свои богатства,
как и сейчас, на общие слова.

Полным-полна амбарная тетрадь...
Безумец, чем бы мог я обладать!

413. ВЕСНА СВЕТА

Бывает утро в январе:
дом из фарфора, дым из ваты
и — голубые на дворе —
в саду сугробы розоваты,
игольчат воздух, и следы
вокруг колодца из слюды.

Тончайшей индевью берез
даль разрисована, и мнится,
морозит вовсе не всерьез,
наивным лобзиком синица
выпиливает каждый звук, —
ни слез на свете, ни разлук.

Не на крыльце чужом стою
пути земного посредине —
вбежал я в детскую свою,
истосковавшись в карантине,
и — как тот мальчик лет шести —
не смею взгляда отвести.

414

Кс. Семеновой

Тень голых веток на снегу —
мгновенье, пойманное оком!

Лишь небо соблюдает высоту
последнего из наших расставаний.
И просветленней мир, а на свету
и безнадежней все, и безобманней. —

Пустынно счастлив я — не одинок
(так вспоминают осенью о лете):
прощаясь у твоих затихших ног
я слезы лью, а это — видит Бог! —
не высший ли любовный акт на свете?

417

Неделя, год — всегда разлука вечность.
И чем любовь позднее, тем ясней,
что ни полночной чашей не развлечь нас,
ни отрезвить коловращеньем дней.

На точке расставания застынем,
отваживаясь вздох доверить свой,
быть может, только морю и пустыне,
да соснам над безумной головой.

418

Полячка, баловница, скромница!
Тебе свобода — мне тюрьма.
Вот-вот как будто что-то вспомнится,
забудется, сведет с ума.

Вот-вот как будто что-то вспенится,
рассыплется, сойдет на нет.

Трусиха, фантазерка, пленница!
И только дым от сигарет.

И только с полурюмки плачется
и пляшется себе назло...
Кто право дал тебе, отгадчица,
считать, что мне не повезло?!

419

Постой, не вчера ль это было?
Не вспомнить без календаря.
Я вышел, пространство знобило,
свою безоглядность даря.

Наверно, весна или осень,
по смутной судить красоте.
И кажется, не было сосен,
а если и были — не те.

И верилось, вовсе не трудно
вот так, хоть полсвета пешком.
И ветренность белого утра
служила зубным порошком.

Послушай, когда это стало?
Он все продолжается, путь. —
И ветер того же состава,
от счастья не передохнуть.

И осени мятная долька,
и тающий ломтик весны.

И только, быть может, и только —
желаннее запах сосны.

Еще я не смею привыкнуть
к покою на том берегу.
И только ручей перепрыгнуть
с тобой на руках не могу.

420

Ты хлопчешь у огня,
ты еду готовишь дочке.
Шелестят ее годочки
между пальцев у меня.

Два, четыре — все равно,
восемь, десять — или сколько?
Апельсиновая долька,
слезы первые в кино.

Погулять ее возьму —
и неловко ей, и скучно.
Будет девочка послушна
безвеселью твоему!

День за днем, житье-бытье —
ей пятнадцать, ей семнадцать...
Что ей может вспоминаться?..
Кстати, как зовут ее?..

Я. Гордину

Щелкун большеголовый,
насмешничай, кажись!
Такого удалого
я не встречал ни в жисть.

Как выглядит он браво
твой кожаный доспех!
И поднято забрало,
и дело есть до всех.

Ни страха, ни упрёка,
ни славы, ни гроша.
Нет никакого прока
в субстанции “душа”!

Быть может, и задумчив
ты, только взяв перо.
Не щелкопер — щелкунчик,
прищуренный хитро!

422. НА СВОЮ ГОДОВЩИНУ

Состав мой тихо потрясен,
мой возраст медленно взволнован:
как стол на тысячу персон,
в двусветном шорохе сосновом
смолистой прозолотью дня
простерлась легкость перспективы,

мой выход празднуя и для
за край не то что там квартиры —
души стесненной за порог, —
в чередованье, повторенье
теней, и отсветов, и строк, —
в ту, словом, даль стихотворенья,
откуда нет пути назад,
а лес шумит — живи и здравствуй! —
и только слезы на глазах
от сопричастности пространству.

423. АВТОБУС ТАРТУ—ЛЕНИНГРАД

В автобусе дальнем и длинном темно.
Ночные снега наблюдаю в окно.

Ночные деревья, заборы, мосты.
Ночное терпенье — основа езды.

Ночные навстречу огни в полусне, —
не хочется даже досадовать мне.

Ночные текут сквозь меня города,
в которых не буду я днем никогда.

Ночными кварталами плавно кружу:
вираж к виражу... этаж к этажу...

За отсветом отсвет, и хоть бы одно
живущее собственным светом окно!

А впрочем, и сам я живу не живу:
что снится, что помнится мне наяву.

Поверстно глотая ночные снега,
автобус покачивается слегка.

Ночные деревья, заборы, мосты...
Ночное терпенье — основа езды.

424

Недописанный лист на столе.
Неприрученный луч на стволе. —
Ничего-то не надо мне, Боже!
Отчего же осина во мгле
так шумит надо мной, отчего же
обдает меня взглядом прохожий,
как чужого на этой земле?

ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ ОБРАГА (1969—1981)

ПО СКЛОНУ ДНЯ (ПАЧКОВКА, 1969—1972)

425

Высоким слогом в наши дни!?
Но не могу — не высшим слогом:
по травенеющим дорогам
иду, устав от болтовни.

Опушкам, просекам, лугам —
сто гимнов моего молчанья.
И нет торжественней звучанья,
чем вдох и выдох в лад шагам.

Сто полумыслей ни о чем,
одический восторг немотства
и — праздничное превосходство
над повседневным рифмачом!

426

Тишина палатки, тишина
наскоро обшитого пространства.
Клинышек покоя, беспристрастно
вбитый в шорох полночи лесной.

В полуметре, слышу, надо мной —
вздрагивает, дышит, — мы бок о бок.
Но внутри косоугольных скобок
неприкосновенен смысл души.

Во вселенской где-нибудь глуши
звезды или дырки в парусине,
листик встрепенется на осине
или самолет заложит слух, —

я не то что слеп и тугоух,
но совсем отдельно существую.
И летит сквозь полночь мировую
вырванный из времени кусок...

427. ПЕЙЗАЖ С КРАСНОЙ КРЫШЕЙ

Все это сто раз перепето,
но, очевидно, неспроста
разнозеленый полдень лета
опять играет с листа.

Лови по клавишам бегущий
вдоль льстивой ласковости льнов
к извечно сумеречной пуще
восторг его полутонов.

Струятся по ветру колосья,
вскипая, вторит им листва, —
согласное многоголосье
трепещущего естества.

Вгляни вокруг себя и празднуй,
прислушайся и приглуши
звучанье крыши ярко-красной
зеленым шелестом души.

428. ПОЛУДЕТСКОЕ

Что нахохлилась, дочка? Пойдем,
погуляем, оставь ты скакалку.
Видишь, клены и липы вповалку:
ветер, холодно, тянет дождем.

Вышли в поле — и вот тебе на:
лоскуточек летучей лазури.
И везет же одной капризуле —
будто выглянул кто из окна!

И везет же особе одной —
будто выскочил кто на крылечко!
Просияла чешуйчато речка,
с неба дождичек брызнул грибной.

Что ж: какой-нибудь кашке сродни,
изумись двухминутному чуду
и на милость высокую чью-то
хоть помпоном бездумно качни!

429. МАЛЕНЬКИЕ ПЕЙЗАЖИ

*

Сухая кисть и тощий колорит.
Передний план колесами изрыт.

Две ивы на голландском ветродуе.
Какое время года — не прочесть.
И поневоле видишь все как есть,
не восторгаясь и не негодуя.
И дом как дом. И женщина вдали. —
Твоя земля. Другой и нет земли.

*

Грех жаловаться! Воля и покой.
Лазурная внезапность над рекой —
и кажется — о Господи, на кой
все наши споры, чаянья, тревоги? —
Непышный хлеб, текучая вода,
вдали вечнобиблейские стада
и только для пейзажа — провода,
гудящие натужно вдоль дороги.

*

Тебе не вспоминается, взгляни? —
На луговину льется свет вечерний,
и тени с каждым шагом непомерней,
и то, что за спиной, уже в тени.
Озарены спокойствием холмы,
и мимо отдыхающего стога
настолько никуда лежит дорога,
что двое на дороге — это мы.

430. НОЧНАЯ ГРОЗА

Весь день собиралась гроза,
хлынуло ночью.

Стакан засветился насквозь
рядом с тетрадью.
Слепя скользнули глаза
по междустрочью.
И — хлынуло, и — понеслось
по междугрядью.

Наверное, кажется мне,
но не упомяну,
была ли хоть вспышка одна,
чтоб оглядеться? —
Все небо являло в окне
каменоломню,
восторгом несло из окна,
словно из детства.

Потом уже сад по привык.
Слышно, как рос он.
Земля замирала сочась,
пахло листвою.
Увидел я — мой черновик
кем-то набросан,
а стало быть, в мире сейчас
было нас двое.

431. ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ ОБРАГА

Конец на сегодня учебным полетам,
геройским забавам со скоростью звука,
небесный чертежник размыт и разметан,
вечерняя проголодь зренья и слуха.

Опять, глядя на ночь, не путь не дорога,
утешусь хождением за три оврага.
Тропой несказуемого монолога
несет без компаса меня и без флага.

Синеющий город встает из развалин
надмирностью арок, бесшумностью башен,
и замысел зодчего так гениален,
что все рождено как бы вымыслом нашим.

А понизу гонят коров из-за леса,
железом старательно бьют о железо,
детей утешают и варят варенье, —
и это все тоже детали творенья.

Гудит надо мной телеграфная лира,
ласкают меня журавлиные клики, —
покамест я в мире, исполненном мира,
все разновеличия равновелики!..

Тишайшего неба большие свершенья,
и маленьких звуков земных копошенья.

432

Запалят прошлогодние листья,
и потянет дымком между сосен.
Всколыхнется душа, затоскует,
то ли старость уже, то ли осень.

То ли сизое воспоминанье
дочерна перетлевшей невзгоды;

то ли вечная горечь России —
много воли и мало свободы.

Сушат хлеб, или топится баня,
костерок в чистом поле белесый, —
посреди безутешного мира —
дым отечества, счастье сквозь слезы.

433

Сколько листьев замертво,
после схватки с ветром,
пало наземь, замерло
в сумраке рассветном!

Сколько было по лесу
ветрового сыска!
Сколько слухов понизу —
по земле российской!

434. УСПЕНИЕ

Крестный ход. Успенье лета.
Купола светлым-светлы.
Но взглянул — и меньше света,
но вздохнул — и больше мглы.

Стужей близкого покоя
веет за версту вода.
Невзначай махнул рукою —
как простился навсегда

поглощено забвеньем легкой славы
возвышенно дичающее тело.

На острове у нас пусто летом,
цветут воспоминания вдоль линий,
а солнце опускается не где-то,
а здесь —
за той горою, в той долине.

КОМАРОВО, 1970-е...

436. ПОРТРЕТ ГОСТЬИ

— Живешь ты впроголодь, красавица, поешь!
Нет, хорохоришься, на случай хорошея. —
Твой большеротый взгляд, сговорчивая шея
(всё, что ни станется, останется промеж
двоих, почти своих!), пустая дача, осень...
Столкнись мы десять лет еще назад в лесу,
нам заблудиться бы и трех хватило сосен!
Теперь же — протопил сосною и несу
твои бездомные сушиться сандалеты,
завариваю чай. Из кухоньки слышней
дождь, отменяющий обратные билеты,
распространяющий себя на много дней,
радушный дачный дождь. В окне темно и сиро.
Страх как легко сказать: «Поди-ка попляши!»
И ты, присевшая на краешек души,
жуешь, задумчиво смакуя, ломтик сыра...

437—438. О САД НОЧНОЙ...

1

Согрелись, обсушили рукава,
дождь кончился, когда уже темнело, —
я думал вы уйдете; черта с два:
пока неодолимо и несмело
отряхивалась досуха листва, —
вы мешкали, ища свои пожитки.

Я вышел проводить вас до калитки;
в саду крошечном стало как в лесу
от слышимости высшего накала,
и капля — вызревая на весу —
одна на всю вселенную — упала
и — взорвалась... Кого теперь спасу?

2

Встаешь, очки снимаешь, в сад
выходишь, погасив веранду.
Полночные пространства голоса
на железнодорожном эсперанто.

В беззвездной пасмури черней
сосны отверженной вершина.
Молчишь, не обинуясь перед ней,
и ваша обоюдность нерушима.

Ну горожанин, ну чудак,
семью не прокормить бывает.
А дерево ты понимаешь так,
как дерево себя не понимает.

Сыновней совестью казним,
стряхнув обузу первородства,
сочувствуешь, но не ему, а с ним —
и вырастаешь раз, наверно, во сто.

С твоих корней, с его подошв
земля ссыпается несмело.
Вокруг ни зги. Накрапывает дождь.
И с космосом соприкоснулось тело.

439. НЕ СЧИТАЯ КОТА

Ну что ж! Вот и осень. В саду нищета.
Я в доме один, не считая кота.
Нельзя удержаться от вздоха.
Но в общем-то это не плохо.

Я утром подняться себя тороплю.
Гремлю у колодца и печку топлю.
Пью чай и сажусь у окошка —
авось, напишу хоть немножко.

Я честно сижу, не скучается мне.
Забавную сойку я вижу в окне.
Листочек нечаянный вижу,
слетающий в хвойную жижу.

Я вижу, как ветер вступает в игру,
и листья мотает и рвет на ветру,
и дерево машет руками.
И кот мой, ища вдоль забора дыру,
несется большими прыжками.

Я слышу, как дождь начинает идти:
как будто и нету другого пути —
идет, спотыкаясь о крышу.
А время двенадцать уже без пяти,
а я только вижу и слышу.

Я вижу, что ровно двенадцать уже,
я слышу, как чинят мотор в гараже. —
Я в доме один, не считая
кота, что, конечно же, настороже,
но честно сидит на своем рубеже,
другого кота поджидая.

Я тоже, как сказано, честно сижу —
и тоже минуту свою сторожу...

440. ЛЕСНАЯ ПРОГУЛКА

Посмурнело в лесу,
выцветает березовый ситчик.
Я в берете несу
два наклона попутных лисичек.
Ради славы уже
я не рыщу, как в прежние годы.
Подаянья природы
достаются одной лишь душе.

Просветленный финал
после бури страстей и восторгов.
Я свое отстонал,
мох под соснами палкой исторкав.

Черета уже быть
милосерднее, выше, добрее.
Жить нельзя не старея —
просто надо любить как любить.

Ну какая ж беда, —
тихо радуюсь, идучи к дому.
Мир таким никогда
и присниться не мог молодому!
А с годами в строку
будто сам отливается сразу. —
Я крылатую фразу
из прогулки лесной извлеку.

Вот какие дела,
а слыву неудачником вроде.
Даль спокойно светла,
на последнем стою повороте.
Сколько б ни было дней,
с легким сердцем уйду восвоеси. —
Наших всех разногласий
согласованность мира сильней.

441. ОСЕНИНЫ

У нас в Комарове деревья
и осенью так же строги.
Слоняюсь на позднем пригреве
походкой вот этой строки.

Вдоль дачных линиялых заборов,
вокруг нежилого жилья.

Сперва прохожу мимо Горов,
потом мимо Граниных я.

Вдоль детских пустующих дачек
брожу, на качелях сижу.
Попавшийся под ноги мячик
зачем-то в руках подержу.

Вдоль тихих веранд и участков
с надменной ненужностью мальв.
Ко мне почему-то неласков
барбосик по имени Ральф.

Но, Господи, что за попреки!
Той будки ахматовской страж,
скитаюсь на мертвом припеке,
собой довершая пейзаж!

Вослед журавлиной станице
гляжу, будто это навек...
Душа отвечает сторицей,
и жгучее солнце струится
из-под остывающих век.

442

Трудно тинятся тени
в перелеске закатном.
Легкий шелест растений
как бы где-то за кадром.

Послونهاюсь для виду
между двух сыроежек.
Нога за ногу выйду
на брусничный обмежек.

Сухо шепчут березы,
влажно плещут осины.
Все смотрел бы сквозь слезы
в тот костер негасимый!

443. ПРОЩАНИЕ С САДОМ

О мой замусоренный сад,
дождливый мой лесок!
Всех обнажение досад,
ветшание досок.
А листья если и висят,
то все наискосок,
висят, мотаясь вкривь и вкось,
а я — ненужный гость.

Особенно когда блеснут, —
они наперечет.
Счастливых некогда минут
в саду переучет.
Брожу, зануда из зануд,
за шиворот течет,
брожу и вижу все насквозь, —
ненужный, в общем, гость.

Прощай, мой сад! Не обессудь,
что обернулось так.

Быть может, жизни нашей суть —
такой же кавардак?²
Тебе забыться бы, уснуть, —
а я брожу, чудак:
своим считал себя, небось,
и вот — ненужный гость.

444

Кончаюсь. Нечего сказать.
И некому. Зачем печалить?²
Душа узлом — не развязать,
от повседневья не отчалить.

Еще я честно бормочу.
Еще мешают — я ворчу.
Строгою рифму побогаче.
Еще обманываю всех.
И — покушаясь на успех —
скрываю призывк неудачи.

Слепит еще сиянье дня.
Могу ль не радоваться свету?²
А все уже — не про меня.
И нету слов. И жизни нету.

445. СТИХИ О ДОЖДЕ

Шум дождя на веранде,
лето, дачный сезон.
Сколько там ни горланьте,

я дождем обнесен.
Я дождем забормочен,
мне совсем не до вас.
Да и весел не очень
я, наверно, сейчас.

Шум дождя на веранде,
каждодневный недуг.
Никаких нет гарантий,
что разведрится вдруг.
Ни малейшей отсрочки.
Так что, брат, не ершись!
Недописаны строчки,
недодумана жизнь.

Шум дождя на веранде
до конца моих дней.
Напоследок сварганьте
кофе мне почерней.
Или нет, погодите,
лучше сам я сварю.
Вы со мной посидите,
я на вас посмотрю.

446—447. КОМАРОВСКИЕ ДЯТЛЫ

Дятел знает очень много...
Б. Корнилов

1

...И тот же дятел,
что к Ахматовой летал,

что с Гитовичами ладил, —
и со мной водиться стал.

Примостится спозаранья
на осине негустой
и строчит воспоминанья
без единой запятой.

Как тут жили-поживали
(а глазок его блестит),
с кем дружили, что жевали
(Бог забывчивых простит).

О свидетель жизни нашей,
память добрую твою
я поддерживаю кашей,
ломтик сыра отдаю!

2

Почти что без запинки,
никем не поняг,
на пишущей машинке,
долбит, долдонит.
Среда или суббота,
долдонит дятел. —
Знай головой работай,
пока не спятил!

Стволу полтыщи надо
задать вопросов.
Интеллигент пернатый,
поэт, философ —

работает красиво,
со страстью, то есть
весь век не за спасибо,
всю жизнь на совесть.

Козява и букаха
не любят дятла.
Жучок хамит со страха:
— Попомнишь, падла! —
Поют себе на ветке
другие птицы,
а этот знай в жилетке —
с утра трудится!

448. РИСУНОК НА ПЕСКЕ

Кто палкой на песке нарисовал меня?
Сутулого, обросшего, в берете.
На первый взгляд все точно на портрете —
и нос, и горб, — смеется ребяшня
взахлеб... А между прочим, те же дети,
столкнувшись где-нибудь лицом к лицу со мной,
вдруг притихают и глаза отводят;
и с глазу на глаз пьяницы заводят,
как будто перед собственной виной,
свои глухонемые оправданья;
да что-то и в тебя, как ты призналась мне,
запало чуть не с первого свиданья...
Так пусть же на съедение волне
идет рисунок — он без дарованья,
он верно лишь копирует черты!.. —
Но разве же таким меня запомнишь ты?

Вижу яростный лик небосвода,
 знать не знаю лица своего.
 Сколь ничтожна моя несвобода
 перед явленной волей Его!
 О раскованность! О торжество!
 А еще говорят — непогода...

Вадиму Халуповичу

Всю зыбкость пятнистого света
 в трехстопный вложу амфибрахий.
 Какое счастливое лето
 глядит в декабре с фотографий!

За окнами вьюжит и мглился,
 всё шапки да шубы сплошные.
 А тут — еще легкие лица
 и воротнички отложные.

Среди негустого лесочка
 стоим мы, друзья и соседи.
 Моя долговязая дочка
 гарцует на велосипеде.

А сам я — на фоне веранды
 кота подхватил под микитки.
 Беспечности нашей варианты,
 и настезь, конечно, калитки!

У гостя в руке сигарета,
он прыскает от анекдота...
Какое счастливое лето —
как перед войною когда-то!

КОМАРОВО. ПОСЛЕДНИЕ...

451

Поспешу ли найти оправданье,
ничего не скажу, — все равно:
в девятнадцатом веке — рыданье,
а в двадцатом — усмешка в окно.

А в двадцатом — ни жалоб кузине,
ни бессонницы, ни дневника. —
Через город, в гремучем бензине,
ты идешь, и походка легка.

Под мотивчик какой-нибудь шалый,
измывающийся над душой,
ты уходишь в себя, и пожалуй —
до галактики ближе чужой.

452

Все чаще мы домашних сердим
внезапной глухонемой...
С преувеличенным усердьем
остаток слова заглотну.

Успею снять еще кофейник,
поднять уроненное, но
уже из всех забот семейных
как кто-то выключил меня.

Я глухотою зарешечен,
от пониманья отрешен.
Я здесь — и нет меня, и нечем
вернуть меня в согласный шум.

О не сердитесь, трали-вали!
Конечно, и на этот раз
я возвращусь. Но вы бы знали,
где был я... как любил я вас...

453

Никакая как будто еще и не старость,
столько воли вокруг,
но единственное, с чем душа не рассталась,
это речка и луг,
лес за речкой, и тварь неразумная Божья,
и тропинка, — уже
до разлившегося на весь мир бездорожья
нету дела душе.
Из событий — одни только лоси в тумане
да луна сквозь кусты, —
все бесстыдней день ото дня, все безобманней,
безнадежнее ты
счастлив домом своим, домочадцами, дымом
между сосен, котом

на крыльце, и в неведение непобедимом,
как все будет потом.

454

Живут пока живут...
Тоска или простуда, —
однажды позовут
откуда-то оттуда.

С небрежностью такой
помянут между делом —
чуть мреющей рукой,
платочком белым-белым.

И вот — я не Иван,
тем паче — не Царевич.
Отныне я — Туман
по кличке Вечеревич.

Скрываю белый свет
и скрадываю звуки,
и ни дороги нет,
ни встречи, ни разлуки.

И кажется, я тут —
и нет меня, сдается.
Живут пока живут...
А если не живется?

455. ДОБРОЙ ПАМЯТИ

Лошадь вышла из употребления,
анахронистичен трубочист...
Пусть себе на душу населенья
меньше доброй памяти, —
лучись,
не тускнея, стеклышко цветное,
навсегда зажатое в руке!
Город разговаривал со мною
на старобулыжном языке.
Праздничный навоз; и отсырелость
вербы переулочной; и ртуть,
что на солнце долго не смотрелась, —
но в конечном счете расстегнуть
позволялось пуговицу, даже
две: на обороте был значок...
Как потом я плакал о пропаже!
Чтоб меня утешить, сундучок
няня свой распахивала: в центре
крышки, приоткинутой к стене, —
позапрошлый царь; и словно в церкви —
тесно-тесно, лицами ко мне,
по бокам, не страшные от лака,
мученики выстроились; и
дух сухого дерева и мака,
воска и лежалой кисеи —
обвевал... И вдруг она конфету —
на-ка вот!..

Да я сейчас бы вам
за одну, за бедную, за эту,
с фантиком линючим — килограмм

отвалил бы, белочек ли, мишек!..
Нет, минутки нет ни у кого
под крестом поплакать полусгнившим
на могиле детства своего.

456. РОДИНЕ

Иду, столбы считаю,
ни встречи, ни привала.
Взметни воронью стаю,
чтоб даль не пустовала.

Швырни проселок в ноги
от большака налево.
Да трактор у дороги
поставь ржаветь без гнева.

Да в час похмельной злобы
каблук в грязи оттисни. —
Как мало нужно, чтобы
своим прослыть в отчизне!

Как много нужно, дабы
мою судьбу сыновью
пронзило навсегда бы
той странною любовью!

457

Леском пройти короче! Вдоль канавы
пупырчатой; пиная пни; минуя

зловонные завалы утиля;
шагая по осколкам дачной славы;
свою же непутевость матеря, —

запутаться в тропинке между сосен
и, прогибая почву торфяную,
вдруг посреди безвыходной глуши
задрать лицо в сияющую просинь
и — захлебнуться памятью души...

458

По памяти рисую: вот изба,
край изгороды, церковь и с обрыва —
тропинка... Я коснусь ладонью лба,
от мухи отмахнусь нетерпеливо
и, напрягая зрение, всмотрюсь...
...Нет, никакая вроде бы не Русь
и никакая даже не Россия...
Вот девки с коромыслами идут,
вот мы бежим с мальчишками босые,
вот вечный дядя Ваня тут как тут, —
не первая ли удочка в округе!
Я чувствую доньне, сколь упруги
чуть влажные нагретости тропы...
...Не Псковщина еще, пожалуй, даже...
А тетя Дуня за реку в грибы
ходила, и улыбочка все та же,
что и тогда, полсотни лет назад.
Кладбищенские тополя сквозят
на солнце, нестерпимая блескучесть

в листве тех незапамятных времен...
...Не Святогорский даже и район...
Отматерясь, отсовестясь, отмучась,
моей деревни дух и естество
погасли. По-немилому все ново,
запущено, расхищено, мертво...
...Неужто и народу-то всего
на родине, что у ларька пивного?!

459—463. ПОСЛЕДНИМ ДРУЗЬЯМ

1

Дальше вроде бы некуда, а вот поди ж ты —
и смеемся, и сплетничаем, как ни в чем не бывало,
и за водочкой (будь оно трижды
все неладно!) сидим до упора, едим до отвала.

Не посмеем прервать себя ни на минуту,
за отсутствующих разве таянем без тоста.
Головой в пору об стену, а между тем почему-то
и вздохнуть не моги: круговая порука юродства.

Обо всем говорится! О чем только не говорится!
А зайдет-таки речь о России —
нечиста будто совесть, в пушку будто рыльце —
друг на друга не смотрим, разини.

2

Отечество ли, отчество ли — их
не выбирают: нет на это воли.
Тяжелая тебе досталась честь,
глухое унаследовано поле,

и Отче наш всеильных губ твоих —
осинового лепета невнятной,
и воронье висит над голубятней
твоею — над какою ни на есть!

3

Нет, не только наряженный гроб —
вопиющая практика смерти!
Худо-бедно ли, вы уж поверьте,
я друзей за полвека наскреб.

С теми спорил, у тех пирувал...
Но в отечестве пасмурном нашем
мы теперь только крыльями машем:
вот еще одного наповал.

Ах куда ж ты, постой, погоди!
Хорошо ли тебе на том свете?
Обомлеем, однажды заметя,
что вокруг хоть шаром покати.

Камень на сердце — эка беда:
хоть пока еще сердце не камень! —
Молчаливым живу привыканьем,
что ни с кем — никого — никогда...

4

Ломаются ногти и рвутся шнурки.
А может быть, правда, что мы старики? —
Встречаться — как будто прощаться.
Вчерашняя водка стоит на столе,
хоть капельку выглядеть навеселе
мои сопечальники тщатся.

Присядет на краешек время само.
Мы как с того света читаем письмо:
герой не забыть нас божится.
А нам оставаться на этой земле,
рыдать-убиваться об этой земле
и в эту же землю — ложиться!

Мы полночь выйдем, хоть выколи глаз.
Вокруг сто углов, ненавидящих нас,
забланных сто подворотен.
За нашу судьбу и полушки не дашь...
Качается город... дичает пейзаж...
и все ж таки путь ежедневнейший наш —
до ужаса бесповоротен.

5

Опять городское безлюдное лето.
В канале осклизлой волны переливы.
Колблет дома петербургского цвета —
лиловый, линиялый, ленивый.

Вдоль берега узкие окна змеятся,
замковые камни кривляются грубо.
Того и гляди, не начнут ли смеяться
мои невеселые губы.

Живем вот, жируем, детей своих женим,
гордимся своим петербуржеством нищим.
А цвету, ослабленному отраженьем,
так имени и не подыщем.

Разлуки с родными... разрывы с друзьями...
Не тонет лишь памятник архитектуры,

и маски лепные кривляются в яме,
и сам усмехаюсь я хмуро.

До гроба — лиловый, линиялый, ленивый
колеблет вдоль берега жирную лету...
Пока отражается — мы еще живы,
исчезнет — и нас уже нету.

Да что: нас давно бы уже доконали
с друзьями разлуки, с родными разрывы,
когда бы не ласковый отблеск в канале —
лиловый, линиялый, ленивый.

464. КУПАНИЕ В НОЧНОМ ФОНТАНЕ

Женщинам в отличие
Крылышки даны...
Н. Олейников

Что в городе? — Да ничего, стоит!
Стоит себе, я говорю, пустует,
без всяких приключений существует,
свои фонтаны попусту струит.

И то: кому теперь он поднесет
полуночную чашу этой влаги? —
Глоток непозволительной отваги
перед лицом незыблемых высот!

Кому столь запросто предложит он купель
со звездно расплескавшейся вселенной?!
Две сумасбродки (море по колено!),
две нимфочки (турнуть бы их отсель!),

отчаянные чьи-то две любви,
что смеха ради крылышки омочат...
Конечно, только голову морочат,
но без таких попробуй проживи!

Попробуй без таких не опустей:
два счастья через край, поверх гранита!..
А впрочем, все осталось шито-крыто,
без неприятностей для городских властей.

465. ПОСЛЕ НОВОСЕЛЬЯ

Ну что же... всяческого счастья
хозяевам... пора и честь!.. —
Не стой на лестнице, прощайся,
хотя еще минутка есть,
хотя, конечно, есть минутка,
еще успеешь на метро!..

И вот — его кривая шутка,
и вдруг сверкнувшее мертво
ее кольцо, ее ладошка
в ладони медлящей твоей,
и света щель из-под дверей, —
все отдаляется немножко
и застывает навсегда...

И не минута, а года
текут; ушел последний поезд;
стареет женщина, — уже
я ни о чем не беспокоюсь:

с печалью лестничной в душе
все не могу начать разлуку...

Наверно, кто-нибудь другой —
в поклоне пожимая руку —
ступеньку пробует ногой.

466

Шумят, красуясь, корабли...

И мы трехъярусно цвели,
глумясь над оторопью взрослых
в постыдном пафосе своем. —

Теперь молчать не устаем:
терпенье — наш последний остров,
обугленный клочок земли...

Вернетесь ли? Очнетесь ли?

467

Пряжку, Карповку, Смоленку,
Стикс, Коцит и Ахеронт...
А. Кушнер

Ну Мойка, ну Карповка пусть...
Бесслезно, безгневно, бескрыло —
сведет меня город — вплетусь,
врисуюсь в ночные перила.

Вода, свою вечность яви! —
Куда там: клоака клокочет,
всплывают предметы любви
и мост опрокинутый сводчат.

Не время жалеть о себе!
Чугунная тяжесть в затылке...
Пускай в непроглядной судьбе —
уколом блокадной коптилки —
вдруг вынырнет из-под моста,
поверх петербургского масла —
звезда... Ох уж эта звезда:
и как до сих пор не погасла!

Смоленка ли, Пряжка... Внаклон,
ладонями в поручень узкий...
По-блоковски век воспален,
разнуздан по-обериутски.
Стоим — я и город — не спим,
фонарь все масштабы смещает.
И берег изгибом своим
строку мою предвосхищает.

468

Сколько ж было!.. А было... и жгло...
Неужели со мной это было?
Поросло.
Или сплыло.

Вот, казалось, любовь навсегда.
Дальше некуда вроде, казалось! —

И следа
не осталось.

Не осталось следа, говорю...
Нет, не то что забыл, а не помню.
Не курю —
и легко мне.

И легко пожимаю плечом.
Да когда и вздохну тяжелее, —
ни о чем
не жалею.

Так и чувствую, как с высоты
шаг за шагом спускаюсь я к дому...
Ну а ты?
По-другому?

469

Любовь... О господи, любовь!
Любила — не любила...
Чурайся, ерничай, злословь,
забудь, как это было,

не верь, что было не уснуть,
все перепутай даты —
и все ж до гроба счастлив будь,
что мог любить когда-то. —

Когда под шорох грозных крыл
держать ответ придется,

шепни одно лишь: «Я — любил», —
и жизнь тебе зачтется!

470

Ни по лесу, ни по полю, ни вдруг —
через овраг, не разнимая рук,
ни на берег под звезды, ни во тьму —
сверяясь лишь по сердцу своему.

И ни банальных слов не повторять,
и ни, тем паче, голову терять,
и ни вздыхать на весь на белый свет,
ни даже ручкой не махать вослед.

Ни ревновать, ни — Боже сохрани! —
надеяться, ни жаловаться — ни —
чего, и ни-куда, и ни-когда
ни — с кем уже. Все было. Все вода.

471. БАНАЛЬНАЯ БЕССОННИЦА

Всю жизнь она хотела спать —
и выспаться не удавалось.

Теперь в четыре или в пять
сном неохотным забывалась.

Не то что память тяжела,
но если было — значит, было.

Он жил — не думала: жила.

Он умер — поняла: любила.

Не так, пожалуй, как иных,
но свыше двух десятилетий
он был наивней, чем жених
(не зря его любили дети
чужие), говорил: — Моя! —
и целовал...

Она боялась —
от невозможности вранья —
промолвить слово и — смеялась...
Смеялась кряду двадцать лет!

Сказал бы кто, что плакать будет.
И отвечать все нет да нет,
лишь утром телефон разбудит.

472. ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Лице

Какое слово-то: отроковица!
При всей уже хорошестьи своей
еще не знает, как распорядиться
свалившимся вдруг на голову ей
богатством;

перед зеркалом все чаще
и так, и этак пробуешь себя:
ни девочка, ни девушка, — скользящи
все признаки;

любя и не любя
ту, отраженную, то надуваешь губы —
остричь бы, к черту, волосы! — то вдруг
рывок плечом, нетерпеливо грубый,

и для заколок не хватает рук;
еще не понимая чем гордиться,
примериваешь гордые черты —
и кто-то у окна по-взрослому садится...

Не девочка ли с персиками ты?

473

Ах как было легко! Ах как было недолго!
Половица остыла, чуть солнце устало.
Под ногами блеснувшая было иголка —
не нагнулся и — вновь невидимкою стала.

Окликаю... А рощи уже безголовы.
Отвыкаю... На черта ли столько свободы!
На вчерашних верандах — засохшие осы,
и в носу от укропа свербит и смороды.

Я дровишек еще нарублю по привычке,
сдам бутылки, потрогаю печку — тепла ли.
И однажды — опомнившись — на электричке
укачу: поминай — глядя на ночь — как звали!

Ах как было! Как не было дня, о котором
затоскуется, сердце зайдет от боли! —
И всю зиму, под окнами, с занесенным мотором
будет легкая память мертветь на приколе.

А нежность по-стрекозьи пучеглаза.
Ни дать ни взять — овраг среди овса!
Густеют голоса,
 не удается фраза.

Течение дня зашторено врасплох,
забота рядом с бусами забыта.
Какой урон для быта —
 один счастливый вздох!

И крышечка на чайнике взбухает,
и за стеною кашлянье старух. —
...Наш полумертвый дух
 в овраге отдыхает...

Нет времени уже роптать.
Чем меньше слов, тем больше слово.
Идем вдоль луга золотого,
четырёхстопна благодать.

Но — нет, не тени с полуден
длинней, ни реплики короче —
неотвратимым кругом ночи
наш день по краю обведен.

Неотвратимо сознаем,
в какую тень несут нас ноги.
Слова сливаются в итоге
в одно молчание вдвоем.

В одну бессмысленную тень
вливаются две наших тени, —
и ни мечтаний, ни хотений,
ни памяти на прошлый день...

Так не от счастья ли сейчас
нам должно плакать, Диотима? —
Луг золотой... И мы взаимо-
доверчивы... И запах дыма... —
Воистину: довольно с нас!

476

Уходит жизнь моя в песок.
Целую тихий твой висок.

ПРИМЕЧАНИЯ

Глеб Семенов начал печататься, когда ему было 18 лет. В журнале «Резец» № 8 за 1936 год вышла подборка его стихов («Едва я только прыгну с поезда...», «Приход скота»), тот же «Резец» в 1938 году печатает стихотворение «В серый день», в альманахе «Литературный современник» в № 10—11 за 1940 г. напечатаны «Песенка» и «Как же я скажу тебе...», и в том же «Литературном современнике» в № 5 за 1941 г. публикуются стихотворения «Заморозки» и «Елка». Очень серьезная подборка стихов начинающего автора напечатана была за год до войны в журнале «Звезда» в № 5—6 за 1940 год («По-над лесом спокойно проходит луна», «Гроза», «Перед дождем», «Упорно вниз вела дорога...», «В дремотный лес, как в отчий дом...», «Я не в упор скажу, а для сравнения...», «Печаль, как маленькая птица...», «Дома»).

При жизни Глеба Семенова вышли четыре его стихотворные книги: «Свет в окнах» (Л.: Советский писатель, 1947), «Отпуск в сентябре» (М.; Л.: Советский писатель, 1964), «Сосны» (Л.: Советский писатель, 1972), «Стихотворения» (Л.: Лениздат, 1979).

После кончины поэта (он умер в 1982 году) вышло еще две книги: «Прощание с осенним садом» (Л.: Советский писатель, 1986) и «Концерт для возраста с оркестром» (СПб.: АОЗТ «Журнал “Звезда”», 2000). Обе книги были собраны наследниками Глеба Семенова. К этому можно прибавить еще некоторое количество

публикаций (и при жизни, и посмертных) в альманахах, в журналах, в сборниках (например, в «Дне поэзии» за разные годы). Ниже в примечаниях будут приведены ссылки на выявленные публикации.

Но, как объясняется во вступительной статье, до самого последнего времени сборники стихов, как изданные при жизни поэта, так и после его кончины, не отвечали, по сути, авторской воле. Только теперь появилась, наконец, возможность расположить стихи автора так, как им самим было задумано, и представить творческое наследие Глеба Семенова наиболее полно. Некоторое количество стихотворений (в основном из ранних книг) пришлось и в этом издании опустить по соображениям объема. Хочется надеяться, поэт Глеб Семенов впервые, наконец, предстаёт перед читателем так, как было задумано им самим.

Ряд стихотворений публикуется впервые.

Большая часть текстов печатается по рукописи, точнее — по авторизованной машинописи, хранящейся у наследников Глеба Семенова. Машинописные тексты сверены с черновиками автора и с текстами, переписанными им от руки начисто. Глеб Семенов записывал стихи и работал над ними, как правило, в общих тетрадах или чаще — в амбарных книгах. Они все сохранены, что дает возможность подробно изучить ход поэтической мысли автора. Готовые к перепечатке начисто на машинке стихи Глеб Семенов отчеркивал, обводил на странице тетради рамкой. Не все «книги» Глеб Семенов сам успел сложить так, как он задумал, и приготовить к изданию, но в его тетрадах и рукописях сохранились списки, содержания будущих сборников. По этим спискам и по рукописям поэта Е. А. Кумпан и Н. Г. Охотин приготовили полное машинописное собрание сочинений поэта, которое в несколько сокращенном виде и представлено в настоящем издании.

В примечаниях указывается датировка стихотворения и, через точку с запятой, все выявленные его перепечатки с указанием наличия вариантов. Глеб Семенов постоянно возвращался к старым стихам, переделывал их, «прописывал», как он сам говорил, так что установить время последней правки часто весьма затруднительно. Поэтому в качестве даты в примечаниях указывается либо та дата, которую сам поэт проставил в картотеке (и которая чаще отражает представление поэта о месте этого стихотворения в эволюции его творчества, независимо от наличия позднейших изменений первоначального текста), либо дата написания первоначального варианта, когда ее можно установить по косвенным признакам. Когда таких данных нет, дата не указывается.

Список сокращений

Ав — журн. «Аврора».

ДП — альм. «День поэзии».

Зв — журн. «Звезда».

КВО — Г. Семенов. Концерт для возраста с оркестром. СПб., 2000.

ЛС — журн. «Литературный современник».

Мс — журн. «Москва».

Н — журн. «Нева».

НМ — журн. «Новый мир».

ОвС — Г. Семенов. Отпуск в сентябре. М.; Л., 1964.

Ог — журн. «Огонек».

Ок — журн. «Октябрь».

ПОС — Г. Семенов. Прощание с осенним садом. Л., 1986.

Р — журн. «Резец».

СвО — Г. Семенов. Свет в окнах. Л., 1947.

Сосны — Г. Семенов. Сосны. Л., 1972.

Ст1979 — Г. Семенов. Стихотворения. Л., 1979.

Ю — журн. «Юность».

Первая книга поэта «Парное молоко» написана в 1930-х годах под впечатлением частых поездок в детстве и отрочестве на Псковщину в Святые (Пушкинские) горы, в Михайловское и Тригорское. В книге 58 стихотворений, в настоящем издании — 51.

I

1. Отрывок. Стихотворение представляет собой фрагмент из юношеской поэмы. Публикуется впервые.

2. «Едва я только прыгну с поезда...». 1936 год (картотека). Р. 1936. № 8; Эв. 1946. № 4; СвО. С. 55.

3. Сын вернулся. 1936—1938. Эв. 1946. № 4; Костер. 1946. № 2—3; СвО. С. 57 (с вар.). Эпиграф — из ст-ния А. Блока «Сын и мать» (1906).

4. Отцу. 1942 (?). ПОС. С. 21.

5. Снежный сад, 1935 (картотека). Костер. 1945. № 12; СвО. С. 67—68.

6. Песенка. 1930-е. ЛС. 1940. № 10—11.

7. Дядя Ваня. 1930-е. ПОС. С. 19.

8. Над Соротью. 1930-е. ПОС. С. 17.

9. «По-над лесом спокойно проходит луна...». 1938 (картотека). Эв. 1940. № 5—6; Прикамье (альманах). № 8. Пермь, 1945; Ст1979. С. 11.

10. «Комариная толока...». 1930-е. ПОС. С. 25.

11. «Не расстраивайся, не плачь...». 1930-е. Публикуется впервые.

12. Гроза. 1937 (картотека). Эв. 1940. № 5—6; СвО. С. 61; Ст1979. С. 9.

13. Перед дождем. 1937 (картотека). Эв. 1940. № 5—6; СвО. С. 62.

14. Молотилка. 1940 (картотека). ПОС. С. 18.

15. **Трактор.** 1941 (картотека). Ленинград. 1945. № 12 (с вар.); СвО. С. 63 (с вар.); Молодой Ленинград. Л., 1948; Ст1979. С. 10.

16. **«Упорно вниз вело дорогу...».** 1938 (картотека). Зв. 1940. № 5—6; СвО. С. 75 (с вар.); Ст1979. С. 14. *Вороницкая гора* или городище Воронич — один из памятников заповедника Пушкинские горы (о том, как в ранние годы Гл. Семенов был связан с этими местами, см. вступ. статью).

17. **«В дремотный лес...».** 1937 (картотека). Зв. 1940. № 5—6; Ст1979. С. 12.

18. **Видение.** 1930-е. Зв. 1946. № 4; СвО. С. 37—38 (с вар.). Эпиграф — из ст-ния Н. Заболоцкого «Вчера, о смерти размышляя...» (1936).

19. **Зимнее.** 1930-е. Посвящено отчиму С. А. Семенову. СвО. С. 76—77 (с вар.); Ст1979. С. 18 (без посвящения).

II

20. **У тверских карел.** 1940. Написано в деревне Куничиха. Публикуется впервые.

21. **Рань.** 1943—1944. Написано в дер. Шибуничи. Прикамье (альманах). № 8. Пермь, 1945; Зв. 1945. № 4; СвО. С. 34 (с вар.); Ст1979. С. 16.

22. **Тишина,** 1939 (картотека). СвО. С. 65 (с вар.).

23. **Приход скота,** 1937 (картотека). Р. № 7, 1938; СвО. С. 69—70; Ст1979. С. 7.

24. **«Скажите, зачем и куда побежала...»** 1937—1966 (картотека). Посвящено дочери Н. Г. Семеновой. ОвС. С. 53—54; Ст1979. С. 15.

25. **«На тебе цветистый поясок...»** 1939 (картотека). Зв. 1946. № 4; Ст1979. С. 16; ПОС. С. 26.; Н. 1986. № 9.

26. **«Соловьи безумствовали. Ветер...»** 1930-е, реконстр. 1970. Публикуется впервые.

27. «Закатав до колен штаны...». 1930-е, реконстр. 1970-х. ПОС. С. 20.

28. Луна дурачится. 1934—1967 (картотека). ДП. Л., 1978.

29. Наш петух. 1941 (картотека). Публикуется впервые.

30. Заморозки. 1940 (картотека). ЛС. 1941. № 5; ПОС. С. 29; Ю. 1987. № 7. С. 87.

31. «Я разбужен июльским громом...». 1930-е. Публикуется впервые.

32. «Как вонзались молнии в глаза!...». 1941. ПОС. С. 22.

33. «Запомнювал: было ли когда...». 1940 (картотека). Публикуется впервые.

34. «Звезды, как искры, дрожат над костром». 1944 (картотека). ПОС. С. 23.

35. На озере. 1946 (картотека). СвО. С. 41. Посвящено Льву Брандту, ленинградскому писателю старшего поколения, которого Глеб Семенов очень ценил.

36. Бессмертие, 1938 (картотека). Зв. 1940. № 5—6; Н. 1983. № 9. С. 122; ПОС. С. 30. Эпиграф — из стиха Ф. Тютчева «Тени сизые смешались...» (1836).

37. «Я не в укор скажу, а для сравненья». 1940(?). Зв. 1940. № 5—6.

38. Разъезд. 1940?. ПОС. С. 32.

39. «Печаль — как маленькая птица...». 1938 (картотека). ЛС. 1940. № 10—11; Н. 1983. № 9. С. 122; ПОС. С. 15.

40. «Не отпирают. Спят или не слышат?...». 1938—1940 (?). ПОС. С. 31.

41. «Как же я скажу тебе “прости”...». 1938 (картотека). ЛС. № 10—11, 1940 (частично); ПОС. С. 27.

42. Дóма. 1938(?). Зв. 1940. № 5—6.

43. «Настало время листопада...». 1940(?). ПОС. С. 35.

44. Памяти няни. 1939 (картотека). ПОС. С. 33.
45. «Что сентябрю от августа досталось?..». 1945 (картотека). ПОС. С. 34; Ю. 1987. № 7. С. 87.
46. «В серый день я вдоль канавы...». 1937 (картотека). Р. 1938 (без последней строфы); ПОС. С. 36. Эпиграф из ст-ния А. Блока: «Осенний день» (1909).
47. В чистом поле. 1946 (картотека). ПОС. С. 37.
48. «Когда испуганною ранью...». 1940(?). ПОС. С. 37.
49. Движение, 1940 (картотека). СвО. С. 74. В картотеке у Гл. Семенова пометка: «Посвящ.», но она осталась пока не разъясненной.
50. «Далека дорога, далека...». Стихи вынуты из рабочей тетради Гл. Семенова со стихами книги «Парное молоко», при жизни автора не публиковались. Скорее всего, Гл. Семенов хотел включить их в окончательный вариант книги. ПОС. С. 39.
51. Елка. 1940 (картотека). ЛС. 1941. № 5; СвО. С. 53; Антология русской советской поэзии. М., 1957. Посвящено Марии Владимировне Винк, первой жене Гл. Семенова. В СвО посвящение ей же — «Мане Семеновой».

Вторая книга поэта «Воспоминания о блокаде» (1941—1960) написана была начерно в 1941 году в блокадном Ленинграде и долго лежала в черновиках. К работе над ней Гл. Семенов приступил в 1959—1960 годах. В книге 36 стихотворений, в настоящем издании — 35.

52. Декларация. Судя по черновикам, стихотворение написано было уже после окончания работы над книгой, как своего рода вступление. Публикуется впервые.

53. Марши. Зв. 1991. № 2; КВО. С. 120.

54. Тишина. Ст1979. С. 22; КВО. С. 121. *С пьедестала царя свергают.* Имеется в виду памятник Петру I на площади у Михайловского замка работы К. Растрелли. Во время войны памятник был снят с пьедестала и спрятан в хранилище (см. также № 74 и примеч.).

55. Девочки. КВО. С. 121.

56. Небо. ОвС. С. 21; Ст1979. С. 21; КВО. С. 121.

57. Закат. ПОС. С. 42; КВО. С. 123.

58. Пепел. ОвС. С. 23; Ст1979. С. 24; ПОС. С. 40; КВО. С. 123.

59. Баррикада. ОвС. С. 24; Ст1979. С. 23.

60. Сны. ПОС. С. 43; КВО. С. 124.

61. Ополчение. ПОС. С. 44; КВО. С. 125. Стихи посвящены памяти Михаила Святловского, друга юности Гл. Семенова, погибшего в самом начале войны в ополчении. Семья Святловских сыграла определенную роль в становлении Гл. Семенова как поэта. Мать М. Святловского была сестрой поэта-символиста А. М. Добролюбова (1876—1945). Знакомству с творчеством этого поэта Глеб Семенов был обязан именно семье Святловских. Эпиграф воспроизводит автоэпиграф к ст-нию М. Цветаевой «Посмертный марш» (1922). *По небу полуночи ангел летел* — цитата из ст-ния М. Лермонтова «Ангел» (1831)..

62. Дым. ПОС. С. 45; КВО. С. 126.

63—64. Полнолуние. Н. 1983. № 9. С. 123 (1); ПОС. С. 46 (1—2); КВО. С. 127—128. *А помните: луной был полон сад... / луна плывет как лебедь...* — реминисценции стихов А. Фета («Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», 1877) и А. Пушкина («И тихая луна, как лебедь величавый / Плывет...» — «Воспоминания в Царском селе», 1814).

65. Выбор. Ст1979. С. 25 с изменением по цензурным соображениям названия на «Повседневье» и без двух последних строчек; КВО. С. 128.

66. Бомбежка. ПОС. С. 48; КВО. С. 129.

67—68. Отбой

1. «Конечно, самым популярным...». Ст1979. С. 26; ПОС. С. 49; КВО. С. 129—130

2. «Не из проветренных квартир...». ПОС. С. 49; КВО. С. 129—130. Было включено автором в состав Ст1979, но в книге опубликовано не было по запрету цензуры.

69. Дождь. Н. 1986. № 9; КВО. С. 130.

70. Затемнение. НМ. 1989. № 1; КВО. С. 131.

71. Ноктюри. ПОС. С. 50; КВО. С. 132.

72. Улица. ОвС. С. 25; Ст1979. С. 27; КВО. С. 132.

73. Чердак. ПОС. С. 51; КВО. С. 133.

74. Памятник. Ст1979. С. 30; КВО. С. 134. *Прадеду — правнук.* Надпись на постаменте памятника Петру I (работы К. Растрелли) на площади у Михайловского замка. Во время войны памятник был снят с пьедестала и спрятан в хранилище. Оставался лишь пустой постамент с этой надписью (см. также № 54 и примеч.).

75. Метроном. ОвС. С. 26, Пионер. 1965. № 5; Ст1979. С. 28; КВО. С. 134.

76. Лозунг. Эв. № 2, 1991; КВО. С. 135.

77. Подвиг. КВО. С. 135.

78. Бабушка. Пионер. 1965. № 5; Ст1979. С. 29. Адресат ст-ния — бабушка Гл. Семенова Е. В. Бруггер.

79. Визит. ПОС. С. 52; КВО. С. 136.

80. Смех. Ст1979. С. 31; КВО. С. 136.

81. Тело. ОвС. С. 27; Ст1979. С. 32; КВО. С. 137.

82. Друзья. Н. 1990. № 3; КВО. С. 138.

83. Арифметика. Н. 1983. № 9. С. 123; ПОС. С. 53; КВО. С. 139.

84. Дворники. Ст1979. С. 33; КВО. С. 139.

85. Бессмертие. Н. 1990. № 3; КВО. С. 140.

86. Концерт. ОвС. С. 28; Стихи... стихи... М., 1967;

Ст1979. С. 34; Музыка в зеркале поэзии. Л., 1985; ПОС. С. 54; КВО. С. 140. Ст-ние посв. Т. Ю. Хмельницкой, другу Гл. Семенова, известному литературоведу. Посвящение ей ст-ния «Концерт» не случайно: она была в числе слушателей исторического исполнения Седьмой симфонии Д. Шостаковича в годы блокады.

Третья книга Гл. Семенова «Случайный дом» написана в эвакуации в дер. Шибуничи под Пермью в основном в 1942—1944 гг. В книге 55 стихотворений, в данном собрании мы ограничиваемся 52-мя.

87. «По отрогам Уральских гор...». ПОС. С. 57; КВО. С. 142.

88. «Лузи, тают облака в них...». Публикуется впервые.

89. Освещенные окна. ПОС. С. 59.

90. Ласточка. ПОС. С. 58; Ю. 1987. № 7. С. 87.

91—92. Песни. Н. 1986. № 9; ПОС. С. 60—61.

93. «Горит моя земля... Горючая...». ПОС. С. 62.

94. «...И хвойные нахлынули холмы». ПОС. С. 56.

95. «Я — тыловая крыса...». Н. 1986. № 9; ПОС. С. 63; КВО. С. 142.

96. «Лежим — комар идет на нас...». ПОС. С. 67.

97. Бессонница. ПОС. С. 68.

98. «До самой большой беды...». КВО. С. 145.

99. Ревекка Моисеевна; КВО. С. 149.

100. Смерть одного из нас. ПОС. С. 64; КВО. С. 144. В картотеке указано первоначальное загл. «Смерть эвакуированного».

101. «Я вижу, как поезд мчится...». ПОС. С. 65.

102. «О чем ты, голодная темень?..» ПОС. С. 66; КВО. С. 145.

103. День рождения. ПОС. С. 70; КВО. С. 146.

104. Солнечное утро. ПОС. С. 83.
105. Сорока. КВО. С. 150.
106. Дезертир. Н. 1986. № 9; Ю. 1987. № 7. С. 87.
107. «Отбомбилась гроза на сегодня...». ПОС. С. 84. ...понасердке (обл.) — с обидой в сердце, в сердцах. Слово, скорее всего, услышано поэтом от кого-нибудь из местных жителей.
108. «Плечи солнечного обжига». ОвС. С. 44.
109. «Не забуду по гроб...». ПОС. С. 85.
110. Мечта. НМ. 1989. № 1. Эпиграф — из поэмы Б. Пастернака «Волны» (1931).
111. «Ни черное дерево взрыва...». В черновике название «Спросонья». ПОС. С. 69.
112. Прусаки. ПОС. С. 71.
113. «Смех девичий, вдовый плач...». КВО. С. 147.
114. Бутылка молока. Н. 1986. № 9; ПОС. С. 63; КВО. С. 77.
115. «Не дурак, а сроду так...». ПОС. С. 75.
- 116—117. В рабочем поезде. Публикуется впервые. Посвящено Геннадию Гору, писателю, печатавшемуся с 1925 года. Г. Гор — автор сб. рассказов «Живопись» (1933), повести «Дом на Моховой» (1945), фантастической повести «Странник и время» (1962) и др., воспоминаний о 1920-х годах, философ, коллекционер. С Глебом Семеновым был связан дружбой с 1940-х годов.
118. Трудовые резервы. ПОС. С. 73 (опущено название по требованию цензуры).
119. На Каме. СвО. С. 31 (искаж.); ПОС. С. 74.
120. Верста. ПОС. С. 78.
121. «Тишайшие сугробы...». ПОС. С. 72; КВО. С. 142.
122. Рябина. ПОС. С. 79. «Что стоишь качаясь, горькая рябина» и «Как бы мне, рябине, к дубу перебраться?» — строки из ст-ния И. Сурикова «Рябина»

(в первой строке у Сурикова «тонкая рябина»), ставшего народной песней. Эта песня была чрезвычайно популярна во время войны и в послевоенные годы.

123. Сухоплян. ПОС. С. 76; КВО. С. 147.

124. У госпиталя. КВО. С. 151.

125. Герой. СвО. С. 46 (с вар.); ПОС. С. 91.

126. «По одному приходят, по двое...». Н. 1990.

№3.

127. Сход. КВО. С. 152.

128. «Судим-рядим вкривь и вкось...». КВО. С. 151.

129. Туман. Ленинградский альманах. Л., 1945 (с вар.); Ст1979. С. 17.

130. «Когда в полях сияет полночь...». ПОС. С. 87.

131. «О этот мреющий простор!...». ПОС. С. 88.

132. «Кто осмелился, кто роздал...». 1945 (карточка). ПОС. С. 81.

133. Реки. Н. 1986. № 9; ПОС. С. 82. Эпиграфом послужила строка из ст-ния (или песни), услышанного Гл. Семеновым в деревне Шибуничи.

134. «Прекрасной осени не стало поутру...». Ст1979. С. 56; ОвС. С. 68.

135. «Поднимаюсь я по холмам крутым...». СвО. С. 36 (с вар.); ПОС. С. 90.

136. «Не торопясь, он выстрелил в меня...». Н. 1986. № 9; ПОС. С. 89; КВО. С. 152.

137. Большая дорога. Публикуется впервые.

Четвертая книга Глеба Семенова «Прохожий» (1945—1949) написана после возвращения из эвакуации в Ленинград и посвящена «послевоенному» человеку, счастливому и растерянному. В стихах стоит, как бы за кадром, только что отгремевшая война со всеми потерями и страданиями. «Послевоенный» человек Глеба Семенова — вовсе не герой сталинской эпохи, он не

просто «не может найти себе место» — он не хочет забыть только что пережитое. Он пока что «прохожий». В книге 63 стихотворения, в настоящее издание включено 52.

138. «В темноту ржавых пятнах...». Н. 1986. № 9; ПОС. С. 94.

139. «...И паровоз, убитый наповал...». 1945 (картотека). ПОС. С. 92.

140. Полустанок, 1946 (картотека). ПОС. С. 93.

141. «Живем на колесах...». 1946 (картотека). Н. 1990. №3.

142. Перед печкой. 1945 (картотека). ПОС. С. 96.

143. Апрель сорок пятого. 1945 (картотека). ПОС. С. 97.

144. «С поля Марсова вдоль Мойки...». 1946 (картотека). ПОС. С. 95.

145. «И круглый сад перед музеем...». 1946 (картотека). ПОС. С. 98.

146. Дирижер. 1946 (картотека). ПОС. С. 101.

147. Похороны. 1946 (картотека). Публикуется впервые.

148. Песенка об уличном фонаре, 1947 (картотека). ПОС. С. 107.

149. «Сегодня у меня плохое настроенье...». 1947 (картотека). ПОС. С. 103.

150. «У человека дома нет...». 1947 (картотека). ПОС. С. 108.

151. «Мальчик стал вежливым мужем...». 1946 (картотека). ПОС. С. 104.

152. Прохожий, 1947 (картотека). ПОС. С. 110.

153. «Устану я смотреть кино...» 1947 (картотека). ПОС. С. 106.

154. Свет в окнах, 1948 (картотека). Зв. № 2, 1991.

155. «Я знаю: ты была и не была...». 1946 (картотека). ПОС. С. 119.

156. «Мне приснилось, что я оглох...». 1948 (картотека). Публикуется впервые.

157. Лбом в стекло. 1947 (картотека). Эв. 1991. № 2.

158. Размышления на вокзале. 1946 (картотека). Публикуется впервые.

159. «Декабрь. Скука гололедиц...». 1948 (картотека). ПОС. С. 111.

160. «Сугробы. Летний сад. Сугробы...». 1946 (картотека). ПОС. С. 102.

161—162. Снежные варианты (или — Два варианта). 1948 (картотека). В картотеке загл.: «Снежные варианты (или — Два варианта)».

1. «...И заняли город снега». Н. 1990. №3.

2. «Зима на положении осадном». ОвС. С. 19, под загл. «Снег на голову».

163. *Idea fanaticus*. 1946 (картотека). Публикуется впервые.

164. Городской романс. 1946 (картотека). Публикуется впервые.

165. «Молиться — было бы кому!...». 1946 (картотека). ПОС. С. 105.

166. «В сухой асфальт впечатывая шаг...». 1947 (картотека). Публикуется впервые.

167. Стихи в манере Пастернака, 1945 (картотека). ПОС. С. 99.

168. «Постельная забыта благодать...». 1949 (картотека). ПОС. С. 112. *Риорита* — популярный в 1930-х — 1950-х гг. фокстрот.

169. Переводя северян, 1949 (картотека). ПОС. С. 126.

170. Творчество. 1948 (картотека). ПОС. С. 114.

171. Бабочка, 1946 (картотека). Н. 1986. № 9; ПОС. С. 113; КВО. С. 55.

172—173. Два отрывка.

1. «Без толку промелькнувший день...». 1948 (картотека). ПОС. С. 115—116.

2. «Не понимаю, гром иль просто мебель...». 1949 (картотека). ПОС. С. 115—116.

174. В шереметевском особняке. 1947 (картотека). Публикуется впервые. Имеется в виду шереметевский особняк для приемов на Шпалерной улице (бывш. ул. Воинова), д. 18, в котором размещался ЛОСП и Дом писателя. В «нижнем этаже» работал ресторан и бильярд.

175. В мастерской художника. 1945 (картотека). ПОС. С. 117.

176. «У тебя холодеют руки...». 1946. Публикуется впервые. В тетрадах есть вар. этого стиха, начинающийся строкой «А тоска-то тебе знакома...».

177. «Вспоминать в разлуке нельзя...». 1944 (картотека). Молодой Ленинград. 1948 (верстка); ОвС. С. 56.

178. «Я помню, слезы были едки...». 1959, 1970(?). Ав. 1977. № 3; ДП. Л., 1977; ПОС. С. 127.

179. Минута. 1946 (картотека). ПОС. С. 118.

180. Притча об исчезнувшей тени. 1946 (картотека). ПОС. С. 122.

181. «Молодая печаль, молодое вино...» 1948(?). ПОС. С. 125.

182. «Пляшет ветер на площадях...». 1946 (картотека). Публикуется впервые.

183. «Обрушиваются горы...». 1948 (картотека). Публикуется впервые.

184. «Когда в водовороты сна...». 1948? ПОС. С. 123.

185. Полусонное. 1948 (картотека). Публикуется впервые.

186. Грачи. 1947—1949 (картотека). ДП. М., 1968; ПОС. С. 128.

187. Воскресный арбуз, 1948 (картотека). ПОС. С. 123.

188. Рассвет, 1946—1949 (картотека). СвО. С. 24 (с вар.); ПОС. С. 128.

Пятая книга Глеба Семенова «Покуда живы...» (1952—1956) написана в годы, когда в России многое менялось. «Передвижническое» направление в искусстве, получившее заметное распространение сразу же после войны во всех жанрах искусства, в том числе и в литературе, обретает новый импульс после смерти Сталина в 1953 г. Наступает пора «оттепели», искусство стремится сказать правду о жизни страны — книга стихов Глеба Семенова, особенно первый раздел («В дальнем районе») полна этими настроениями. Постепенно примитивно-социальные темы, а с ними и «сюжетные стихи» уходят из книги. Второй («Покуда живы») и третий («Вечер встречи») разделы книги наполнены стихами хоть и не потерявшими публицистический накал, но чрезвычайно личностными. В них слышен голос поколения, к которому принадлежал автор. Поколения, главной задачей которого в эту эпоху стало переосмысление собственной истории. В настоящем издании книга дается в сокращении — 34 стихотворения (полный текст — 40 стихотворений).

В дальнем районе

189. В метель. ОвС. С. 37. «Кавалер Золотой Звезды» — роман С. Бабаевского о «счастливой» жизни послевоенной деревни, по которому в начале 1950-х гг. был снят одноименный фильм в том же лакировочном стиле послевоенного соцреализма.

190. Победитель ДП. Л., 1988.

191. **Разговор.** Публикуется впервые.
192. **Засуха.** Публикуется впервые.
193. **Учитель.** ОвС. С. 33.
194. **Последний табор.** Публикуется впервые.
195. **Артист.** ПОС. С. 145.
196. **«Распахнуты ворота — хоть на тройке...».** 1949(?). Публикуется впервые.
197. **Хозяин, 1954(?).** ОвС. С. 35 (под названием: «Возвращение к земле»). Тема стихотворения явно навеяна событиями 1954—1957 гг., а именно, возвращением политических заключенных из сталинских лагерей, как городских жителей, так и крестьян.
198. **«И веселый же мне подвернулся возница...».** 1946 (картотека). Публикуется впервые. Эпиграф — из стихотворения Б. Пастернака «Февраль. Достать чернил и плакать» (1912). *...какой же ... русский ... не любит ... быстрой езды* — начало знаменитого отрывка о птице-тройке в финале «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.

Покуда живы

199. **Песенка о случайной встрече.** 1960(?). ОвС. С. 41. Посвящено Леониду Агееву, поэту и ученику Глеба Семенова.
200. **На родине.** 1960(?). ОвС. С. 31; Ст1979. С. 39.
201. **Человек.** 1964(?). Сосны. С. 87.; Ст1979. С. 40; КВО. С. 160. Посвящено Борису Слуцкому, поэту и другу.
- 202—203. **Уездные вальсы.**
1. **«А сквозь деревья музыка мелькала...».** 1960-е. ДП, Л., 1976, Ст1979. С. 47; ДП. Л., 1984 (юбилейный).
2. **«Здесь люди лежат...».** 1960-е. Ю. 1967. № 9; Ст1979. С. 47—48.

204. **Строят дом.** 1940—1960 (картотека). ОвС. С. 39; Ст1979. С. 41—42. Посвящено матери, Н. Г. Семеновой-Волотовой.

205. «**Хозяйку звали тетей Дуней...**». Стихотворение существует в нескольких вариантах: 1948, 1956, 1970 гг., печатается наиболее поздний. ОвС. С. 43, ранняя ред.

206. «**Чуть за город — лес да поле...**». Стихотворение существует в нескольких вариантах: 1948, 1956, 1970 гг., печатается наиболее поздний. КВО. С. 159, последняя ред.

Вечер встречи

207. **Мир.** 1954—1956. Публикуется впервые.

208. **Вечер встречи.** 1956. Н. №4, 1988; КВО. С. 154. Посвящено Владимиру Британишскому, поэту, ученику Гл. Семенова.

209. «**Наш век. Наш город. Я в гостях...**». Со-сны. С. 86.; КВО. С. 159.

210. **За соседним столиком.** Публикуется впервые. *...память сердца* — поэтическая формула К. Батюшкова («О, память сердца, ты сильнее / Рассудка памяти печальной»).

211. «**Мир населен учителями...**». Публикуется впервые.

212. **Ольге Берггольц.** НМ. 1989. № 1; КВО. С. 158.

213. «**Да, были кривы и косы...**». Ок. 1993. № 4; КВО. С. 155.

214. **Зависть.** Публикуется впервые.

215. **Песни.** Н. 1990. № 3; КВО. С. 157.

216. **Плакат.** НМ. 1989. № 1; КВО. С. 156. ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту.

217—221. Стихи к Цветаевой.

1. «Про меня и не думала...». ПОС. С. 146—148.

2. «Есть часы — прости Господи!...». Публикуется впервые.

3. «Вся — как есть! Вся — из жизни...». ПОС. С. 146—148.

4. «Никому не племянница...». ПОС. С. 146—148.

5. «Здравствуй! Не над могилкой...». ПОС. С. 146—148.

Шестая книга Глеба Семенова «Год спокойного солнца» (1956—1957), в которую входит 31 стихотворение (в данном издании — 25) и поэма «Отпуск в сентябре», собрана автором из стихотворений 1956—1957 гг., которые можно отнести к жанру «пейзажной лирики», если бы не драматизм, пронизывающий и эту книгу наблюдений за природой.

222. Август. ОвС. С. 59. Посвящено Давиду Яковлевичу Дару, прозаику, воспитателю пиущей молодежи в Ленинграде 1950—1960-х годов, близкому другу Глеба Семенова.

223. «А ведь нам, пожалуй, поздно...». 1948 (картотека). ПОС. С. 130.

224. За ландышами. 1959—1960. ОвС. С. 47.

225. Прогулка. 1959—1960. ОвС. С. 66.

226. «Сегодня ночью шевельнулся...». ОвС. С. 45; Сосны. С. 101; Ст1979. С. 150.

227. «Что же все-таки стряслось?...». 1959—1960. ОвС. С. 46.

228. Воробьиная ночь. 1959—1960. ОвС. С. 55.

229. Закат. ОвС. С. 65; Ст1979. С. 66.

230. Доверчивость. ОвС. С. 64; Ст1979. С. 65.

231. «Не только пыльный подорожник...». Мс. 1967. № 12; Сосны. С. 73.

232—233. Речка.

1. «Поутру упала речка...». Сосны. С. 76.

2. «Ах, что за речка! Удираешь...». 1940—1958 (картотека). ОвС. С. 52.

234. «Не пытайтесь, не уснете...». ПОС. С. 138.

235. «Вспугнутый молчаньем соловьиным...». 1964. Н. № 9, 1983. С. 123; ПОС. С. 139.

236. «Медленных стад колыханье в июле...». 1970(?). Сосны. С. 75; Ст1979. С. 51.

237. Кранах. 1970(?). Сосны. С. 74; Ст1979. С. 52. Речь идет о картине Л. Кранаха «Адам и Ева».

238. Зрелость. 1940, 1960-е(?). СвО. С. 40 (без названия); Ав. № 10, 1971; Сосны. С. 77.

239. К яблоку. 1963—1964(?). Ю. 1967. № 9; Стихи, стихи... М., 1971; Сосны. С. 78; Ст1979. С. 53.

240. Рифма. 1948 (картотека). ПОС. С. 141.

241. Творчество. 1954—1960(?). ПОС. С. 143.

242. «Так случается весной...». 1946 (картотека). ПОС. С. 131.

243. «Полдень. Поле. Разнотравье...» ПОС. С. 136. В тетрадах есть вар. этого ст-ния, начинающийся строкой «Выйду в поле, полдень, разнотравье...».

244. «Вокруг меня весь мир собрался...». ПОС. С. 137.

245. Туча на исходе августа. ПОС. С. 140.

246. «Не пойму, откуда у меня...». ПОС. С. 142.

247. Отпуск в сентябре. Поэма (1946—1961). В конце чистовой рукописи поставлено: «1948—1956—1961. Всеволожская-Ленинград-Комарово». ОвС. С. 83; Ст1979. С. 71.

Седьмая книга Глеба Семенова «Длинный вечер» — книга любовной лирики. На рукописи стоит посвящение Наталии Охотиной, даты написания книги: 1961—1964 гг. В книге 34 стихотворения. Публикуется целиком.

248. Молитва. Ог. 1989. № 12.

249. Семейная баллада. ОвС. С. 73.; Ст1979. С. 57. Посвящено Льву Всеволодовичу Мочалову — поэту, искусствоведу, младшему другу Гл. Семенова.

250. Твое стихотворение. ПОС. С. 161.

251. «Зайдем-ка, милая, на рынок...». ПОС. С. 156; КВО. С. 40.

252. Весна священная. Публикуется впервые.

253. Ревность. ПОС. С. 157.

254. «Рук твоих ночные превращенья!...». Публикуется впервые.

255. «Ты принесешь глаза...». Публикуется впервые.

256. «Все мало мне, все мало!.. Некрасивым...». ПОС. С. 158.

257. «Я не люблю тебя... Я не хочу любить...». ПОС. С. 160.

258. Ворон. ПОС. С. 162.

259. Длинный вечер. Сосны. С. 79; Ст1979. С. 60.

260—264. Пятая зона. ОвС. С. 61—63 (1, 2, 3, 5); Ст1979. С. 62—64 (полностью). «Пятая зона» — так обозначается курортная зона Ленинграда по Финляндской дороге, к которой относится и пос. Комарово.

265. Земля. Ю. 1967. № 9; Сосны. С. 53.

266. Деревья. 1960-е(?). ОвС. С. 69; ПОС. С. 155. Эпиграф из ст-ния Н. Гумилева «Деревья» (1916) из кн. «Костер».

267. Вокзалы. 1960-е(?). ПОС. С. 165.

268. «Встречались мы и расставались...». Мс. 1967. № 12; Сосны. С. 84; Ст1979. С. 59.

269. **Одиночество.** 1963(?). ПОС. С. 163 с пропущенной по цензурным соображениям четвертой строфой.

270. **Так случилось.** 1960-е(?). Публикуется впервые.

271. **«Свою любовь — как лодку чью-то...».** ОвС. С. 77.

272. **К нежности.** 1960-е(?). ПОС. С. 164.

273. **«Вот женщина, которую люблю...».** 1960-е(?). ДП. Л., 1969, Сосны. С. 83; Ст1979. С. 68; ДП. Л., 1984, (юбилейный).

274. **«Сделайте мне операцию...».** 1960-е(?). Н. 1990. № 3.

275. **Музей.** 1960-е(?). ПОС. С. 168.

276. **«Глухо у нас во дворе в декабре...».** 1960-е(?). Н. 1990. № 3.

277. **«Подумать, так всего-то и делов...».** 1964. ПОС. С. 169 — с пропущенными по цензурным соображениям ст. 20—23 («Из пушек по одним лишь воробьям...» и далее); КВО. С. 19. Посвящено Эльге Львовне Линецкой, другу Гл. Семенова, известной переводчице с французского Ларошуко, Паскаля, а также поэтов — Аполлинера, Десноса и др.

278. **«Ах, какая тоска!...».** 1964. ПОС. С. 170; КВО. С. 75.

279. **Баллада тишины.** 1960-е. ОвС. С. 78.

280. **«Блестит на дворе непогода...».** Сосны. С. 81.

281. **Девочка.** 1960. Ю. 1967. № 9; Сосны. С. 66; Ст1979. С. 67. Посвящение Нине Ильиничне Серман, дочери друзей Гл. Семенова — прозаика Р. А. Зерновой и литературоведа И. З. Сермана. В юности Нина Серман прекрасно исполняла песни из репертуара Б. Окуджавы и А. Галича в компании своих друзей или дома, когда собирались друзья родителей.

282. **«Друзей не благодарят...».** 1960-е. ПОС. С. 171; КВО. С. 20. Стихотворение написано для Т. Ю. Хмельницкой, хотя посвящение и не поставлено.

283. **Междугородняя тишина.** 1960-е. ОвС. С. 71; Стихи, стихи... М., 1971; Сосны. С. 89; Ст1979. С. 69.

Восьмая книга Глеба Семенова «Чудо в толпе» писалась в течении почти десяти лет с 1957—1967. Книга состоит из четырех разделов, каждый имеет название и датировку. Впервые такое строение книги дано в сборнике Гл. Семенова «Сосны». Всего в книге 62 стихотворения, в настоящее собрание включено 43. Адресат стихотворений — Е. А. Кумпан.

Перекресток, 1958

284. **«Крыши, крыши и крыши...».** ОвС. С. 76 (загл. «Городской романс»); Сосны. С. 7; Ст1979. С. 69. Загл. «Городской романс» есть в черновых тетрадах, но впоследствии снято и дано № 309.

285. **«На перекрестке наскоро — до скорого!...».** Сосны. С. 9; Ст1979. С. 69.

286. **«Ну, конечно, это иней...».** ДП. Л., 1963; ОвС. С. 17; Сосны. С. 10.

287. **Первый снег.** ОвС. С. 18.

288. **В дорогу.** ПОС. С. 152.

289. **Мачты.** Сосны. С. 12; Ст1979. С. 91. Посвящено Елене Кумпан, первая строка (курсив) взята из стиха Е. Кумпан (см.: Елена Кумпан. Горсти. Л., 1968. С. 39).

290—292. **Лежа в траве.**

1. **«Я в чистом поле под ракитовым...».** Сосны. С. 13; Ст1979. С. 92.

2. **«Быть с тобой... Не окликом, не отзывом...».** Сосны. С. 13—14.

3. **«Разве я знаю название цветка?...».** ОвС. С. 57—58; Сосны. С. 14; Ст1979. С. 92—93.

293. Когда не спится. Ст1979. С. 89—90.

294. Электричка. ОвС. С. 80; Сосны. С. 15; Ст1979. С. 87.

Ночное такси, 1961

295. «Встал на камень, встал на камень...». ПОС. С. 172; КВО. С. 27.

296. «Обнаружь меня! — сказала птица...». ОвС. С. 6; Сосны. С. 17; Ст1979. С. 94.

297. Начало грозы. ОвС. С. 50; Сосны. С. 20; Ст1979. С. 95.

298. Дерево. Сосны. С. 19.

299. Ночное такси. ДП. Л., 1963; ОвС. С. 13; Стихи... Стихи. М., 1967; Сосны. С. 22; Ст1979. С. 96.

300. Утро хорошего дня. ОвС. С. 15 (первоначальная редакция); Сосны. С. 24.

301. «Караульщик снов твоих, не сплю...». ОвС. С. 51; Сосны. С. 25; Ст1979. С. 99.

302. «А мы не устаем...». Мс. 1967. № 12; ПОС. С. 177.

303. «Проснуться... А в комнате праздник...». Сосны. С. 26; Ст1979. С. 100.

304. Легкая песенка. ДП. Л., 1967; Сосны. С. 27.

305. Город на рассвете. ОвС. С. 10 (первоначальная редакция); Стихи... Стихи. М., 1967; Сосны. С. 28.

Городской романс, 1964

306. «Уляжется грохот и скрежет...». ДП. Л., 1968, Стихи... Стихи. М., 1971; Сосны. С. 29; Ст1979. С. 101. ДП. Л., 1984 (юбилейный). Стихотворение печаталось под загл. «Городской романс», которое перешло на другое стихотворение и было снято автором.

307. «Заглядывать в чужие окна...». ПОС. С. 178.
308. «Нужна ли городу заря?...». Н. № 7, 1978; Ст1979. С. 98.
309. Городской романс. Сосны. С. 36; Ст1979. С. 101.
310. «Довольно помудрил...». Сосны. С. 39.
311. «Чем твои наполню горсти?...». Сосны. С. 32. «Горсти» — название стихотворения, а затем и книги стихов Елены Кумпан (см.: Елена Кумпан. Горсти. Л.: Советский писатель, 1968).
312. «Сухие листья жгут...». ПОС. С. 180.
313. Стансы. Сосны. С. 37; Ст1979. С. 103. Эпиграф из ст-ния Е. Кумпан «Дружок, разлуки скорой не таи...» (Елена Кумпан. Горсти. Л.: Советский писатель, 1968. С. 65—66) не имеет политического смысла, однако в Ст1979 эпиграф был не пропущен цензурой (в «Соснах» эпиграф был).
- 314—316. Петербуржец.
1. «Воротник у человека...». Сосны. С. 33; Ст1979. С. 106.
2. «Проголосуй, отщелкни дверцу...». Сосны. С. 34. (в старой редакции); Ст1979. С. 107.
3. «Морской конек, трезубец...». Ст1979. С. 107—108.
317. «Печальный голос твой, он где?...». Сосны. С. 38; Ст1979. С. 104.
318. В чужом городе. ДП. Л., 1967; Сосны. С. 31. Стихотворение посвящено памяти Эдит Пиаф, знаменитой французской певицы, песни в исполнении которой много значили для Глеба Семенова в 1960-х годах.
319. «Я все чего-то жду: письма...». Н. 1986. № 9; ПОС. С. 181.
320. Встреча во время разлуки. Сосны. С. 41; Ст1979. С. 109.

321. «Я стал богат, а был я беден...». Сосны. С. 43.
322. «Не поймешь, мы откуда...». Сосны. С. 44
323. «Присмирей, доверься, слушай...». Сосны. С. 45.
324. «Так вот и вышли к реке...». Сосны. С. 47.
325. «Дождем застилало долины...». Сосны. С. 49.
326. «Край отчий. Век трудный. Час легкий...». Сосны. С. 50; ПОС. С. 215; Ю. 1987. № 7. С. 82 (приведено в статье А Кушнера, представляющей подборку стихов Гл. Семенова); КВО. С. 82. При этом: в книге «Сосны» стихотворение напечатано с искажениями, ибо «мир Божий» цензура не желала пропускать. Глеб Семенов пошел на грубость и хитрость, почти на хулиганство, заменив «Божий» на «гожий», и сказав — «кто умный, тот поймет, что здесь должно быть, решат, что досадная опечатка, а кто не поймет — так не про того и написано» (см. подробности: Е. Кумпан. Поговорим о странностях цензуры // Звезда. 2001. № 4. С. 204—212).

Девятая книга Глеба Семенова «Остановись в потоке» писалась в 1960-х годах, как и две предыдущих, но в отличие от них эту книгу автор составил из стихотворений, в которых он выразил свое отношение к эпохе и времени. В книге 76 стихотворений, не считая вариантов (которые вполне имеют самостоятельное звучание). В настоящее издание вошло 70.

327. «В мире пахнет паленым...». Н. 1990. №3; КВО. С. 11.

328. «Оклеветан птенец вороной...». Ок. 1993. № 4; КВО. С. 12.

329. 30 мая 1960 года. ПОС. С. 149. Загл. ст-ния — дата кончины Б. Л. Пастернака (при публикации название ст-ния было снято главным редактором «Советского писателя» Р. Назаровым по цензурным соображениям); КВО. С. 13.

330—331. Столица.

1. «Оставьте при себе печаль...». ПОС. С. 187. *Любить свой век — веселый труд.* Гл. Семенов перефразирует известные строки Б. Пастернака «Любить иных — тяжелый крест» (1931).

2. «Да разве я не здешний?! — На-ка...». Эв. 2000. № 2. С. 144.

332. «Так вот оно — спасение души!..». Эв. 2000. № 2. С. 144—145. Стихи посвящены Герману Плисецкому, другу, поэту, переводчику.

333. С английского. ДП. М., 1968; Сосны. С. 69; Ст1979. С. 127; ДП. Л., 1984 (юбилейный). Загл. связано отчасти с цензурными соображениями, отчасти определено стилистикой стиха; никакого конкретного источника ст-ние, видимо, не имеет.

334. Золотой петушок. Ст1979. С. 128. Эпиграф из ст-ния М. Цветаевой «Попытка ревности». Написано в ответ на стихотворение Е. Кумпан, в котором были строчки: «чтоб наконец к пятидесяти годам / стать петушком; посаженным на спицу» (образ связан с тем, что Гл. Семенов жил в здании Московского университета на Воробьевых горах с высоким шпилем).

335. «Соседи утром выехали...». Н. 1982. № 4; ПОС. С. 182.

336—338. Три послания на Неву.

1. Другу. НМ. 1989. № 1. Посвящено Герману Плисецкому (см. прим. 332), москвичу, который жил в это время в Ленинграде; существует ответ Г. Плисецкого.

2. Высокой стае. Сосны. С. 68. Посвящается друзьям, оставшимся в Петербурге, причем друзьям старше-

го поколения — блокадникам и отсидевшим в свое время в лагерях и ссылках: Т. Ю. Хмельницкой, Л. Я. Гинзбург, Э. Л. Линецкой, Д. Е. Максимова и др.

3. Городу. Ст1979. С. 105 под загл. «Последнее солнце». Речь в стихотворении идет о Летнем саде («я один в твоём саду»).

339. Память. Одно из последних стихотворений Глеба Семенова, хотя в черновиках есть наброски, относящиеся еще к 1960-м гг. ПОС. С. 185; КВО. С. 66.

340. Молитва. 1965. ПОС. С. 184. По цензурным соображениям напечатано под загл. «Тебе» и вставлено в цикл «Два послания на Неву». По тем же соображениям — «тебе, тобой, ты», даже когда это обращения не к женщине, а к Богу — печатались с маленькой буквы. КВО. С. 28

341. «Я тороплюсь — дай угол для любви...». 1965. ПОС. С. 191.

342. «Вам — лестница, нам — пять минут тепла...». 1965. ПОС. С. 190.

343. «Я не хочу твоей тоски...». 1960-е. ОвС. С. 75.

344. Автопортрет. 1970(?). Зв. 1991. № 2; КВО. С. 34. Эпиграф из ст-ния Ходасевича «Перед зеркалом» (1924).

345. Сидя в стороне. 1960-е. Зв. 1991. № 2; КВО. С. 36.

346. Рыбная лавка. 1960-е. Зв. 1991. № 2; КВО. С. 38. *...владеть землей имеют право* — ироническое цитирование «Интернационала».

347. «Я иду сутулый, но прямой...». 1960-е. Ог. 1989. № 12; КВО. С. 41.

348. «Где он ходит, мой предатель?...». 1960-е. Зв. 1991. № 2; КВО. С. 42. Эпиграф из ст-ния Пушкина «Дорожные жалобы».

349. «Вот рифмач...». 1960-е. Зв. 1991. № 2; КВО. С. 43.

350. «За руки белые меня...». НМ. 1989. № 1; Ог. 1989. № 12; КВО. С. 44.

351. Разговоры одного дня; Зв. 2000. № 2. С. 45.

352—353. Две площади.

1. Красная. Н. 1990. № 3. Стихотворение написано летом 1968 по поводу ввода советских войск в Чехословакию и посвящено Ларисе Богораз, Наталье Горбаневской и др., вышедшим в знак протеста — на Красную площадь. Стихи были переданы тогда же Ларисе Богораз. Дата под стихотворением поставлена в рукописи.

2. Дворцовая. НМ. 1989. № 1; КВО. С. 33. *Росси ...развертывая циркульную оду.* Имеется в виду здание Главного штаба (арх. К. Росси), образующее Дворцовую площадь Петербурга.

354. «Смирение меж двух ладоней...». ПОС. С. 195; КВО. С. 45.

355. «Пока, мальчишка и мудака...». Зв. 2000. № 2; КВО. С. 46.

356. В ночном полете. Сосны. С. 88.

357. К другу стихотворцу. Зв. 2000. № 2; КВО. С. 47. Эпиграф из стихотворения Е. Баратынского «Мудрецу» (1840). В стихотворении ведется диалог с Александром Кушнером, использованы строки из стихов А. Кушнера (выделены курсивом): *...уравновешенный безумец* — из стихотворения «Когда я грустен или весел...» (сб. «Первое впечатление», 1962); *...руки / легко вдоль тела опустить* — «руки / опустить легко вдоль тела» из стихотворения «Эти бешеные страсти...» (сб. «Ночной дозор», 1966).

358. Памяти Фриды. ПОС. С. 196 (по требованию цензуры без загл., но разрешено было сделать посвящение «Памяти Ф. А. Вигдоровой»). Стихи были написаны в августе 1965-го после похорон Ф. А. Вигдо-

ровой — писателя, страстного публициста и бесстрашного журналиста. Глеба Семенова с Фридой Вигдоровой связывало продолжительное знакомство и множество общих старых друзей.

359. «Я привычен к доле уголовной...». Эв. 2000. № 2; КВО. С. 49.

360. Куст. Ст1979. С. 129; КВО. С. 21.

361. «Трава окатывает ноги...». ПОС. С. 159; КВО. С. 56.

362. «Когда ни женщины, ни друга...». Трансформированный вариант стихотворения 1967—1968 гг., которое первоначально входило в книгу «Сосны». КВО. С. 57.

363. «Положите меня на траву...». ПОС. С. 197.

364. Трудные стихи. ПОС. С. 198 с цензурной правкой (в пятом восьмистишии вместо: «Пусть родина меня простит, / как я простил ей страх и стыд» — напечатано: «Пускай земля меня простит...»); КВО. С. 58. Написано в августе 1965 г. после смерти Фриды Вигдоровой.

365. Адам. Н. 1988. № 4; КВО. С. 58.

366—368. Три сонета.

1. «По всей эпохе высятся кресты...». НМ. 1989. № 1; КВО. С. 61—62.

2. «Чем старше, тем ревнивее эпоха...». НМ. 1989. № 1; КВО. С. 61—62.

3. «Свободный синтаксис воспоминаний...» Ок. 1993. № 4; КВО. С. 61—62. В картотеке подзаголовок «Из неоконченного «Венка сонетов»».

369. Наука побеждать. Ок. 1993. № 4.

370. Памяти самих себя. Н. 1988. № 4; ДП. Л., 1988, Реквием. М., 1989; КВО. С. 63.

371. Мандельштам. Сосны. С. 118; ПОС. С. 216; КВО. С. 68. По требованиям цензуры до 2000 г. печат-

талось под загл. «Памяти поэта». Ст-ние пронизано мандельштамовскими образами: *слесь* — из «Ариоста» (1933), *соль* — из «Умывался ночью на дворе...» (1921), *трянский пир* — связан со ст-нием «За то, что я руки твои не сумел удержать...» (1920), *таврический загар* — с образами «греческой» Тавриды, напр. в ст-нии «Золотистого меда струя из бутылки текла...» (1917), *петербургский пар* — воспроизводя выражение Анненского из «Петербурга» («Желтый пар петербургской зимы»), соотносим с образом Петербурга в стихах Мандельштама, «обмен» «таврического загара» на «уральские сугробы» — созвучен строчкам из «Декабриста» (1917): «Честолюбивый сон он променял на сруб / В глухом урочище Сибири»; *воронежская Европа* — отсылает к ст-нию «Не сравнивай: живущий несравним...» (1937); «*щегол*», «*запрокидывающий глотку*» — из «Мой щегол, я голову закину...» (1936).

372. Смерть Ходасевича. ПОС. С. 250, с цензурной правкой (без загл., хотя предложено было загл. «Орфей»; загл. «Смерть Ходасевича» было неприемлемо для цензуры и оно даже и не предлагалось; кроме того через цензуру не прошла строчка «Россию загнать на парижский чердак», пришлось заменить «Россию» — «Эвтерпой»); КВО. С. 69. Одно из последних стихотворений Глеба Семенова, но включено им в книгу «Остановись в потоке». Использованы подробности смерти В. Ходасевича, описанные Н. Берберовой. Образ Ходасевича-Орфея восходит к его ст-нию «Баллада» (1921). *тяжелая лира* — название книги Ходасевича (Пг., 1922; Берлин, 1923)

373. Когда погребают эпоху. Н. 1988. № 4; ДП. Л., 1988; Реквием. М., 1989; Об Ахматовой. М., 1989; КВО. С. 70. Загл. — первая строка из стихотворения А. А. Ахматовой «Лондонцам». *Над бегом времени,*

как *Федра в балагане* — аллюзия на название последнего прижизненного сборника Ахматовой «Бег времени» и образ Ахматовой-Федры из ст-ния О. Мандельштама «Ахматова» (1914). *Четыре мальчика чугунный шлейф носили* — намек на младшее окружение Ахматовой в последние годы ее жизни: А. Наймана, И. Бродского, Д. Бобышева и Е. Рейна. *Где Осип? Где Борис? Где странница Марина?* — Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Марина Цветаева. *мы на казенный счет эпоху погребаем*. Похороны Ахматовой были организованы за счет Литфонда.

374. «Отрешеннее день ото дня...». Сосны. С. 85; Ст1979. С. 131. Посвящено Овадию Герцовичу Савичу, испанисту, переводчику, литератору, другу.

375. Баллада о силе духа. ДП. Л., 1977; Ав. 1977. № 3; Ст1979. С. 132; КВО. С. 72.

376. «Претерпеваем радости вседневья...». Сосны. С. 119; Ст1979. С. 130. (по цензурным соображениям в обоих случаях придумано было отвлекающее название «На мотив Рабиндраната Тагора», а также вместе «и Богу кажется...» печаталось «и небу кажется»).

377. Проблески. Сосны. С. 71 под загл. «Три отрывка»; Ст1979. С. 113; КВО. С. 76 под загл. «Проблески». Эпиграф из ст-ния Б. Пастернака «Рояль дрожащий пену с губ облизет..» (цикл «Разрыв», 1919)

378. «Я плохо слышать стал...». Сосны. С. 65; Ст1979. С. 114.

379. Вивальди. ДП. Л., 1971; Сосны. С. 55; Ст1979. С. 115; Музыка в зеркале поэзии. Л.: Сов. Композитор, 1985. Посвящено Александру Кушнеру, другу и поэту. Стихотворение открывает цикл стихов о музыке. Этот цикл был написан Гл. Семеновым в Эльве (Эстония) в 1967—1968 годах под влиянием бесед с Борисом Гаспаровым, литературоведом и музыковедом (см. также № 415 и прим.).

380. Третья твердь. Ю. 1968. № 11; Сосны. С. 57; Ст1979. С. 117; Стихи о музыке. М., 1983 под загл. «Бах»; Музыка в зеркале поэзии. Л., 1985; КВО. С. 22. *Бог и Бах* — возможно, связано со ст-нием И. Бродского «Стихи под эпитафией» (1958). Гл. Семенов часто повторял строки из этого ст-ния.

381. Глухота. ДП. Л., 1971; Сосны. С. 59; Ст1979. С. 119; Музыка в зеркале поэзии. Л., 1985; КВО. С. 24. Эпитафия Гл. Семенова нашел в одном из жизнеописаний Бетховена.

382. Героическая фантазия. 1969—1970. ДП. Л., 1971; Сосны. С. 61; Ст1979. С. 121. Речь идет о «Героической фантазии» Г. Берлиоза. Эпитафия из стихотворения И. Анненского «После концерта» дает почувствовать элемент скепсиса. И это не случайно, ибо в эти годы отношение Гл. Семенова к музыке XIX века, чаще всего «сюжетной», а если и не сюжетной, то все же насыщенной открытым страданием с декларируемым пафосом — было сдержанным. И в этом он не был одинок.

383. Болеро. 1960-е. Ст1979. С. 123, под загл. «Равель. Болеро»; Музыка в зеркале поэзии. Л., 1985; КВО. С. 17. Под заглавием «Болеро» у Гл. Семенова было написано в разные годы два стихотворения. В настоящем издании печатается второе из них. Посвящено Тамаре Юрьевне Хмельницкой. Много размышлений о создании данного стихотворения содержится в переписке Гл. Семенова с Т. Хмельницкой (См.: Глеб Семенов и Тамара Хмельницкая (Переписка 1962—1965 гг.) / Публикация, вступительная заметка и примечания Е. Кумпан // Зв. 1997. № 12. С. 122—148).

384. Время. Написанное еще на рубеже 1958—1960 гг. стихотворение было впоследствии вставлено Гл. Семеновым в цикл стихотворений о музыке. Ав. 1971.

№ 10; Сосны. С. 63; Ст1979. С. 125; Музыка в зеркале поэзии. Л., 1985.

385. Ковчег. 1979—1981. ПОС. С. 240; КВО. С. 78. Одно из последних, написанных Гл. Семеновым стихотворений. Стихи эти, собственно, даже не о музыке, а о том зале (ковчеге!), в котором слушают музыку, в котором спасаются от внешней все более чуждой и разнузданной среды — о Большом зале филармонии. Об этом гласит и взятая эпитафией строчка Мандельштама из ст-ния «Концерт на вокзале».

386—396. Из воспоминаний детства. Цикл писался Гл. Семеновым в течении почти четверти века (с 1956 по 1981). Основной корпус был написан с 1958 по 1970 гг., дальше шли доработки и уточнения. Позже всех остальных были написаны первое и последнее стихотворения. Дважды удалось сделать представительные публикации этого цикла — один раз при жизни поэта в Ст1979 (№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; С. 43—46), другой — посмертно в ПОС (целиком; С. 6—12). Во втором случае в 1986 году были цензурные выемки: в последнем одиннадцатом стихотворении были изъяты две строфы в середине — от «А мудрым вот не стал...» до «мир карикатура».

7. «На праздниках частенько было мокро...». *МОПР, ОСОАВИАХИМ* — Международное организация помощи борцам революции и Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР; членство в этих обществах было очень распространено в 1920—1930-е годы.

8. «Уже я петуха даю, а там уж...». ...падеспань — pas d'Espagne, испанский танец. В позднесталинские времена, когда запрещались казавшиеся «эротическими» фокстрот и танго, была введена мода на бальные танцы, в том числе, падеспань.

Книга «Сосны» (1967—1969) — десятая книга поэта писалась два года в небольшом эстонском курортном поселке Эльва, куда обстоятельствами жизни поэт был «сослан», но ссылка оказалась продуктивной. Глеб Семенов написал очень цельную книгу из 32 стихотворений. В данное собрание вошло 28. Эпиграфом к книге поставлены строки Пастернака из ст-ния «Сосны».

397. Медленные стихи. Сосны. С. 93; Ст1979. С. 135; КВО. С. 50.

398. Раздумье. Сосны. С. 104; Ст1979. С. 151.

399. Переменная облачность. Зв. 1972. № 5; Сосны. С. 95; Ст1979. С. 137.

400. Верховья. Ю. 1968. № 11; Сосны. С. 96; ПОС. С. 200. Стихи посвящены Н. Г. Семенович-Волотовой и написаны к ее 70-летию (17.05.1966).

401—403. Сыну Никите. Посвящено Н. Г. Охотину, сыну Гл. Семенова от второго брака.

1. «Тускнеет склон большого дня...». Сосны. С. 97—98; Ст1979. С. 139—140; ПОС. С. 201.

2. «Ну что ж, дружок, ну что ж...». Сосны. С. 97—98; Ст1979. С. 139—140.

3. «О, мой скудеющий лимит!...». Сосны. С. 97—98; ПОС. С. 201.

404. Поползень. Зв. 1972. № 5; Сосны. С. 99; Ст1979. С. 146.

405. О мудрости. Сосны. С. 100.

406. «Я затихаю на природе...». Сосны. С. 102; Ст1979. С. 138.

407. Любительская фотография. Сосны. С. 103; Ст1979. С. 141 (без загл.).

408. «Помню ли тебя, не помню...». ДП. Л., 1967; Сосны. С. 105; ПОС. С. 205.

409. «Не в одиночестве печаль, а в постоянстве...». Сосны. С. 106.

410. Ветер. Сосны. С. 107; Ст1979. С. 142; КВО. С. 26. ...*аз воздам отмщению* — переиначенные слова из Библии: «Мне отмщение и Аз воздам», использованные Л. Толстым в качестве эпиграфа к «Анне Карениной».

411. Зазимок. Сосны. С. 108; Ст1979. С. 144.

412. «Моя зима — мой снег — мои следы...». Ю. № 11, М., 1968; Сосны. С. 109; Ст1979. С. 145. *Полным-полна амбарная тетрадь*. Гл. Семенов работал, записывая стихи в «амбарную тетрадь», как назывались общие тетради большого формата.

413. Весна света. Зв. № 5, 1972; Сосны. С. 147; Ст1979. С. 110.

414. «Тень голых веток на снегу...». Ав. № 10, 1971; Сосны. С. 111; Ст1979. С. 148. Посвящено дочери Ксане.

415. Сосны. ДП. Л., 1971; Сосны. С. 112; Ст1979. С. 149. Посвящено Борису Михайловичу Гаспарову, известному филологу, работавшему в те времена в Гартусском университете (в настоящее время живет и работает в США).

416. «И вот живу на верхнем этаже...». ПОС. С. 210.

417. «Неделя, год — всегда разлука вечность...». Зв. 1972. № 5; Сосны. С. 113; Ст1979. С. 153.

418. «Полячка, баловница, скромница...». Сосны. С. 82 (под загл. «Портрет»); ПОС. С. 204; КВО. С. 54.

419. «Постой, не вчера ль это было...». Н. 1983. № 9. С. 124; ПОС. С. 213.

420. «Ты хлопчешь у огня...». Сосны. С. 116; ПОС. С. 203.

421. «Щелкун большеголовый...». Сосны. С. 117. Посвящено Якову Аркадьевичу Гордину, поэту, прозаику, журналисту, другу и ученику.

422. На свою годовщину. Сосны. С. 120; Ст1979. С. 152. Стихотворение написано в апреле 1968 года, когда Гл. Семенову исполнялось 50 лет и он был один в Эльве.

423. Автобус Тарту-Ленинград. Сосны. С. 115; Ст1979. С. 154.

424. «Недописанный лист на столе...». ПОС. С. 208; КВО. С. 10.

Последняя книга Глеба Семенова названа «Хождение за три оврага». В самом названии подчеркивается нечто вечное (аллюзия на название книги Афанасия Никитина «Хождение за три моря»), и, с другой стороны, декларируется отсутствие пафоса, ибо речь идет всего-навсего об оврагах. Последнее тоже входило в задачу автора. Отчасти название было подсказано самой житейской ситуацией, ибо последние годы Глеб Семенов жил летом с семьей на Псковщине в дер. Пачковка под стенами Печорского монастыря. И сам монастырь, и окрестные деревни размещались в глубоких оврагах, порой с крутыми склонами. Местность была чрезвычайно живописна и настраивала на разговор о вечном переплетении вечного с обыденным. Разговор об именно такой ипостаси вечности продолжался и позже, когда местом обитания автора становится Комарово. Отторжение всяческой суеты становится сознательной позицией Глеба Семенова. Суеты — но не прелестных подробностей жизни, присутствие которых в стихах оказывается принципиальным для поэта. Всего в книге 52 стихотворения.

По склону дня (Пачковка, 1969—1972)

425. «Высоким слогом в наши дни...». ДП. Л., 1978; ПОС. С. 219; КВО. С. 81.

426. «Тишина палатки, тишина...». Сосны. С. 114.
427. Пейзаж с красной крышей. Ав. 1971. № 10; Сосны. С. 121; Ст1979. С. 158.
428. Полудетское. ДП. Л., 1978; Ст1979. С. 161; ПОС. С. 202.
429. Маленькие пейзажи. Н. 1977. № 3; Ст1979. С. 160; ПОС. С. 206; КВО. С. 83.
430. Ночная гроза. Н. 1977. № 3; ДП. Л., 1977; Ст1979. С. 162; КВО. С. 85.
431. Хождение за три оврага. Ст1979. С. 157; ПОС. С. 217; КВО. С. 86.
432. «Запалят прошлогодние листья...». Ю. 1987. № 7; ДП. Л., 1988; КВО. С. 87. Стихотворение написано было в 1968 году в Эльве. В черновике — посв. Ксане Семеновой, дочке Гл. Семенова, впоследствии это посвящение переходит на другое стихотворение (см. № 414). Судя по разделу «варианты» в папке «Хождение за три оврага», Гл. Семенов хотел поначалу вставить стихотворение в «Триптих», объединив его со стихами «Я привычен к доле угловой...» и «Отечество ли, отчество ли...» (ушло в цикл «Последним друзьям»), но этот замысел тоже был отвергнут. По стилистике и настроению стихотворение вполне ложится в последнюю книгу поэта рядом со стихами «Сколько листьев замертво...» и «Успение».
433. «Сколько листьев замертво...». ДП. Л., 1988; КВО. С. 88.
434. Успение. Н. 1990. № 3; КВО. С. 89. Написано в Пачковке, связано с посещением в конце августа крестного хода на Успение в Псково-Печорском монастыре.
435. По склону дня. Сосны. С. 123; Ст1979. С. 166; КВО. С. 92.

- 436.** Портрет гостыи. Ст1979. С. 163; КВО. С. 93.
- 437—438.** О сад ночной... ДП. Л., 1982; ПОС. С. 228.
- 439.** Не считая кота. Н. 1980. № 2; ПОС. С. 226; КВО. С. 94.
- 440.** Лесная прогулка. ДП. Л., 1978; Ст1979. С. 167; КВО. С. 96.
- 441.** Осенины. Ю. 1980. № 8; ПОС. С. 224; КВО. С. 98. С начала 1970 гт. до самой смерти Гл. Семенов пользовался дачей Литфонда в Комарово. В ст-нии упоминаются соседи по Комарово: *Горы* — Геннадий Самойлович Гор, писатель, и его жена Наталья Акимовна; *Гранины* — Даниил Александрович Гранин, писатель, и его жена Римма Александровна; а также *ахматовская будка*, как называла А. Ахматова такую же дачу на том же участке, где она жила в 1960-х.
- 442.** «Трудно тинятся тени...». Н. 1981 № 4; ПОС. С. 225; КВО. С. 99.
- 443.** Прощание с садом. ДП. Л., 1982; ПОС. С. 233 (без заглавия); КВО. С. 100.
- 444.** «Кончаюсь. Нечего сказать...». Н. 1983. № 9; ПОС. С. 218; КВО. С. 101. При жизни Гл. Семенова не печаталось.
- 445.** Стихи о дожде. Н. 1978. № 7; Ст1979. С. 164; КВО. С. 102.
- 446—447.** Комаровские дятлы. Н. 1980. № 2; ПОС. С. 230.
- 448.** Рисунок на песке. Ст1979. С. 165; КВО. С. 103.
- 449.** «Вижу яростный лик небосвода...». НМ. 1989. № 1; КВО. С. 104.
- 450.** «Всю зыбкость пятнистого света...». Н. 1981. № 4; ПОС. С. 232; КВО. С. 105. Посвящено Вадиму

Халуповичу — другу, поэту, ученику, соседу по даче в Комарово.

Комарово. Последние...

451. «Поспешу ли найти оправданье...». 1949—1982 (на карточке рукой Г. С. поставлена первая дата, но стихотворение было переписано позднее). Н. 1982. № 4; ПОС. С. 242; КВО. С. 9.

452. «Все чаще мы домашних сердим...». Н. 1982. № 4; ПОС. С. 234.

453. «Никакая как будто еще и не старость...». ДП. Л., 1982; Н. 1982. № 4; ПОС. С. 223; КВО. С. 106.

454. «Живут пока живут...». ПОС. С. 249. Над стихотворением Гл. Семенов работал осенью 1981 г. Кажется, он предполагал поместить его в книгу «Прохожий». Стихотворение, возможно, взято из старых черновиков (чувствуется лексика 1940-х), но по настроению тяготеет к последним стихам.

455. *Доброй памяти.* ПОС. С. 235.

456. *Родине.* НМ. 1989. № 1, , Ог. 1989. № 12; ДП. Л., 1988; КВО. С. 90. *странною любовью.* Курсивом в ст-нии выделена цитата из ст-ния М. Лермонтова «Родина» (1841).

457. «Леском пройти короче! Вдоль канавы...». ДП. Л., 1982; Н. 1982. № 4; ПОС. С. 246; КВО. С. 107.

458. «По памяти рисую: вот изба...». ДП. Л., 1988; КВО. С. 91.

459—463. *Последним друзьям.* Конец 1960-х — 1970-е. Целиком цикл опубликован дважды: Ок. 1993. № 4; КВО. С. 108—111. До этих «постперестроечных» публикаций разрозненные стихи из цикла публиковались, но с искажениями в тексте: например, «Отечество

ли, отчество ли — их...» — (второе в цикле, написанное как самостоятельное стихотворение зимой 1969 года в Эльве и связанное с приездом Иосифа Бродского и разговором на тему «уезжать — не уезжать») опубликовано в ПОС (с. 237). В этой же книге опубликованы с купюрами и разрозненно еще два стихотворения цикла: «Ломаются ногти, и рвутся шнурки...» (с. 238 — в нем были сняты последние семь строк) и «Опять городское безлюдное лето...», которому было приделано название «Петербургские отражения» (с. 239).

464. Купание в ночном фонтане. Н. 1981. № 4; ПОС. С. 245. Эпиграф из ст-ния Н. Олейникова «Посвящение».

465. После новоселья. Н. 1981. № 4; ПОС. С. 244.

466. «Шумят, красуюсь, корабли...». Н. 1981. № 4; ПОС. С. 241; КВО. С. 80.

467. «Ну Мойка, ну Карповка пусть...». ПОС. С. 243; КВО. С. 112. Эпиграф из ст-ния А. Кушнера «Вижу, вижу спозаранку...».

468. «Сколько ж было!.. А было...и жгло...». Ю. 1980. № 8; ДП. Л., 1981; ДП. Л., 1984 (юбилейный); ПОС. С. 248; КВО. С. 116.

469. «Любовь... О господи, любовь!...». Н. 1981. № 4; ДП. Л., 1981; ДП. Л., 1984 (юбилейный); ПОС. С. 247; КВО. С. 114.

470. «Ни по лесу, ни по полю, ни вдруг...». ДП. Л., 1982; ПОС. С. 253; КВО. С. 117.

471. Банальная бессонница. Н. 1981. № 4; ДП. Л., 1981; ПОС. С. 251.

472. Перед зеркалом. Н. 1981. № 4; ПОС. С. 254. Посвящено дочери Лиде. *Не девочка ли с персиками ты?* Имеется в виду известная картина В. Серова.

473. «Ах как было легко! Ах как было недолго!..». Н. 1981. № 4; ДП. Л., 1982; ПОС. С. 255; КВО. С. 118.

474. «А нежность по-стрекозьи пучеглаза...». ПОС. С. 252; КВО. С. 115.

475. «Нет времени уже роптать...». ПОС. С. 256; КВО. С. 119. *Так не от счастья ли сейчас / нам должно плакать, Диотима?* Диотима — персонаж из «Пира» Платона. Строки Гл. Семенова отсылают к ст-нию Б. Пастернака «Лето» (1930): «Откуда же эта печаль, Диотима?»

476. «Уходит жизнь моя в песок...». ПОС. С. 257. Из последних записей в тетради.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

- «А ведь нам, пожалуй, поздно...» 226
«А дело идет к февралю...» (Деревья) 270
«А мы не устаем...» 303
«А нежность по-стрекозьи пучеглаза...» 440
«А синица — тут как тут...» (Зазимок) 393
«А сквозь деревья музыка мелькала...» (Уездные вальсы, 1) 205
«...А у деревьев тоже лица...» (Пятая зона, 4) 268
«А я, наверное, смешон...» (Автопортрет) 337
Август («От люстр консерватории...») 224
Автобус Тарту—Ленинград («В автобусе дальнем и длинном темно...») 401
Автопортрет («А я, наверное, смешон...») 337
Адам («Когда синкопирует сердце, когда...») 354
«Анонс, конечно, прозевав...» (Стихи в манере Пастернака) 171
Апрель сорок пятого («Мы вдоль Невы с тобою шли...») 155
Арифметика («Закапывать без креста...») 111
Артист («Две кулисы по краям помоста...») 198
«Ах как было легко! Ах как было недолго!..» 439
«Ах, какая тоска!..» 283
«Ах, рифма... Это просто эхо...» (Рифма) 238
«Ах, что за бабушка была...» (Бабушка) 107
«Ах, что за речка! Удираешь...» (Речка, 2) 234
«Ах, эти сентябрьские ночи...» (Сны) 95
Бабочка («Что общего, судите сами...») 175
Бабушка («Ах, что за бабушка была...») 107

- Баллада о силе духа («С цветочками зайдите, осчастливьте!...») 362
- Баллада тишины («Быть может, смысла лишена...») 284
- Банальная бессонница («Всю жизнь она хотела спать...») 437
- Баррикада («Я строил баррикаду...») 94
- «Без толку промелькнувший день...». (Два отрывка, 1) 175
- Бессмертие («Смерти нет в сорок первом году!...») 112
- Бессмертие («Я засыпал и просыпался...») 77
- Бессонница («На тишине — от храпа рана рваная...») 122
- «Блестит на дворе непогода...» 285
- Болеро («Вначале была барабанная дрожь...») 370
- Большая дорога («Вот Россия — лес да поле...») 150
- Бомбежка («Стол отодвигаю от окошка...») 100
- «Боюсь тебя, счастливый сын плаката!...» (Плакат) 219
- «Брожу-блуждаю по лесу...» (Песенка) 54
- Бутылка молока («Вроде повезло ей, тетке Даше...») 134
- «Бывает утро в январе...» (Весна света) 395
- «Был день как день, я шел себе и шел...» (Притча об исчезнувшей тени) 181
- «Были камни. И были травы...» (Зависть) 216
- «Быть может, смысла лишена...» (Баллада тишины) 284
- «Быть несчастным не умею...» (Память) 333
- «Быть с тобой... Не окликом, не отзывом...» (Лежа в траве, 2) 294
- «В автобусе дальнем и длинном темно...» (Автобус Тарту—Ленинград) 401
- «В белый край, где низкие метели...» (Зимнее) 65
- В дорогу («Возьми... Не белесую пасмурь...») 292
- «В досрочном резервариуме неком...» (Из воспоминаний детства, 1) 375
- В дремотный лес («В дремотный лес...») 62
- «В дремотный лес...» (В дремотный лес) 62
- «В ивняках река затеряна...» (У тверских карел) 66

- В мастерской художника («Мы в комнате, среди поющих линий...») 178
- В метель («Крутит за окном, не выйдешь из дому!...») 188
- «В мире пахнет паленым...» 323
- «...В невозмутимом царстве птичьем...» (Пятая зона, 2) 267
- В ночном полете («Неужели верить равновесью...») 346
- «В окнах свет, в окнах свет...» (Освещенные окна) 116
- В рабочем поезде (1—2) 136
- «В районной чайной мухи кружат...» (Разговор) 191
- «В самый раз, пожалуй, мудрым...» (О мудрости) 389
- «В серый день я вдоль канавы...» 84
- «В сухой асфальт впечатывая шаг...» 170
- «В темнобурых ржавых пятнах...» 151
- «В тот день болела вся Москва...» (30 мая 1960 года) 324
- «В ученье к соснам отданный, молчу...» (Медленные стихи) 383
- «В четыре где-нибудь руки...» (Песенка об уличном фонаре) 158
- В чистом поле («Выехали засветло, и звезды...») 85
- В чужом городе («И бульвар, и канал...») 315
- В шереметевском особняке («Как будто Ад был в нижнем этаже...») 177
- «Вам — лестница, нам — пять минут тепла...» 335
- «Венки на гробе — будто грелки...» (Похороны) 158
- Верста («Не жмурясь от ветра, не прячься от копоты...») 139
- Верховья («Как бы так в себя взглядеться, так прислушаться к себе...») 386
- «Весна размолвок и нескладиц...» (Весна священная) 260
- Весна света («Бывает утро в январе...») 395
- Весна священная («Весна размолвок и нескладиц...») 260
- «Весь город с утра по службам...» (Полусонное) 184
- «Весь день собиралась гроза...» (Ночная гроза) 406
- «Ветер вздрагивает в пуще...» (Сын вернулся) 51

- Ветер («Выходит лес ночной из берегов...») 393
 Вечер встречи («Вечер встречи. Довольно весело...») 211
 «Вечер встречи. Довольно весело...» (Вечер встречи) 211
 «Взрывали толщу льда. За взрывом...» (На Каме) 138
 Вивальди («Отражаются в асфальте...») 365
 Видение («Косматый лес, в лишайниках, в грибах...») 63
 «Вижу яростный лик небосвода...» 422
 Визит («Мы — к соседям...») 108
 «Вкруг шеи шарф наворачен...» (Ноктюрен) 103
 «Вначале была барабанная дрожь...» (Болеро) 370
 «Вновь меня выводит на дорогу...» (На родине) 203
 «Вновь сидели мы перед печкой...» (Перед печкой) 154
 «Возьми... Не белесую пасмурь...» (В дорогу) 292
 Вокзалы («Как на столе чернильница — вокзал...») 271
 «Вокруг меня весь мир собрался...» 242
 Воробьиная ночь («Зарница... У окна стою...
 Зарница.....») 231
 Ворон («Мы с тобою — крылья ворона...») 264
 «Воротник у человека...» (Петербуржец, 1) 312
 Воскресный арбуз («Я покупал арбуз на вырез...») 186
 «Вот был человек — и нету...» (Человек) 204
 «Вот женщина, которую люблю...» 279
 «Вот и август, и ночи хоть выколи глаз...» (Зрелость)
 237
 «Вот рифмач...» 342
 «Вот Россия — лес да поле...» (Большая дорога) 150
 «Вот ты груба, земля, шершава...» (Доверчивость) 232
 Время («На противоположный берег ночи...») 372
 «Вроде повезло ей, тетке Даше...» (Бутылка молока) 134
 «Все будет позже... Я прохожий...» (Городу (Три
 послания на Неву, 3) 332
 «Все мало мне, все мало!.. Некрасивым...» 263
 «Все чаще мы домашних сердим...» 423
 «Все это сто раз перепето...» (Пейзаж с красной
 крышей) 404

- «Все ясностью осенней залито...» (Строят дом) 207
- «Вспоминать в разлуке нельзя...» 179
- «Вспугнутый молчаньем соловьиным...» 235
- «Встаешь, очки снимаешь, в сад...» (О сад ночной..., 2) 412
- «Встал на камень, встал на камень...» 298
- Встреча во время разлуки («Опять январь какой-нибудь. Морозно...») 317
- «Встречались мы и расставались...» 274
- «Всю жизнь она хотела спать...» (Банальная бессонница) 437
- «Всю зыбкость пятнистого света...» 422
- «Вся — как есть! Вся — из жизни...» (Стихи к Цветаевой, 3) 221
- Выбор («Квартал оглох в огромном грохоте...») 99
- «Выехали засветло, и звезды...» (В чистом поле) 85
- «Высоким слогом в наши дни!?» 403
- Высокой стае (Три послания на Неву, 2) («Не все ли вам равно — суббота...») 331
- «Выходит лес ночной из берегов...» (Ветер) 393
- «Газета проглочена залпом...» (Земля) 269
- «Где он ходит, мой предатель?..» 341
- «Где, зачем — не скажу, не знаю...» (Последний табор) 196
- Героическая фантазия («Мы не успеем кашлянуть, и вот...») 369
- Герой («Шагнул в избу, ненужную шинель...») 142
- «Глухо у нас во дворе в декабре...» 281
- «Глухой разъезд. Всего и славы...» (Разъезд) 78
- Глухота («Что за корысть тебе, глухарь...») 368
- «Говорят, было с хлебом плохо...» (Ольге Берггольц) 215
- «Горит моя земля... Горючая...» 120
- Город на рассвете («Еще намокшие сады...») 306
- Городской романс («Два кусочка города, живем...») 309
- Городской романс («Я шел вдоль вечерней панели...») 169

- Городу (Три послания на Неву, 3) («Все будет позже... Я прохожий...») 332
- Грачи («Спят-не досыпают горожане...») 185
- Гроза («Я вижу дол, туманный пред грозою...») 58
- «Грузовик подъехал деловито...» (У госпиталя) 142
- «Да разве я не здешний?! — На-ка...» (Столица, 2) 326
- «Да, были кривы и косы...» 216
- «Далека дорога, далека...» 87
- «Дальше вроде бы некуда, а вот поди ж ты...»
(Последним друзьям, 1) 429
- «Два кусочка города, живем...» (Городской романс) 309
- Два отрывка...» 175
- «Две кулисы по краям помоста...» (Артист) 198
- Две площади (1—2) 343
- Движение («Не затем, чтобы споры вести...») 86
- Дворники («Не убыстрят мой шаг тяжелый...») 112
- Дворцовая (Две площади, 2) («Конечно, Росси не имел в виду...») 344
- Девочка («Нас было шестеро. Мы были все похожи...») 285
- Девочки («Лето нынче жаркое...») 91
- Дезертир («Его уводили весной...») 129
- «Декабрь. Скука гололедиц...» 166
- Декларация («Не летописец, а тем паче...») 89
- День рождения («Кто говорит: рожденья не было?...») 126
- Дерево («И шумело дерево дождем...») 300
- Деревья («А дело идет к февралю...») 270
- Дирижер («У дирижера крылья за спиною...») 157
- Длинный вечер («О, разве мальчик этому причиной!..») 265
- «До самой большой беды...» 123
- Доброй памяти («Лошадь вышла из употребления...») 426
- Доверчивость («Вот ты груба, земля, шершава...») 232

- «Довольно помудрил...» 309
- «Дождем застлало долины...» 321
- Дождь («Сегодня дежурство дождя, и по крышам...»)
101
- Дома («Мой радостный, мой узкий плен...») 81
- Другу (Три послания на Неву, 1) («Мы обменялись
городами...») 330
- «Друзей не благодарят...» 286
- Друзья («Столкнемся у булочной под вечер...») 111
- Дым («И вот настало!...») 97
- Дядя Ваня («Стоят березы в легком золоте...») 55
- «Его уводили весной...» (Дезертир) 129
- «Едва я только спрыгну с поезда...» 50
- Елка («О детской елке, праздничной и скромной...») 87
- «Есть часы — прости Господи!...» (Стихи к
Цветаевой, 2) 220
- «Еще намокшие сады...» (Город на рассвете) 306
- «Еще немного, и привыкла бы...» (Твое стихотворение)
258
- «Ждет скитальцев давний дом...» (Мечта) 132
- «Живем на колесах...» 153
- «Живем себе, кропаем и корпим...» (Памяти самих
себя) 358
- «— Живешь ты впроголодь, красавица, поешь!...»
(Портрет гостыи) 411
- «Живут пока живут...» 425
- За ландышами («Ты еще спала, когда ушел...») 226
- «За ночь легкий выпал снег...» (Снежный сад) 52
- «За окном темнеет, скоро девять...» (К нежности) 278
- «За руки белые меня...» 342
- За соседним столиком («Красивая, с тяжелой
головой...») 213
- «Забудь попробуй рыбных лавок...» (Рыбная лавка) 339
- Зависть («Были камни. И были травы...») 216
- «Заглядывать в чужие окна...» 308

- Зазимок («А синица — тут как тут...») 393
- «Зайдем-ка, милая, на рынок...» 259
- «Закапывать без креста...» (Арифметика) 111
- Закат («На мостик взойти, на канавку лебяжью...») 93
- Закат («Трубил закат в сияющие трубы...») 231
- «Закатав до колен штаны...» 72
- Заморозки («Нет, не уснуть, беда...») 74
- «Запалят прошлогодние листья...» 408
- «Запамятовал: было ли когда...» 76
- «Зарница... У окна стою... Зарница.....» (Воробьиная ночь) 231
- Засуха («Ругались люди, и молчали...») 192
- Затемнение («Я ночной предъявляю пропуск...») 102
- «Зачем, высоко обязуясь...» (К другу стихотворцу) 347
- «Звезды, как искры, дрожат над костром...» 76
- «Здесь люди лежат...» (Уездные вальсы, 2) 205
- «Здравствуй! Не над могилкой...» (Стихи к Цветаевой, 5) 222
- Земля («Газета проглочена залпом...») 269
- «Зима на положении осадном...». (Снежные варианты, 2) 168
- Зимнее («В белый край, где низкие метели...») 65
- Золотой петушок («Я петушок на спице...») 329
- Зрелость («Вот и август, и ночи хоть выколи глаз...») 237
- «— Зря теперь не сядят, а попался...» (Разговоры одного дня) 343
- «И бульвар, и канал...» (В чужом городе) 315
- «И веселый же мне подвернулся возница...» 201
- «И вот живу на верхнем этаже...» 396
- «И вот настало!...» (Дым) 97
- «...И заняли город снега...». (Снежные варианты, 1) 167
- «И круглый сад перед музеем...» 156

- «И медленна, и неожиданна...» (Туча на исходе августа) 242
- «...И на острие лукавой кисти...» (Проблески) 363
- «...И паровоз, убитый наповал...» 152
- «...И пройдут большие годы...» (Пятая зона, 5) 268
- «...И тот же дятел...» (Комаровские дятлы, 1) 419
- «...И хвойные нахлынули холмы» 120
- «И шумело дерево дождем...» (Дерево) 300
- «Иду я деревней...» (Приход скота) 68
- «Иду, столбы считаю...» (Родине) 427
- Из воспоминаний детства (1—11) 375
- «Из мухи делаю слона...» (Творчество) 174
- «Из окон озаренный куст...» (Куст) 350
- К другу стихотворцу («Зачем, высоко обязуясь...») 347
- К нежности («За окном темнеет, скоро девять...») 278
- К яблоку («О яблоко с кружочком тени...») 238
- «Как будто Ад был в нижнем этаже...» (В шереметевском особняке) 177
- «Как бы так в себя взглядеться, так прислушаться к себе...» (Верховья) 386
- «Как вонзались молнии в глаза!...» 75
- «Как же я скажу тебе «Прости»...» 80
- «Как на столе чернильница — вокзал...» (Вокзалы) 271
- «Какое слово-то: отроковица!...» (Перед зеркалом) 438
- «Караульщик снов твоих, не сплю...» 303
- «Квартал оглох в огромном грохоте...» (Выбор) 99
- Ковчег («Опять, вы понимаете, опять...») 374
- «Когда в водовороты сна...» 184
- «Когда в полях сияет полночь...» 145
- «Когда все кончилось победой...» (Победитель) 190
- «Когда гадят застолицы кругом...» (Сидя в стороне) 338
- «Когда деревня спит, и крыши...» (Луна дурачится) 72
- «Когда испуганною ранью...» 85
- «Когда меж небом и землей...» (Сосны) 396

- Когда не спится («Я когда-нибудь снюсь тебе, нет?...») 295
- «Когда ни женщины, ни друга...» 351
- Когда погребают эпоху («О как вам дышится среди комаровских сосен?...») 361
- «Когда синкопирует сердце, когда...» (Адам) 354
- «Когда тебя обидит век...» (Раздумье) 384
- «Комариная толока...» 57
- Комаровские дятлы (1—2) 419
- «Конец на сегодня учебным полетам...» (Хождение за три оврага) 407
- «Конечно, Росси не имел в виду...» (Дворцовая (Две площади, 2) 344
- «Конечно, самым популярным...». (Отбой, 1) 100
- Концерт («Собираются дистрофики...») 113
- «Кончаюсь. Нечего сказать...» 418
- «Косматый лес, в лишайниках, в грибах...» (Видение) 63
- «Который день одна и та же...» (Одиночество) 275
- «Край отчий. Век трудный. Час легкий...» 322
- Кранах («Не зная ни страха, ни гнева ...») 236
- «Красивая, с тяжелой головой...» (За соседним столиком) 213
- Красная (Две площади, 1) («Свято место пусто не бывает...») 343
- «Крестный ход. Успенье лета...» (Успение) 409
- «Крутит за окном, не выйдешь из дому!...» (В метель) 188
- «Крыши, крыши и крыши...» 289
- «Кто говорит: рожденья не было?...» (День рождения) 126
- «Кто осмелился, кто роздал» 147
- «Кто палкой на песке нарисовал меня?...» (Рисунок на песке) 421
- Купание в ночном фонтане («Что в городе? — Да ничего, стоит!...») 432

- Куст («Из окон озаренный куст...») 350
Ласточка («Перелетела океан...») 117
Лбом в стекло («Чей-то шаг нелюдимый...») 165
Легкая песенка («Окраины, окраины...») 305
Лежа в траве...» 293
«Лежим — комар идет на нас...» 121
«Леском пройти короче! Вдоль канавы...» 427
Лесная прогулка («Посмурнело в лесу...») 414
«Лето нынче жаркое...» (Девочки) 91
«Ликуя посреди гумна...» (Молотилка) 60
Лозунг («На пальто моем подпалина...») 106
«Ломаются ногти и рвутся шнурки...» (Последним
друзьям, 4) 430
«Лошадь вышла из употребления...» (Доброй памяти)
426
«Лужи, тают облака в них...» 116
Луна дурачится («Когда деревня спит, и крыши...») 72
Любительская фотография 391
«Любовь... О господи, любовь!...» 436
Маленькие пейзажи («Сухая кисть и тощий
колорит...») 405
«Мальчик стал вежливым мужем...» 160
Мандельштам («Сверкающая русская латынь...») 359
«Маршами гремело радио...» (Марши) 90
Марши («Маршами гремело радио...») 90
Мачты («Улица твоя начинается мачтами...») 292
Медленные стихи («В ученье к соснам отданный,
молчу...») 383
«Медленных стад колыханье в июле...» 236
Междугородняя тишина («На улице ливня весь день
лило...») 287
Метроном («Никогда не болевшие звуки...») 106
Мечта («Ждет скитальцев давний дом...») 132
«Мечтал я быть артистом и матросом...» (Из
воспоминаний детства, 5) 378

- Минута («Я жду тебя. Я жду своей минуты...») 180
«Мир населен учителями...» 214
Мир («Не убивают птиц, когда они...») 210
«Мне зной отвесный памятен и люб...» (Тишина) 67
«Мне однажды приснилось: я стал молодцом...» (С
английского) 327
«Мне пела птица на заре...» (Трудные стихи) 352
«Мне приснилось, что я оглох...» 164
«Мое милое, легкое, тощее тело!...» (Тело) 110
«Может быть, Леночкой...» (Первый снег) 291
«Мой радостный, мой узкий плен...» (Дома) 81
Молитва («Пока еще не выветрен судьбой...») 334
Молитва («Разнотравье... солнце... благодать.....») 256
«Молиться — было бы кому!..» 170
«Молодая печаль, молодое вино...» 182
Молотилка («Ликуя посреди гумна...») 60
«Молчанье — трудная наука...» (Наука побеждать) 357
«Морской конек, трезубец...» (Петербургец, 3) 314
«Моя зима — мой снег — мои следы...» 394
Музей («Сто рублей имею, сто друзей...») 280
«Мы — к соседям...» (Визит) 108
«Мы бродили белыми оленями...» (Переводя северян)
173
«Мы в комнате, среди поющих линий...» (В мастерской
художника) 178
«Мы вдоль Невы с тобою шли...» (Апрель сорок
пятого) 155
«Мы настоящие герои...» (Подвиг) 107
«Мы не успеем кашлянуть, и вот...» (Героическая
фантазия) 369
«Мы обменялись городами...» (Другу (Три послания
на Неву, 1) 330
«Мы с тобою — крылья ворона...» (Ворон) 264
«Мы этого еще не проходили...» (Из воспоминаний
детства, 6) 378

- «На баррикадах — *Марсельезу...*» (Песни) 218
- На Каме («Взрывали толщу льда. За взрывом...») 138
- «На мостик взойти, на канавку лебяжью...» (Закат) 93
- На озере («Последние льдины, как первые лебеди...») 76
- «На пальто моем подпалина...» (Лозунг) 106
- «На перекрестке наскоро — до скорого!...» 290
- «На праздниках частенько было мокро...» (Из воспоминаний детства, 7) 379
- «На противоположный берег ночи...» (Время) 372
- На родине («Вновь меня выводит на дорогу...») 203
- На свою годовщину («Состав мой тихо потрясен...») 400
- «На собаку цыкнул суетливо...» (Учитель) 194
- «На сход собрались старики...» (Сход) 144
- «На тебе цветистый поясок...» 71
- «На тишине — от храпа рана рваная...» (Бессонница) 122
- «На улице ливмя весь день лило...» (Междугородняя тишина) 287
- Над Соротью («Сладок посвист козодоя...») 55
- «Нам бы только и бояться...» (Смех) 109
- «Народу в обратном поезде...» (Обратно. (В рабочем поезде, 2)) 137
- «Нас было шестеро. Мы были все похожи...» (Девочка) 285
- «Настало время листопада...» 82
- «Настывает ночь кругом...» (Туда. (В рабочем поезде, 1)) 136
- Наука побеждать («Молчанье — трудная наука...») 357
- Начало грозы («Ты рядом, ты за ближним поворотом...») 299
- «Наш век. Наш город. Я в гостях...» 213
- Наш петух («Поперек большой дороги...») 73
- «Не в моей крови, а в чужой...» (*Idea fanaticus*) 169
- «Не в одиночестве печаль, а в постоянстве...» 392
- «Не верю, нет, не органист...» (Третья твердь) 366

- «Не все ли вам равно — суббота...» (Высокой стает
(Три послания на Неву, 2) 331
- «Не горечь, не горесть, не горе...» (Памяти Фриды) 348
- «Не дурак, а сроду так!..» 135
- «Не жмурясь от ветра, не прячась от копоти...»
(Верста) 139
- «Не забуду по гроб...» 131
- «Не затем, чтобы споры вести...» (Движение) 86
- «Не зная ни страха, ни гнева ...» (Кранах) 236
- «Не из проветренных квартир...». (Отбой, 2) 101
- «Не летописец, а тем паче...» (Декларация) 89
- «Не отпирают. спят или не слышат?..» 80
- «Не плачь ты, о слышишь, не плачь ты!...» (Стансы)
311
- «Не поймешь, мы откуда...» 318
- «Не пойму, откуда у меня...» 243
- «Не понимаю, гром иль просто мебель...». (Два
отрывка, 2) 176
- «Не пытайтесь, не уснете...» 235
- «Не расстраивайся, не плачь...» 58
- Не считая кота («Ну что ж! Вот и осень. В саду
нищета...») 413
- «Не только пыльный подорожник...» 233
- «Не торопясь, он выстрелил в меня...» 149
- «Не убивают птиц, когда они...» (Мир) 210
- «Не убыстрят мой шаг тяжелый...» (Дворники) 112
- Небо («Такая большая осень...») 92
- «Неделя, год — всегда разлука вечность...» 397
- «Недописанный лист на столе...» 402
- «...Нелегко нам, горожанам...» (Пятая зона, 3) 267
- «Нет времени уже роптать...» 440
- «Нет, не размовка, нет, не расставанье...» (По склону
дня) 410
- «Нет, не только наряженный гроб...» (Последним
друзьям, 3) 430

- «Нет, не уснуть, беда...» (Заморозки) 74
- «Неужели верить равновесью...» (В ночном полете) 346
- «Ни по лесу, ни по полю, ни вдруг...» 437
- «Ни черное дерево взрыва...» 133
- «Никакая как будто еще и не старость...» 424
- «Никогда не болевшие звуки...» (Метроном) 106
- «Никому не племянница...» (Стихи к Цветаевой, 4) 222
- «Ничем не попрекаю... Ни о чем...» (Ревность) 261
- Ноктюрн («Вкруг шеи шарф наверхен...») 103
- Ночная гроза («Весь день собиралась гроза...») 406
- Ночное такси («Сквозь огни, сквозь туман...») 301
- «Ну Мойка, ну Карповка пусть...» 434
- «Ну что ж! Вот и осень. В саду нищета...» (Не считая кота) 413
- «Ну что ж, дружок, ну что ж...» (Сыну Никите, 2) 387
- «Ну что же... всяческого счастья...» (После новоселья) 433
- «Ну, конечно, это иней...» 290
- «Нужна ли городу заря?...» 308
- «О детской елке, праздничной и скромной...» (Елка) 87
- «О как вам дышится средь комаровских сосен?...» (Когда погробают эпоху) 361
- «О мой замусоренный сад...» (Прощание с садом) 417
- О мудрости («В самый раз, пожалуй, мудрым...») 389
- О сад ночной... (1—2) 412
- «О чем ты, голодная темень?...» 126
- «О этот мреющий простор!..» 146
- «О яблоко с кружочком тени...» (К яблоку) 238
- «О, мой скудеющий лимит!..» (Сыну Никите, 3) 388
- «О, разве мальчик этому причиной!...» (Длинный вечер) 265
- «— Обнаружь меня! — сказала птица...» 299
- Обратно. (В рабочем поезде, 2) («Народу в обратном поезде...») 137
- «Обрушиваются горы...» 183

- Одиночество («Который день одна и та же...») 275
- «Оклеветан птенец вороной...» 323
- «Окраины, окраины...» (Легкая песенка) 305
- Ольге Берггольц («Говорят, было с хлебом плохо...») 215
- «Они приходили со смены...» (Трудовые резервы) 138
- Ополчение («Пришел навестить, а казарма...») 96
- «Опять городское безлюдное лето...» (Последним
друзьям, 5) 431
- «Опять грибы... Опять остаться...» (Отпуск в
сентябре) 244
- «Опять январь какой-нибудь. Морозно...» (Встреча во
время разлуки) 317
- «Опять, вы понимаете, опять...» (Ковчег) 374
- Освещенные окна («В окнах свет, в окнах свет...») 116
- Осенины («У нас в Комарове деревья...») 415
- «Оставьте при себе печаль...» (Столица, 1) 326
- «Остерегайтесь, граждане, луны!» (полнолуние, 1) 98
- «От весны ли распахалась...» (Сухопояс) 141
- «От душераздирающей молвы...» (Отцу) 52
- «От люстр консерватории...» (Август) 224
- Отбой (1—2) 100
- «Отбомбилась гроза на сегодня...» 130
- «Отечество ли, отчество ли — их...» (Последним
друзьям, 2) 429
- Отпуск в сентябре («Опять грибы... Опять
остаться...») 244
- «Отражаются в асфальте...» (Вивальди) 365
- «Отрешеннее день ото дня...» 362
- Отрывок («Туда, туда... Опять в разгаре...») 49
- Отцу («От душераздирающей молвы...») 52
- Памяти няни («Ты умирала без мучений...») 83
- Памяти самих себя («Живем себе, кропаем и
корпим...») 358
- Памяти Фриды («Не горечь, не горесть, не горе...») 348
- Памятник («Плоть, чугуны ли, гранит...») 105

- Память («Быть несчастным не умею...») 333
- Пейзаж с красной крышей («Все это сто раз перепето...») 404
- Пепел («Столь едины мы не были с ним никогда...») 93
- Первый снег («Может быть, Леночкой...») 291
- Переводя северян («Мы бродили белыми оленями...») 173
- Перед дождем («Сработались косы до визга...») 59
- Перед зеркалом («Какое слово-то: отроковица!...») 438
- Перед печкой («Вновь сидели мы перед печкой...») 154
- «Перелетела океан...» (Ласточка) 117
- Переменная облачность («Сухая высокая смесь...») 385
- Песенка о случайной встрече («Повстречались на вокзале...») 202
- Песенка об уличном фонаре («В четыре где-нибудь руки...») 158
- Песенка («Брожу-блуждаю по лесу...») 54
- Песни (1—2) 118
- Песни («На баррикадах — *Марсельезу*...») 218
- Петербуржец (1—3) 312
- «Печаль — как маленькая птица...» 79
- «Печальный голос твой, он где?...» 315
- Плакат («Боюсь тебя, счастливый сын плаката!...») 219
- «Плечи солнечного обжига» 130
- «Плоть, чугун ли, гранит...» (Памятник) 105
- «Пляшет ветер на площадях...» 183
- «По всей эпохе высятся кресты...» (Три сонета, 1) 355
- «По одному приходят, по двое...» 143
- «По окнам различаются дома...» (Свет в окнах) 162
- «По отрогам Уральских гор...» 115
- «По памяти рисую: вот изба...» 428
- По склону дня («Нет, не размолвка, нет, не расставанье...») 410
- Победитель («Когда все кончилось победой...») 190
- «Повстречались на вокзале...» (Песенка о случайной встрече) 202

- Подвиг («Мы настоящие герои...») 107
- «Поднимаюсь я по холмам крутым...» 149
- «Подошел к деревне перед вечером...» (Хозяин) 199
- «Подумать, так всего-то и делов...» 282
- «Пойдем пройдемся по лесу... Доверчиво...»
(Прогулка) 228
- «Пока еще не выветрен судьбой...» (Молитва) 334
- «Пока, мальчишка и мудака...» 346
- «Полдень. Поле. Разнотравье...» 241
- Полнолуние (1—2) 98
- «Положите меня на траву...» 351
- Полудетское («Что нахохлилась, дочка? Пойдем...») 405
- Полусонное («Весь город с утра по службам...») 184
- Полустанок («Приходят и уходят поезда...») 152
- «Полячка, баловница, скромница...» 397
- «Помню ли тебя, не помню...» 392
- «По-над лесом спокойно проходит луна...» 56
- «Поперек большой дороги...» (Наш петух) 73
- Поползень («У меня окно под самой крышей...») 389
- «Порадуйся, прохожий, за меня!...» (Прохожий) 161
- Портрет гостя («— Живешь ты впроголодь,
красавица, поешь!...») 411
- После новоселья («Ну что же... всяческого счастья...») 433
- «Последние льдины, как первые лебеди...» (На озере) 76
- Последний табор («Где, зачем — не скажу, не
знаю...») 196
- Последним друзьям (1—5) 429
- «Посмурнело в лесу...» (Лесная прогулка) 414
- «Поспешу ли найти оправданье...» 423
- «Постельная забыта благодать...» 172
- «Постой, не вчера ль это было...» 398
- «Поутру упала речка...» (Речка, 1) 234
- Похороны («Венки на гробе — будто грелки...») 158
- «Почти что без запинки...» (Комаровские дятлы, 2) 420

- «Прекрасной осени не стало поутру...» 148
- «Претерпеваем радости вседневья...» 363
- «Придешь усталая. Пальто...» (Семейная баллада) 257
- «Присмирей, доверься, слушай...» 319
- Притча об исчезнувшей тени («Был день как день, я шел себе и шел...») 181
- Приход скота («Иду я деревней...») 68
- «Приходят и уходят поезда...» (Полустанок) 152
- «Пришел навестить, а казарма...» (Ополчение) 96
- «Про меня и не думала...» (Стихи к Цветаевой, 1) 219
- Проблески («...И на острие лукавой кисти...») 363
- «Проголосуй, отщелкни дверцу...» (Петербургец, 2) 313
- Прогулка («Пойдем пройдемся по лесу...
Доверчиво...») 228
- «Пронизываемый ветром...» (Рассвет) 187
- «Проснуться... А в комнате праздник...» 304
- Прохожий («Порадуйся, прохожий, за меня!...») 161
- Прощание с садом («О мой замусоренный сад...») 417
- Прусаки («Тараканы сделаны из жести...») 133
- «Пусто в сквере, когда-то звонком...» (Тишина) 90
- Пятая зона (1—5) 266
- «Разве я знаю название цветка?...» (Лежа в траве, 3) 294
- Разговор («В районной чайной мухи кружат...») 191
- Разговоры одного дня («— Зря теперь не сядят, а попался...») 343
- Раздумье («Когда тебя обидит век...») 384
- Размышления на вокзале («Я стал горожанином:
стал...») 165
- «Разнотравье... солнце... благодать.....» (Молитва) 256
- Разъезд («Глухой разъезд. Всего и славы...») 78
- Рань («Смеются реки в утренних лугах...») 67
- «Распахнуты ворота — хоть на тройке...» 199
- Рассвет («Пронизываемый ветром...») 187
- «Ревекка Моисеевна Лейбзон...» (Ревекка Моисеевна)
124

- Ревекка Моисеевна («Ревекка Моисеевна Лейбзон...») 124
- Ревность («Ничем не попрекаю... Ни о чем...») 261
- Реки («Серебряные гибкие тела...») 147
- Речка (1—2) 234
- Рисунок на песке («Кто палкой на песке нарисовал меня?...») 421
- Рифма («Ах, рифма... Это просто эхо...») 238
- Родине («Иду, столбы считаю...») 427
- «Ругались люди, и молчали...» (Засуха) 192
- «Рук твоих ночные превращения!..» 261
- Рыбная лавка («Забудь попробуй рыбных лавок...») 339
- Рябина («Что стоишь, качаясь...») 140
- С английского («Мне однажды приснилось: я стал молодым...») 327
- «...С некоторых пор...» (Электричка) 296
- «С поля Марсова вдоль Мойки...» 156
- «С цветочками зайдите, осчастливьте!..» (Баллада о силе духа) 362
- «Санний след, под снегопадом слабый...» (Солнечное утро) 127
- «Сверкающая русская латынь...» (Мандельштам) 359
- «Сверлящий сердце вой сирены» (Полнолуние, 2) 99
- Свет в окнах («По окнам различаются дома...») 162
- «Свободный синтаксис воспоминаний...» (Три сонета, 3) 357
- «Свою любовь — как лодку чью-то...» 278
- «Свято место пусто не бывает...» (Красная (Две площади, 1) 343
- «Сделайте мне операцию...» 280
- «Сегодня дежурство дождя, и по крышам...» (Дождь) 101
- «Сегодня ночью шевельнулся...» 230
- «Сегодня у меня плохое настроенье...» 159
- Семейная баллада («Придешь усталая. Пальто...») 257

- «Серебряные гибкие тела...» (Реки) 147
- Сидя в стороне («Когда галдят застолицы кругом...») 338
- Скажите, зачем и куда побежала...» 70
- «Сквозь огни, сквозь туман...» (Ночное такси) 301
- «Сколько ж было!.. А было... и жгло...» 435
- «Сколько листьев замертво...» 409
- «Сладкий запах кислых щей...» (Чердак) 104
- «Сладок посвист козодоя...» (Над Соротью) 55
- «Смерти нет в сорок первом году!...» (Бессмертие) 112
- Смерть одного из нас («Я не забыл, зачем я здесь...») 124
- Смерть Ходасевича («Что верно, то верно, нельзя же вот так...») 360
- «Смех девичий, вдовый плач...» 134
- Смех («Нам бы только и бояться...») 109
- «Смеются реки в утренних лугах...» (Рань) 67
- «Смирение меж двух ладоней...» 345
- Снежные варианты...» 167
- Снежный сад («За ночь легкий выпал снег...») 52
- Сны («Ах, эти сентябрьские ночи...») 95
- «Собираются дистрофики...» (Концерт) 113
- «Согрелись, обсушили рукава...» (О сад ночной..., 1) 412
- Солнечное утро («Саный след, под снегопадом слабый...») 127
- «Соловьи безумствовали. Ветер...» 71
- «Сорока села на забор...» (Сорока) 128
- Сорока («Сорока села на забор...») 128
- «Соседи утром выехали. Я...» 330
- Сосны («Когда меж небом и землей...») 396
- «Состав мой тихо потрясен...» (На свою годовщину) 400
- «Сперва я был во власти осязаний...» (Из воспоминаний детства, 2) 376
- «Спят-не досыпают горожане...» (Грачи) 185
- «Сработались косы до визга...» (Перед дождем) 59

Стансы («Не плачь ты, о слышишь, не плачь ты!...»)

311

«Стена надежна, как стена...» (Улица) 104

Стихи в манере Пастернака («Анонс, конечно,
прозевав...») 171

Стихи к Цветаевой (1—5) 219

Стихи о дожде («Шум дождя на веранде...») 418

«Сто рублей имею, сто друзей...» (Музей) 280

«Стол отодвигаю от окошка...» (Бомбежка) 100

Столица (1—2) 326

«Столкнемся у булочной под вечер...» (Друзья) 111

«Столь едины мы не были с ним никогда...» (Пепел) 93

«Стоят березы в легком золоте...» (Дядя Ваня) 55

«Стрекотали на стрелках...» (Песни, 2) 119

Строят дом («Все ясностью осенней залито...») 207

«Сугробы. Летний сад. Сугробы...» 167

«Судим-рядим вкривь и вкось...» 144

«Сухая высокая смесь...» (Переменная облачность) 385

«Сухая кисть и тощий колорит...» (Маленькие
пейзажи) 405

«Сухие листья жгут...» 310

Сухопояс («От весны ли распаясь...») 141

Сход («На сход собрались старики...») 144

Сын вернулся («Ветер вздрагивает в пуще...») 51

Сыну Никите (1—3) 387

«Так вот и вышли к реке...» 320

«Так вот оно — спасение души!...» 327

«Так случается весной...» 240

Так случилось («Так случилось... Права
разрыдаться...») 276

«Так случилось... Права разрыдаться...» (Так
случилось) 276

«Такая большая осень...» (Небо) 92

«Тараканы сделаны из жести...» (Прусаки) 133

- Твое стихотворение («Еще немного, и привыкла бы...») 258
- Творчество («Из мухи делаю слона...») 174
- Творчество («Учусь писать слова...») 239
- Тело («Мое милое, легкое, тощее тело!...») 110
- «Тень голых веток на снегу...» 395
- «Тишайшие сугробы...» 140
- «Тишина палатки, тишина...» 403
- Тишина («Мне зной отвесный памятен и люб...») 67
- Тишина («Пусто в сквере, когда-то звонком...») 90
- «Только избы пройдешь, колодцы...» (Туман) 145
- «Трава окатывает ноги...» 350
- Трактор («Я вышел в поле на заре...») 60
- «Тревог хватало так или иначе...» (Из воспоминаний детства, 9) 380
- Третья твердь («Не верю, нет, не органист...») 366
- Три послания на Неву (1—3) 330
- Три сонета (1—3) 355
- 30 мая 1960 года («В тот день болела вся Москва...») 324
- «Трубил закат в сияющие трубы...» (Закат) 231
- «Трудно тинятся тени...» 416
- Трудные стихи («Мне пела птица на заре...») 352
- Трудовые резервы («Они приходили со смены...») 138
- «Туда, туда... Опять в разгаре...» (Отрывок) 49
- Туда (В рабочем поезде, 1) («Настывает ночь кругом...») 136
- Туман («Только избы пройдешь, колодцы...») 145
- «Тускнеет склон большого дня...» (Сыну Никите, 1) 387
- Туча на исходе августа («И медленна, и неожиданна...») 242
- «Ты еще спала, когда ушел...» (За ландышами) 226
- «Ты принесешь глаза...» 262
- «Ты рядом, ты за ближним поворотом...» (Начало грозы) 299

- «Ты умирала без мучений...» (Памяти няни) 83
- «Ты хлопчешь у огня...» 399
- У госпиталя («Грузовик подъехал деловито...») 142
- «У дирижера крылья за спиною...» (Дирижер) 157
- «У меня окно под самой крышей...» (Поползень) 389
- «У нас в Комарове деревья...» (Осенины) 415
- У тверских карел («В ивнях река затеряна...») 66
- «У тебя холодеют руки...» 178
- «У человека дома нет...» 160
- Уездные вальсы (1—2) 205
- «Уже я петуха даю, а там уж...» (Из воспоминаний детства, 8) 380
- «Улица твоя начинается мачтами...» (Мачты) 292
- Улица («Стена надежна, как стена...») 104
- «Уляжется грохот и скрежет...» 307
- «Упорно вниз вело дорогу...» 61
- Успение («Крестный ход. Успенье лета...») 409
- «Устану я смотреть кино...» 162
- Утро хорошего дня («Я лишнего наговорил, не верь!...») 302
- «Уходит жизнь моя в песок...» 441
- Учитель («На собаку цыкнул суетливо...») 194
- «Учусь писать слова...» (Творчество) 239
- Хождение за три оврага («Конец на сегодня учебным полетам...») 407
- Хозяин («Подошел к деревне перед вечером...») 199
- «Хозяйку звали тетей Дуней...» 208
- «Чей-то шаг нелюдимый...» (Лбом в стекло) 165
- Человек («Вот был человек — и нету...») 204
- «Чем старше, тем ревнивей эпоха...» (Три сонета, 2) 356
- «Чем твои наполню горсти?...» 310
- Чердак («Сладкий запах кислых щей...») 104
- «Что было дальше? — Было все как было...» (Из воспоминаний детства, 11) 382

- «Что в городе? — Да ничего, стоит!...» (Купание в
ночном фонтане) 432
- «Что верно, то верно, нельзя же вот так...» (Смерть
Ходасевича) 360
- «Что же все-таки стряслось?...» 230
- «Что за корысть тебе, глухарь...» (Глухота) 368
- «Что нахохлилась, дочка? Пойдем...» (Полудетское) 405
- «Что общего, судите сами...» (Бабочка) 175
- «Что сентябрю от августа досталось?...» 83
- «Что стоишь, качаясь...» (Рябина) 140
- «Чуть за город — лес да поле...» 209
- «Чуть завечереет — и куда-то...» (Песни, 1) 118
- «Шагнул в избу, ненужную шинель...» (Герой) 142
- «Шум дождя на веранде...» (Стихи о дожде) 418
- «Шумят, красуясь, корабли...» 434
- «Щелкун большеголовый...» 400
- «Электричка отгудела...» (Пятая зона, 1) 266
- Электричка («...С некоторых пор...») 296
- «Я — тыловая крыса...» 120
- «Я в чистом поле под ракитовым...» (Лежа в траве, 1)
293
- «Я вижу дол, туманный пред грозою...» (Гроза) 58
- «Я вижу, как поезд мчится» 125
- «Я все чего-то жду: письма...» 316
- «Я вышел в поле на заре...» (Трактор) 60
- «Я жду тебя. Я жду своей минуты...» (Минута) 180
- «Я засыпал и просыпался...» (Бессмертие) 77
- «Я затихаю на природе...» 390
- «Я знал уже, насколько сад огромен...» (Из
воспоминаний детства, 3) 376
- «Я знаю: ты была и не была...» 163
- «Я иду сутулый, но прямой...» 340
- «Я когда-нибудь снюсь тебе, нет?...» (Когда не
спится) 295

- «Я лишнего наговорил, не верь!...» (Утро хорошего дня) 302
- «Я не в укор скажу, а для сравнения...» 78
- «Я не забыл, зачем я здесь...» (Смерть одного из нас) 124
- «Я не люблю тебя... Я не хочу любить...» 264
- «Я не хочу твоей тоски...» 336
- «Я ночной предъявляю пропуск...» (Затемнение) 102
- «Я петушок на спице...» (Золотой петушок) 329
- «Я плохо слышать стал, и мне...» 364
- «Я покупал арбуз на вырез...» (Воскресный арбуз) 186
- «Я помню, слезы были едки...» 180
- «Я почему-то прогулял уроки...» (Из воспоминаний детства, 10) 381
- «Я привычен к доле угловой...» 349
- «Я разбужен июльским громом...» 75
- «Я стал богат, а был я беден...» 318
- «Я стал горожанином: стал...» (Размышления на вокзале) 165
- «Я строил баррикаду...» (Баррикада) 94
- «Я тороплюсь — дай угол для любви...» 334
- «Я хоронил скворца. Я из рогатки...» (Из воспоминаний детства, 4) 377
- «Я шел вдоль вечерней панели...» (Городской романс) 169

Idea fanatica («Не в моей крови, а в чужой...») 169

СОДЕРЖАНИЕ

ПАРНОЕ МОЛОКО

I

| | |
|--|----|
| 1. Отрывок. («Туда, туда... Опять в разгаре...») | 49 |
| 2. «Едва я только спрыгну с поезда...» | 50 |
| 3. Сын вернулся | 51 |
| 4. Отцу | 52 |
| 5. Снежный сад | 52 |
| 6. Песенка | 54 |
| 7. Дядя Ваня | 55 |
| 8. Над Соротью | 55 |
| 9. «По-над лесом спокойно проходит луна...» | 56 |
| 10. «Комариная толока...» | 57 |
| 11. «Не расстраивайся, не плачь...» | 58 |
| 12. Гроза | 58 |
| 13. Перед дождем | 59 |
| 14. Молотилка | 60 |
| 15. Трактор | 60 |
| 16. «Упорно вниз вело дорогу...» | 61 |
| 17. «В дремотный лес...» | 62 |
| 18. Видение | 63 |
| 19. Зимнее | 65 |

II

| | |
|---|----|
| 20. У тверских карел | 66 |
| 21. Рань | 67 |
| 22. Тишина | 67 |
| 23. Приход скота | 68 |
| 24. «Скажите, зачем и куда побежала...» | 70 |

| | |
|---|----|
| 25. «На тебе цветистый поясок...» | 71 |
| 26. «Соловьи безумствовали. Ветер...» | 71 |
| 27. «Закатав до колен штаны...» | 72 |
| 28. Луна дурачится | 72 |
| 29. Наш петух | 73 |
| 30. Заморозки | 74 |
| 31. «Я разбужен июльским громом...» | 75 |
| 32. «Как вонзались молнии в глаза!..» | 75 |
| 33. «Запомнювал: было ли когда...» | 76 |
| 34. «Звезды, как искры, дрожат над костром» | 76 |
| 35. На озере | 76 |
| 36. Бессмертие | 77 |
| 37. «Я не в укор скажу, а для сравнения» | 78 |
| 38. Разъезд | 78 |
| 39. «Печаль — как маленькая птица...» | 79 |
| 40. «Не отпирают. Спят или не слышат?» | 80 |
| 41. «Как же я скажу тебе «прости»» | 80 |
| 42. Дóма | 81 |
| 43. «Настало время листопада...» | 82 |
| 44. Памяти няни | 83 |
| 45. «Что сентябрю от августа досталось?» | 83 |
| 46. «В серый день я вдоль канавы...» | 84 |
| 47. В чистом поле | 85 |
| 48. «Когда испуганною ранью...» | 85 |
| 49. Движение | 86 |
| 50. «Далека дорога, далека...» | 87 |
| 51. Елка | 87 |

ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКАДЕ (1941—1960)

| | |
|----------------------|----|
| 52. Декларация | 89 |
| 53. Марши | 90 |
| 54. Тишина | 90 |
| 55. Девочки | 91 |

| | |
|---|-----|
| 56. Небо | 92 |
| 57. Закат | 93 |
| 58. Пепел | 93 |
| 59. Баррикада | 94 |
| 60. Сны | 95 |
| 61. Ополчение | 96 |
| 62. Дым | 97 |
| 63—64. Полнолуние | |
| 1. «Остерегайтесь, граждане, луны!..» | 98 |
| 2. «Сверлящий сердце вой сирены...» | 99 |
| 65. Выбор | 99 |
| 66. Бомбежка | 100 |
| 67—68. Отбой | |
| 1. «Конечно, самым популярным...» | 100 |
| 2. «Не из проветренных квартир...» | 101 |
| 69. Дождь | 101 |
| 70. Затемнение | 102 |
| 71. Ноктюрн | 103 |
| 72. Улица | 104 |
| 73. Чердак | 104 |
| 74. Памятник | 105 |
| 75. Метроном | 106 |
| 76. Лозунг | 106 |
| 77. Подвиг | 107 |
| 78. Бабушка | 107 |
| 79. Визит | 108 |
| 80. Смех | 109 |
| 81. Тело | 110 |
| 82. Друзья | 111 |
| 83. Арифметика | 111 |
| 84. Дворники | 112 |
| 85. Бессмертие | 112 |
| 86. Концерт | 113 |

СЛУЧАЙНЫЙ ДОМ

| | |
|--|-----|
| 87. «По отрогам Уральских гор...» | 115 |
| 88. «Лужи, тают облака в них...» | 116 |
| 89. Освященные окна | 116 |
| 90. Ласточка | 117 |
| 91—92. Песни | |
| 1. «Чуть за вечерет — и куда-то...» | 118 |
| 2. «Стрекотали на стрелках...» | 119 |
| 93. «Горит моя земля... Горючая...» | 120 |
| 94. «...И хвойные нахлынули холмы...» | 120 |
| 95. «Я — тыловая крыса...» | 120 |
| 96. «Лежим — комар идет на нас...» | 121 |
| 97. Бессонница | 122 |
| 98. «До самой большой беды...» | 123 |
| 99. Ревекка Моисеевна | 124 |
| 100. Смерть одного из нас | 124 |
| 101. «Я вижу, как поезд мчится...» | 125 |
| 102. «О чем ты, голодная темень?» | 126 |
| 103. День рождения | 126 |
| 104. Солнечное утро | 127 |
| 105. Сорока | 128 |
| 106. Дезертир | 129 |
| 107. «Отбомбилась гроза на сегодня...» | 130 |
| 108. «Плечи солнечного обжига» | 130 |
| 109. «Не забуду по гроб...» | 131 |
| 110. Мечта | 132 |
| 111. «Ни черное дерево взрыва...» | 133 |
| 112. Прусаки | 133 |
| 113. «Смех девичий, вдовый плач...» | 134 |
| 114. Бутылка молока | 134 |
| 115. «Не дурак, а сроду так!» | 135 |
| 116—117. В рабочем поезде | |
| 1. Туда | 136 |
| 2. Обрато | 137 |

| | | |
|------|--|-----|
| 118. | Трудовые резервы..... | 138 |
| 119. | На Каме..... | 138 |
| 120. | Верста..... | 139 |
| 121. | «Тишайшие сугробы...»..... | 140 |
| 122. | Рябина..... | 140 |
| 123. | Сухопляс..... | 141 |
| 124. | У госпиталя..... | 142 |
| 125. | Герой..... | 142 |
| 126. | «По одному приходят, по двое...»..... | 143 |
| 127. | Сход..... | 144 |
| 128. | «Судим-рядим вкривь и вкось...»..... | 144 |
| 129. | Туман..... | 145 |
| 130. | «Когда в полях сияет полночь...»..... | 145 |
| 131. | «О этот мреющий простор!...»..... | 146 |
| 132. | «Кто осмелился, кто роздал»..... | 147 |
| 133. | Реки..... | 147 |
| 134. | «Прекрасной осени не стало поутру...»..... | 148 |
| 135. | «Поднимаюсь я по холмам крутым...»..... | 149 |
| 136. | «Не торопясь, он выстрелил в меня...»..... | 149 |
| 137. | Большая дорога..... | 150 |

ПРОХОЖИЙ (1945—1949)

| | | |
|------|--|-----|
| 138. | «В темнобурых ржавых пятнах...»..... | 151 |
| 139. | «...И паровоз, убитый наповал...»..... | 152 |
| 140. | Полустанок..... | 152 |
| 141. | «Живем на колесах...»..... | 153 |
| 142. | Перед печкой..... | 154 |
| 143. | Апрель сорок пятого..... | 155 |
| 144. | «С поля Марсова вдоль Мойки...»..... | 156 |
| 145. | «И круглый сад перед музесм...»..... | 156 |
| 146. | Дирижер..... | 157 |
| 147. | Похороны..... | 158 |
| 148. | Песенка об уличном фонаре..... | 158 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 149. | «Сегодня у меня плохое настроенье...» | 159 |
| 150. | «У человека дома нет...» | 160 |
| 151. | «Мальчик стал вежливым мужем...» | 160 |
| 152. | Прохожий | 161 |
| 153. | «Устану я смотреть кино...» | 162 |
| 154. | Свет в окнах | 162 |
| 155. | «Я знаю: ты была и не была...» | 163 |
| 156. | «Мне приснилось, что я оглох...» | 164 |
| 157. | Лбом в стекло | 165 |
| 158. | Размышления на вокзале | 165 |
| 159. | «Декабрь. Скука гололедиц...» | 166 |
| 160. | «Сугробы. Летний сад. Сугробы...» | 167 |
| 161—162. | Снежные варианты | |
| 1. | «...И заняли город снега...» | 167 |
| 2. | «Зима на положении осадном...» | 168 |
| 163. | Idea fanatica | 169 |
| 164. | Городской романс | 169 |
| 165. | «Молиться — было бы кому!...» | 170 |
| 166. | «В сухой асфальт впечатывая шаг...» | 170 |
| 167. | Стихи в манере Пастернака | 171 |
| 168. | «Постельная забыта благодать...» | 172 |
| 169. | Переводя северян | 173 |
| 170. | Творчество | 174 |
| 171. | Бабочка | 175 |
| 172—173. | Два отрывка | |
| 1. | «Без толку промелькнувший день...» | 175 |
| 2. | «Не понимаю, гром иль просто мебель...» | 176 |
| 174. | В шереметевском особняке | 177 |
| 175. | В мастерской художника | 178 |
| 176. | «У тебя холодеют руки...» | 178 |
| 177. | «Вспоминать в разлуке нельзя...» | 179 |
| 178. | «Я помню, слезы были едки...» | 180 |
| 179. | Минута | 180 |
| 180. | Притча об исчезнувшей тени | 181 |

| | | |
|------|---|-----|
| 181. | «Молодая печаль, молодое вино...» | 182 |
| 182. | «Пляшет ветер на площадях...» | 183 |
| 183. | «Обрушиваются горы...» | 183 |
| 184. | «Когда в водовороты сна...» | 184 |
| 185. | Полусонное | 185 |
| 186. | Грачи | 185 |
| 187. | Воскресный арбуз | 186 |
| 188. | Рассвет | 187 |

ПОКУДА ЖИВЫ... (1952—1956)

В ДАЛЬНЕМ РАЙОНЕ

| | | |
|------|---|-----|
| 189. | В метель | 188 |
| 190. | Победитель | 190 |
| 191. | Разговор | 191 |
| 192. | Засуха | 192 |
| 193. | Учитель | 194 |
| 194. | Последний табор | 196 |
| 195. | Артист | 198 |
| 196. | «Распахнуты ворота — хоть на тройке...» | 199 |
| 197. | Хозяин | 199 |
| 198. | «И веселый же мне подвернулся возница...» ... | 201 |

ПОКУДА ЖИВЫ

| | | |
|----------|---|-----|
| 199. | Песенка о случайной встрече | 202 |
| 200. | На родине | 203 |
| 201. | Человек | 204 |
| 202—203. | Уездные вальсы | |
| 1. | «А сквозь деревья музыка мелькала...» | 205 |
| 2. | «Здесь люди лежат...» | 205 |
| 204. | Строят дом | 207 |

| | |
|---|-----|
| 205. «Хозяйку звали тетей Дуней...» | 208 |
| 206. «Чуть за город — лес да поле...» | 209 |

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ

| | |
|--|-----|
| 207. Мир | 210 |
| 208. Вечер встречи | 211 |
| 209. «Наш век. Наш город. Я в гостях...» | 213 |
| 210. За соседним столиком | 213 |
| 211. «Мир населен учителями...» | 214 |
| 212. Ольге Берггольц | 215 |
| 213. «Да, были кривы и косы...» | 216 |
| 214. Зависть | 216 |
| 215. Песни | 218 |
| 216. Плакат | 219 |
| 217—221. Стихи к Цветаевой | |
| 1. «Про меня и не думала...» | 219 |
| 2. «Есть часы — прости Господи!..» | 220 |
| 3. «Вся — как есть! Вся — из жизни...» | 221 |
| 4. «Никому не племянница...» | 222 |
| 5. «Здравствуй! Не над могилкой...» | 222 |

ГОД СПОКОЙНОГО СОЛНЦА (1956—1957)

| | |
|---|-----|
| 222. Август | 224 |
| 223. «А ведь нам, пожалуй, поздно...» | 226 |
| 224. За ландышами | 226 |
| 225. Прогулка | 228 |
| 226. «Сегодня ночью шевельнулся...» | 230 |
| 227. «Что же все-таки стряслось?» | 230 |
| 228. Воробьиная ночь | 231 |
| 229. Закат | 231 |
| 230. Доверчивость | 232 |

| | |
|---|-----|
| 231. «Не только пыльный подорожник...» | 233 |
| 232—233. Речка | 234 |
| 1. «Поутру упала речка...» | 234 |
| 2. «Ах, что за речка! Удираешь...» | 234 |
| 234. «Не пытайтесь, не уснете...» | 235 |
| 235. «Вспугнутый молчаньем соловьиным...» | 235 |
| 236. «Медленных стад колыханье в июле...» | 236 |
| 237. Кранах | 236 |
| 238. Зрелость | 237 |
| 239. К яблоку | 238 |
| 240. Рифма | 238 |
| 241. Творчество | 239 |
| 242. «Так случается весной...» | 240 |
| 243. «Полдень. Поле. Разнотравье...» | 241 |
| 244. «Вокруг меня весь мир собрался...» | 242 |
| 245. Туча на исходе августа | 242 |
| 246. «Не пойму, откуда у меня...» | 243 |
| 247. Отпуск в сентябре | 244 |

ДЛИННЫЙ ВЕЧЕР

| | |
|--|-----|
| 248. Молитва | 256 |
| 249. Семейная баллада | 257 |
| 250. Твое стихотворение | 258 |
| 251. «Зайдем-ка, милая, на рынок...» | 259 |
| 252. Весна священная | 260 |
| 253. Ревность | 261 |
| 254. «Рук твоих ночные превращения!..» | 261 |
| 255. «Ты принесешь глаза...» | 262 |
| 256. «Все мало мне, все мало!.. Некрасивым...» | 263 |
| 257. «Я не люблю тебя... Я не хочу любить...» | 264 |
| 258. Ворон | 264 |
| 259. Длинный вечер | 265 |

| | |
|---|-----|
| 260—264. Пятая зона | 266 |
| 1. «Электричка отгудела...» | 266 |
| 2. «...В невозмутимом царстве птичьем...» | 267 |
| 3. «...Нелегко нам, горожанам...» | 267 |
| 4. «...А у деревьев тоже лица...» | 268 |
| 5. «...И пройдут большие годы...» | 268 |
| 265. Земля | 269 |
| 266. Деревья | 270 |
| 267. Вокзалы | 271 |
| 268. «Встречались мы и расставались...» | 274 |
| 269. Одиночество | 275 |
| 270. Так случилось | 276 |
| 271. «Свою любовь — как лодку чью-то...» | 278 |
| 272. К нежности | 278 |
| 273. «Вот женщина, которую люблю...» | 279 |
| 274. «Сделайте мне операцию...» | 280 |
| 275. Музей | 280 |
| 276. «Глухо у нас во дворе в декабре...» | 281 |
| 277. «Подумать, так всего-то и делов...» | 282 |
| 278. «Ах, какая тоска!..» | 283 |
| 279. Баллада тишины | 284 |
| 280. «Блестит на дворе непогода...» | 285 |
| 281. Девочка | 285 |
| 282. «Друзей не благодарят...» | 286 |
| 283. Междугородняя тишина | 287 |

ЧУДО В ТОЛПЕ

ПЕРЕКРЕСТОК, 1958

| | |
|---|-----|
| 284. «Крыши, крыши и крыши...» | 289 |
| 285. «На перекрестке наскоро — до скорого!..» ... | 290 |
| 286. «Ну, конечно, это иней...» | 290 |

| | |
|---|-----|
| 287. Первый снег | 291 |
| 288. В дорогу | 292 |
| 289. Мачты | 292 |
| 290—292. Лежа в траве | |
| 1. «Я в чистом поле под ракитовым...» | 293 |
| 2. «Быть с тобой... Не окликом, не отзывом...» .. | 294 |
| 3. «Разве я знаю название цветка?» | 294 |
| 293. Когда не спится | 295 |
| 294. Электричка | 296 |

НОЧНОЕ ТАКСИ, 1961

| | |
|---|-----|
| 295. «Встал на камень, встал на камень...» | 298 |
| 296. «— Обнаружь меня! — сказала птица...» | 299 |
| 297. Начало грозы | 299 |
| 298. Дерево | 300 |
| 299. Ночное такси | 301 |
| 300. Утро хорошего дня | 302 |
| 301. «Караульщик снов твоих, не сплю...» | 303 |
| 302. «А мы не устаем...» | 303 |
| 303. «Проснуться...А в комнате праздник...» | 304 |
| 304. Легкая песенка | 305 |
| 305. Город на рассвете | 306 |

ГОРОДСКОЙ РОМАНС, 1964

| | |
|---|-----|
| 306. «Уляжется грохот и скрежет...» | 307 |
| 307. «Заглядывать в чужие окна...» | 308 |
| 308. «Нужна ли городу заря?» | 308 |
| 309. Городской романс | 309 |
| 310. «Довольно помудрил...» | 309 |
| 311. «Чем твои наполню горсти?» | 310 |
| 312. «Сухие листья жгут...» | 310 |
| 313. Стансы | 311 |

| | |
|--|-----|
| 314—316. Петербуржец | |
| 1. «Воротник у человека...» | 312 |
| 2. «Проголосуй, отщелкни дверцу...» | 313 |
| 3. «Морской конек, трезубец...» | 314 |
| 317. «Печальный голос твой, он где?..» | 315 |
| 318. В чужом городе | 315 |
| 319. «Я все чего-то жду: письма...» | 316 |
| 320. Встреча во время разлуки | 317 |

ДВОЕ, 1967

| | |
|---|-----|
| 321. «Я стал богат, а был я беден...» | 318 |
| 322. «Не поймешь, мы откуда...» | 318 |
| 323. «Присмирей, доверься, слушай...» | 319 |
| 324. «Так вот и вышли к реке...» | 320 |
| 325. «Дождем застилало долины...» | 321 |
| 326. «Край отчий. Век трудный. Час легкий...» | 322 |

ОСТАНОВИСЬ В ПОТОКЕ

| | |
|---|-----|
| 327. «В мире пахнет паленым...» | 323 |
| 328. «Оклеветан птенец вороной...» | 323 |
| 329. 30 мая 1960 года | 324 |
| 330—331. Столица | |
| 1. «Оставьте при себе печаль...» | 326 |
| 2. «Да разве я не здешний?! — На-ка...» | 326 |
| 332. «Так вот оно — спасение души!..» | 327 |
| 333. С английского | 327 |
| 334. Золотой петушок | 329 |
| 335. «Соседи утром выехали. Я...» | 330 |
| 336—338. Три послания на Неву | |
| 1. Другу | 330 |
| 2. Высокой стае | 331 |
| 3. Городу | 332 |

| | |
|---|-----|
| 339. Память | 333 |
| 340. Молитва («Пока еще не выветрен судьбой...») ... | 334 |
| 341. «Я тороплюсь — дай угол для любви...» | 334 |
| 342. «Вам — лестница, нам — пять минут тепла...» | 335 |
| 343. «Я не хочу твоей тоски...» | 336 |
| 344. Автопортрет | 337 |
| 345. Сидя в стороне | 338 |
| 346. Рыбная лавка | 339 |
| 347. «Я иду сутулый, но прямой...» | 340 |
| 348. «Где он ходит, мой предатель?» | 341 |
| 349. «Вот рифмач...» | 342 |
| 350. «За руки белые меня...» | 342 |
| 351. Разговоры одного дня | 343 |
| 352—353. Две площади | |
| 1. Красная | 343 |
| 2. Дворцовая | 344 |
| 354. «Смирение меж двух ладоней...» | 345 |
| 355. «Пока, мальчишка и мудака...» | 346 |
| 356. В ночном полете | 346 |
| 357. К другу стихотворцу | 347 |
| 358. Памяти Фриды | 348 |
| 359. «Я привычен к доле угловой...» | 349 |
| 360. Куст | 350 |
| 361. «Трава окатывает ноги...» | 350 |
| 362. «Когда ни женщины, ни друга...» | 351 |
| 363. «Положите меня на траву...» | 351 |
| 364. Трудные стихи | 352 |
| 365. Адам | 354 |
| 366—368. Три сонета | |
| 1. «По всей эпохе высятся кресты...» | 355 |
| 2. «Чем старше, тем ревнивей эпоха...» | 356 |
| 3. «Свободный синтаксис воспоминаний...» | 357 |
| 369. Наука побеждать | 357 |

| | |
|---|-----|
| 370. Памяти самих себя | 358 |
| 371. Мандельштам | 359 |
| 372. Смерть Ходасевича | 360 |
| 373. Когда погребают эпоху | 361 |
| 374. «Отрешеннее день ото дня...» | 362 |
| 375. Баллада о силе духа | 362 |
| 376. «Претерпеваем радости вседневья...» | 363 |
| 377. Проблески | 363 |
| 378. «Я плохо слышать стал, и мне...» | 364 |
| 379. Вивальди | 365 |
| 380. Третья твердь | 366 |
| 381. Глухота | 368 |
| 382. Героическая фантазия | 369 |
| 383. Болеро | 370 |
| 384. Время | 372 |
| 385. Ковчег | 374 |
| 386—396. Из воспоминаний детства | |
| 1. «В досрочном резервариуме неком...» | 375 |
| 2. «Сперва я был во власти осязаний...» | 376 |
| 3. «Я знал уже, насколько сад огромен...» | 376 |
| 4. «Я хоронил скворца. Я из рогатки...» | 377 |
| 5. «Мечтал я быть артистом и матросом...» | 378 |
| 6. «Мы этого еще не проходили...» | 378 |
| 7. «На праздниках частенько было мокро...» | 379 |
| 8. «Уже я петуха даю, а там уж...» | 380 |
| 9. «Тревог хватало так или иначе...» | 380 |
| 10. «Я почему-то прогулял уроки...» | 381 |
| 11. «Что было дальше? — Было все как было...» | 382 |

СОСНЫ (1967—1969)

| | |
|----------------------------------|-----|
| 397. Медленные стихи | 383 |
| 398. Раздумье | 384 |
| 399. Переменная облачность | 385 |

| | |
|--|-----|
| 400. Верховья | 386 |
| 401—403. Сыну Никите | |
| 1. «Тускнеет склон большого дня...» | 387 |
| 2. «Ну что ж, дружок, ну что ж...» | 387 |
| 3. «О, мой скудеющий лимит!..» | 388 |
| 404. Поползень | 389 |
| 405. О мудрости | 389 |
| 406. «Я затихаю на природе...» | 390 |
| 407. Любительская фотография | 391 |
| 408. «Помню ли тебя, не помню...» | 392 |
| 409. «Не в одиночестве печаль, а в постоянстве...» | 392 |
| 410. Ветер | 393 |
| 411. Зазимок | 393 |
| 412. «Моя зима — мой снег — мои следы...» | 394 |
| 413. Весна света | 395 |
| 414. «Тень голых веток на снегу...» | 395 |
| 415. Сосны | 396 |
| 416. «И вот живу на верхнем этаже...» | 396 |
| 417. «Неделя, год — всегда разлука вечность...» .. | 397 |
| 418. «Полячка, баловница, скромница...» | 397 |
| 419. «Постой, не вчера ль это было...» | 398 |
| 420. «Ты хлопчешь у огня...» | 399 |
| 421. «Щелкун большеголовый...» | 400 |
| 422. На свою годовщину | 400 |
| 423. Автобус Тарту—Ленинград | 401 |
| 424. «Недописанный лист на столе...» | 402 |

ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ ОВРАГА

По склону дня (Пачковка, 1969—1972)

| | |
|--|-----|
| 425. «Высоким слогом в наши дни!?» | 403 |
| 426. «Тишина палатки, тишина...» | 403 |
| 427. Пейзаж с красной крышей | 404 |

| | |
|---|-----|
| 428. Полудетское | 405 |
| 429. Маленькие пейзажи | 405 |
| 430. Ночная гроза | 406 |
| 431. Хождение за три оврага | 407 |
| 432. «Запалят прошлогодние листья...» | 408 |
| 433. «Сколько листьев замертво...» | 409 |
| 434. Успение | 409 |
| 435. По склону дня | 410 |

КОМАРОВО, 1970-е..

| | |
|---|-----|
| 436. Портрет гости | 411 |
| 437—438. О сад ночной... | |
| 1. «Согрелись, обсушили рукава...» | 412 |
| 2. «Встаешь, очки снимаешь, в сад...» | 412 |
| 439. Не считая kota | 413 |
| 440. Лесная прогулка | 414 |
| 441. Осенины | 415 |
| 442. «Трудно тинятся тени...» | 416 |
| 443. Прощание с садом | 417 |
| 444. «Кончаюсь. Нечего сказать...» | 418 |
| 445. Стихи о дожде | 418 |
| 446—447. Комаровские дятлы | |
| 1. «И тот же дятел...» | 419 |
| 2. «Почти что без запинки...» | 420 |
| 448. Рисунок на песке | 421 |
| 449. «Вижу яростный лик небосвода...» | 422 |
| 450. «Всю зыбкость пятнистого света...» | 422 |

КОМАРОВО. ПОСЛЕДНИЕ..

| | |
|---|-----|
| 451. «Поспешу ли найти оправданье...» | 423 |
| 452. «Все чаще мы домашних сердим...» | 423 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 453. | «Никакая как будто еще и не старость...» | 424 |
| 454. | «Живут пока живут...» | 425 |
| 455. | Доброй памяти | 426 |
| 456. | Родине | 427 |
| 457. | «Леском пройти корочке! Вдоль канавы...» | 427 |
| 458. | «По памяти рисую: вот изба...» | 428 |
| 459—463. | Последним друзьям | |
| 1. | «Дальше вроде бы некуда, а вот поди ж ты...» ... | 429 |
| 2. | «Отечество ли, отчество ли — их...» | 429 |
| 3. | «Нет, не только наряженный гроб...» | 430 |
| 4. | «Ломаются ногти и рвутся шнурки...» | 430 |
| 5. | «Опять городское безлюдное лето...» | 431 |
| 464. | Купание в ночном фонтане | 432 |
| 465. | После новоселья | 433 |
| 466. | «Шумят, красуясь, корабли...» | 434 |
| 467. | «Ну Мойка, ну Карповка пусть...» | 434 |
| 468. | «Сколько ж было!.. А было... и жгло...» | 435 |
| 469. | «Любовь... О господи, любовь!..» | 436 |
| 470. | «Ни по лесу, ни по полю, ни вдруг...» | 437 |
| 471. | Банальная бессонница | 437 |
| 472. | Перед зеркалом | 438 |
| 473. | «Ах как было легко! Ах как было недолго!..» ... | 439 |
| 474. | «А нежность по-стрекозьи пучеглаза...» | 440 |
| 475. | «Нет времени уже роптать...» | 440 |
| 476. | «Уходит жизнь моя в песок...» | 441 |

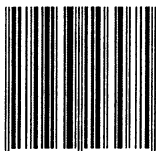
Глеб Семенов

Стихотворения (Библиотека поэта. Малая серия) / Вступ
статья, сост., примеч. Е. А. Кумпан — СПб.:
Академический проект, 2004 — 528 с.

Глеб Семенов, замечательный петербургский поэт второй половины XX века, стал своего рода легендой. Из его знаменитых литобъединений вышло много прославившихся впоследствии поэтов и прозаиков, людей, определивших лицо петербургской культуры 1960—1970-х годов. Глеб Семенов стал для них, для всей нашей литературы одной из важнейших связующих нитей с искусством прошлого.

Вместе с тем собственно поэзия Глеба Семенова остается практически неизвестной читателю. При его жизни выходили сборники, серьезно изуродованные редакцией и цензурой; особый живой голос поэта так и не стал реальностью за рамками узкого круга его друзей и учеников. Предлагаемая книга — первое достаточно репрезентативное собрание поэзии Глеба Семенова. Она включает в себя стихи из всех составленных самим поэтом сборников и дает адекватное представление о творческом пути поэта, об особенностях его поэтики.

ISBN 5-7331-0307-8



9 785733 103075

Редактор *А. Барзах*
Художник *В. Еремин*
Художественный редактор *В. Бахтин*
Верстка *А. Сакулин*
Корректор *О. Абрамович*

ЛР №066191 от 27.11.98

Подписано в печать 22.09.2004. Формат 70×90/32
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Academy.
Усл. п. л. 33. Уч. изд. п. л. 18.
Тираж 3000 экз. Первый завод 1000 экз. Заказ № 240.

Гуманитарное агентство "Академический проект"
191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 26

Отпечатано с готовых диапозитивов в ООО «ИПК „Бионт“»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр. ВО., д. 86,
тел. (812) 322-68-43

